

Настоящее время

Проза

Союз писателей Москвы

Настоящее время

Проза

Москва
«Воймега»
2019

УДК821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Н32



*Книга издана с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов*

Настоящее время. Проза / Сост.: Д. Бобылёва, Д. Данилов,
Н32 И. Кочергин, А. Курчаткин, В. Лебедева, Е. Попов, Союз
писателей Москвы. — М.: «Воймега», 2019. — 252 с. —
(Путь в литературу).

ISBN 978-5-6042671-0-3

Проект «Путь в литературу» объединяет молодых авторов из России и зарубежья, пишущих на русском языке. Все они очень разные. Кто-то уже известен читателям и обратил на себя внимание литературных критиков, кто-то находится в самом начале творческого пути. И каждому из них, вне зависимости от возраста и места проживания, свойственны творческая смелость, неравнодушие, бережное отношение к родному языку и русским литературным традициям.

Двадцать два молодых писателя сошлись под одной обложкой, чтобы показать жанровое и тематическое разнообразие современной прозы. Реализм и фантастика, притча и антиутопия, социальная драма и сатира — здесь найдется всё. Из этой вот мозаики, из этого разноголосья в конце концов и складывается цельная картина мира.

ISBN 978-5-6042671-0-3

© авторы материалов, 2019
© Союз писателей Москвы, 2019
© «Воймега», 2019

Литература — дело коллективное

Реализм и фэнтези, проза для взрослых и для детей, зрелые тексты и первые опыты — на самом деле не так важно, что обсуждается на творческих семинарах, твердо знаю это по своему опыту. Важна энергия, возникающая при коллективной работе над текстами. Иногда эта энергия позволяет сдвинуть с места застопорившуюся работу или найти новую интересную тему, и часто не только студентам, но и ведущим.

Литература — дело общественное, несмотря на то что каждый из нас работает в одиночку. Лучшие книги вырастают лишь на почве, взрыхленной и удобренной трудом сотен пишущих людей. В литературе есть более заметные фигуры писателей, поэтов, критиков, есть почти незаметные, но она создаётся, двигается именно общими усилиями тех и других. Так же и научиться писать, читая одну лишь классику, невозможно, нужно регулярно читать и «сырые» тексты современников, чтобы ясно ответить себе на вопрос: «Как я не хочу писать?», чтобы научиться критично относиться к своим произведениям.

К тому же семинары помогают молодым авторам лучше представить себе своего читателя. Глядя на обсуждающих твою работу семинаристов или мастеров, можно визуально представить того, к кому обращаешься в текстах. Это очень облегчает работу.

В данном сборнике собраны работы и тех, кто представил на обсуждение свои первые опыты, и тех, кто уже состоялся в литературе. Кто начинал писать в самом начале нулевых (Ирина Богатырёва) и кто закончил свой первый текст совсем недавно (Мария Хахалина, Алина Пулкова).

Исследователь Анри Пейр, автор вышедшей в 1948 году книги о литературных поколениях, констатируя в финале существование «успешных» и «бесплодных» поколений, считает вопрос закрытым: «Разные поколения получают неравные дары».

Есть ли отличия в прозе участников семинаров, принадлежащих к разным литературным поколениям? Сейчас невозможно оценить значимость поколений, да и стоит ли это делать? Но мне кажется, что сменились основные вопросы, которые решают для себя авторы. Если для моего

поколения, впервые взявшегося за сочинительство на рубеже веков, наиболее существенным были вопросы «Кто я?», «Имею ли я право?», то для тех, кто начал писать совсем недавно, наиболее важным становится понять «Есть ли я?», «Видит ли, чувствует ли меня другой?».

И они отвечают на эти вопросы ответственно, талантливо и интересно.

Илья Кочергин,

руководитель семинара прозы

Тексты, представленные в этом сборнике, имеют двоякую природу. С одной стороны, их авторы еще учатся писать — если бы это было не так, они бы не пришли на семинары, которые каждый год организует Союз писателей Москвы. С другой стороны, это тексты, написанные уже отчасти зрелыми авторами. Они прошли двойной отбор — сначала их отобрали ридеры для участия в семинарах (а на них попадают тексты достаточно высокого уровня, это принцип). А потом, уже непосредственно по итогам семинаров, эти работы были отобраны мастерами, которые вели занятия. Не будет большим преувеличением сказать, что перед вами ближайшее будущее нашей литературы. Я не сомневаюсь, что по крайней мере некоторые из представленных в этом сборнике молодых писателей уже через несколько лет будут лицом современной российской прозы. У вас есть возможность познакомиться с их произведениями раньше других читателей — не упустите эту возможность.

Дмитрий Данилов,

руководитель семинара прозы

Мария Хахалина

В зале ожидания

Ольга шла в вечной шестичасовой толпе, выплеснувшейся из метро. Она промедлила некоторое время за одним окном, на высоте пятого этажа над осенней землей, у приютивших ее людей, знакомых матери (адрес нашла в старой записной книжке), теперь она распрощалась с ними навсегда. Поезд, затерянный среди промежуточных вокзальных строений, уходил с шестого пути, с двух сторон платформа, в обрыве — ждущие поезда железные рельсы, вдоль платформы — испуганные люди, ищущие в темноте ответа «Где начало, где конец?», «Куда идти?», «Где остановиться?», «В каком вагоне твое место?». А поезда всё нет...

Каждый человек сегодня — рикша, везет за собой или толкает впереди чемодан на колесиках, Ольга одна идет налегке, но тоже ждет ответа от поезда.

В вагоне она сразу забирается наверх и старается заснуть, чтобы завтра скорей наступило, но часто просыпается и, свесив с полки непрояснившееся лицо, спрашивает у бессонного пассажира, читающего свежую прессу: «Который теперь час?» Час пока что не тот. Поезд прибывает, но всё время не туда, мимо, мимо. Невнятный женский голос объявляет изнутри вокзалов о прибытии поезда, законные станции навсегда остаются темными квадратами памяти с заголовком гулкого женского голоса. Город, который нужен ей, не сразу отыщешь на карте, прямого пути туда нет, ехать надо с пересадками, прежде попадаешь в другое, лишнее для жизни место, надо переждать там, столуясь с чужими людьми, перебрасываясь словами.

«Через пять минут прибываем», — отвечает пассажир.

Ольга стоит на твердой почве, ее обгоняют редкие рикши, она медлит: не рано ли она попала сюда (и сюда ли?), а может быть, поздно, слишком поздно. Однажды она уже побывала здесь, но это было так давно, почти во сне.

Ольга ходит с изнанки вокзала и не может найти дверь, ведущую в город, дверей много, но все они забиты досками или заложены нештукатуренным кирпичом. Она дергает каждую дверь по очереди, стучит по кирпичам, точно выискивает пустоты, ищет клад, и вдруг видит: какой-то пассажир завернул за угол и пропал, она бросается за ним, уловив последнее движение: закрывается створка бокового входа. Она входит внутрь вокзала.

Внутри запах долгого ожидания и пыли, непостоянства и отмеренного пути, железа, оттенков запахов неуследимых людей, что бывали здесь поминутно — а потом уезжали в разные стороны. Ольга огляделась, как в музее, прочла черный список уходящих и прибывающих поездов, прислонилась к несущей потолок колонне, погуляла у закрытых касс — было еще слишком рано, прошла зал ожидания насквозь — и попала в туалет. Она расположилась у окна с широким цементным подоконником, с покрашенным зеленой краской стеклом, за окном ходили заключенные уличные тени, кричавшие низкими и высокими голосами.

Ольга подрисовывала, отражаясь в пудреничном зеркале, глаза, рот, щеки, начесывала волосы на лоб, лишаясь бровей, — и сама себе удивлялась: да Ольга ли я? Настоящей Ольге место было на паперти, нарисованной — на панели. И платье у ней имелось подходящее: черное, скрипучее, блестящее, на змеиных ляпочках. Ольга живо протиснулась мимо ошарашенной туалетной старушки. Старушка не помнила, чтоб *эта* сюда входила. «За вход не платят, а выходить — пожалуйста, откуда ни возьмись».

Ольга посмотрела на часы под потолком, отбивающие музыкальный такт утра, — и решила, что пора. Ведь уже светает.

Что можно было сказать об этом городе? Только то, что и здесь горизонт не просматривался, всюду возвышались пересчитанные и пронумерованные панельные дома, составляющие безыскусный каменный пейзаж, окна блестели стеклами, как геометрические лужи, будто равнину подняли на дыбы, поставили стоймя — и отряхнули руки, разбирайтесь, мол, дальше сами.

Ольга помнила: троллейбус № 2, ехать через весь город и выйти у кинотеатра. «Космос» — по ту сторону трамвайного пути, а ей сюда, в переулок, где покосившиеся деревянные избы, глухие заборы, запертые ворота, колодец под липами. Ольга заглядывает в колодец, кричит в глубину: «Эй, ты?» — садится на лавочку у колодезного сруба и смотрит на спящий сутулый дом: три низеньких оконца зашторены. Она стучит по очереди то в ворота, то в крайнее стекло, зовет коло-

дезным голосом, перечисляя все известные ей имена. Но ворота не открываются, не слышно быстрых шагов по деревянному настилу, никто не возникает за стеклом, между раздернутой надвое шторкой, чтобы удивиться и радостно воскликнуть: «Оля!»

В излишнем городе, где Ольга провела последние дни, знающие люди сообщили, что если дома его не будет, значит, он в заоблачной деревне, он может жить и там, в области преданий. Но им, как и ей, неизвестен был его одиннадцатизначный номер, впрочем, позвонить она никак не могла: по приезду в столицу у нее выкрали из кармана телефон, по экранчику которого она возила пальцем, оставляя отпечатки.

Но почему здесь нет совсем никого? Ольга не решилась расспрашивать соседей и отправилась на автовокзал. Она клюет носом в пригородном автобусе цвета болотной клюквы, спит на автостанции, на гладкой охряной скамейке, подложив под голову пакет с черным платьем, а вокруг — городок из шкатулки, она дремлет в маршрутке, полной старушек. Старухи с готовностью отвечают на вопрос: «Большие Кочки проехали, теперь будут Малые. А тебе в Малые, да? Не в Большие? Большие-то, дочка, проехали». Кажется, ей действительно в Малые Кочки, не в Большие.

Ольга смотрит вслед одинокому автобусу, увозящему в село Гробищево людей в переходном к бездействию возрасте, старушки, сбившиеся в конце салона, облепили окна, жалостно глядят на оставшуюся посреди дороги юную Ольгу. Автобус, выпустив клуб сизого — крыло голубя — дыма, улетает, и Ольга видит вдруг неприкрытый горизонт: линия, бессердечно отчеркнувшая, отделившая землю от неба.

— А это ведь Малые Кочки? Как пройти в село Роглово?

Двое «мужичков с ноготок» колют дрова и таскают во двор, третий складывает поленницу, отвечают они, очерчивая вокруг себя круг, закругляясь:

— Всё по дороге, до конца, до крайнего дома. Потом по тропинке, дальше будет речка и мост бетонный. По мосту, потом полем, через лес, там Роглово. А вы к кому?

Ольга, поблагодарив мелких мужичков, идет едва приметной стежкой, приглядевшись, вместо речки находит ручей, текущий по дну оврага, — видать, ребятам он кажется рекой; две бетонные перекладины перекинута через овраг — это и есть мост. Ольга перебегает на ту сторону и, миновав поле, входит в лес. Почва болотистая, ее туфельки утопают в грязи, она решает переобуться в кроссовки, надо

бы и костюм переменить — Ольга одета в нарядный брючный ансамбль с замками-молниями в самых неожиданных местах. Навстречу идет мужчина с залысинами, в очках и болотных сапогах, несет мешок за плечами. Маньяк?! Поравнялся и спросил:

— Это, дочь, Большие Кочки?

— Не-ет, Малые.

— Тьфу ты, черт, закружило! Ну, Малые так Малые.

Ольга, уйдя вперед, опасливо оглядывается, и мужчина тоже обернулся, очки блеснули... Ольга припустила бегом. Путь ее — прорезь, узкий коридор света посреди стеной стоящих, подступивших вплотную к тропе черно-зеленых елей, хвоисто организованных в просторстве леса. Бегущая Ольга — дикий альбинос. Тропа, усыпанная сухой, изжелта-розовой хвоей, прочерчена по линейке, пружинит под шагами, бежать по ней — лесное удовольствие. Километр счастливого бега, и тропинка резко сворачивает вправо, на пути муравьиная куча, высотой ей по грудь, муравьиный хвойный Монблан подрагивает, как от землетрясения, от внутренней жизни. Ольга мысленно заключает муравейник в объятия.

Под ногами рождается дорога, потом раздваивается, слышны голоса, Ольга останавливается на развилке, слева появляются трое: мужчина, женщина, подросток, одетые одинаково, как однойцовые близнецы, — в телогрейках, ватных штанах, резиновых сапогах, у каждого в руке по корзине.

— А в Роглово сюда? Я правильно иду?

— Сюда, сюда. Правильно.

Трое, окружив Ольгу, смотрят в шесть широко распахнутых глаз. Женщина, поправляя платок (отличие от остальных близнецов), говорит мужчине с укоризной:

— Вот как по лесу-то нынче ходят! А ты меня в чем держишь?

— Вы откуда ж будете? — спрашивает подросток.

— Оттуда, — машет Ольга в неопределенную даль.

— Оттуда, — соглашается женщина и, совсем близко поднеся к ней свое обвязанное лицо, шепчет доверительно: — Вас ведь так убьют.

Ольга, метнувшись, проходит между женщиной с проникновенным взглядом и поднимающим руку косоглазым подростком, стремглав бежит по лесной просеке.

И выскакивает на безлесье. Дыхание сбилось, кроссовки запачкались, брючины снизу повлажнели. Отсюда рукой подать до крайней избы. Это, без сомнения, Роглово. Ольга прячется за византийскую ель — последнее дерево царственного леса, остановленного жизнью

деревни, начесывает взлетевшие волосы обратно на лоб и, отдышавшись, выходит из-за ели.

Дойдя, она видит: на лавочке под высокими окнами сидят молодая женщина — Катя, старая — Анна и ребенок между ними трех с половиной лет, в красной материнской кофте, внук Анны. Ольга здорова-ется и смотрит на пожилую женщину с одуванчиковой седой головой.

— Вы меня не узнаёте?

— Как не узнать. — Женщина смотрит вправо, где нет никого. — Фоточки-то посылала ведь.

— Скажите, а где...

— Его здесь нет. У него ведь дом сгорел, он теперь здесь и не бывает совсем. Это не его дом, братьев.

— А где он бывает? Вы не могли бы сказать?

— Откуда я знаю, он мне не докладывается. Где?! Там, небось, где ж еще-то. В такую даль, да в такое время, что тебя гонит, девочка?

— А воды мне можно напиться?

Катя ведет ее в дом, зачерпывает жидкость в ковшик, Ольга пьет коричневатую воду с травинками и бирюзовыми жучками, сдувая плавающее в сторону. Ставит ковшик на стол: окно с крестом рамы, под окном скамейка, на скамейке глядящая затылком старуха.

— Садись посиди, — предлагает молодая женщина.

Ольга садится и, отраженно глядя на другого человека, обмениваясь репликами, узнает из случайно выскользнувших слов, что письма не доходили до него — старая женщина бросала их в огонь, что в доме — там, в городе, никто теперь не живет, дом скоро снесут, все они живут поблизости, но в разных подъездах, им дали квартиры и ему тоже.

— Только адреса я не могу сказать, она... если узнает, что это я... Ты лучше у соседней поспрашай, хоть слева, хоть справа, любой скажет. Кто ты — не говори, мол, я из столицы, по важному делу. Но торопись, тебе надо успеть до шести, в шесть они встречаются — тогда всё.

Ольга выходит из ворот, старая женщина поворачивает голову посмотреть на нее, Ольга вдруг кланяется в пояс и уходит по своим же следам, в обратном порядке: лесом, полем, через мост, сквозь Малые Кочки, переходит на ту сторону шоссе, не оборачиваясь на прочерченную кем-то линию горизонта, поднимает руку — и через два часа вновь стоит у колодца с убывающей водой.

Идет дождь-сеянчик, рассеянная вода наполняет воздух, изменяя суть, колодец укрыт от хлябей небесных двускатной крышей, в колодце — своя земная вода. Ольга стучит в соседние ворота, почерневшие

от влаги, фиолетовые, из ворот выходит вопросительный полустарик. Ольга торопливо выплескивает накопленное:

— Я из Центробанка, по важному делу. Он нужен там, его зовут, дали этот адрес, а никто не открывает, стучу-стучу. Где он может быть?

Сосед, внимательно разглядывая Ольгу, жмет плечами:

— Они переехали. Точно сказать не могу, сам не знаю. На ту сторону, где «Космос», вдоль высокого забора иди, там ворота со звездой, военный городок, новый дом спросишь, еще не весь заселили, военные строили, улица Неизвестного солдата, последний этаж.

Ольга — вспотевшее и промокшее белесое существо с волочащимися крыльшками, бродит от дома к дому и задает дневным безучастным прохожим один и тот же вопрос. Она уже не пытается держать себя в узде, не поправляет, зайдя в очередной подъезд, челку, не подрисовывает смытого дождем и всё больше склоняется мыслью к горячему чаю. Вообще Ольга мечтает поскорее постареть, чтобы приблизиться к человеку, отойдя от женщины, чтобы мужчины перестали обращать на нее пристальное внимание, сейчас, ей казалось, она на глазах стареет.

Наконец ей указали бледно-зеленый дом батальонной постройки, Ольга подняла закружившуюся голову: сколько недосягаемых окон, сколько за ними печальных людей! Она проникла в первый подъезд, следом за ней вошел небольшой мужчина и сразу всё понял.

— Вы кого-то ищете? Не меня?

— Ищу, — Ольга кивнула и рассказала — кого. Мужчина, оказавшийся из того же полуснесенного переулка, назвал ей нужный подъезд. Ольга по ступенькам поднялась на верхний этаж — лифт не работал.

В первой же двери ей указали на вторую, по часовой стрелке, — там он жил. Ольга перекинула пакет с платьем из правой руки в левую и позвонила. Дверь не открылась. И, вспомнив еще слова, повернула обратно, к домику у колодца, Катя сказала, что иногда он заходит туда.

Глубокая траншея для отсутствующих пока труб перерезает переулок и уходит вдаль — налево и направо. Через траншею проложен деревянный настил. Вокруг собрались вышедшие из переулков люди, Ольга подошла к настилу: внизу, в глинистой яме, спал хорошо одетый мужчина. Поза его была — поза упавшего и мгновенно уснувшего человека, а может, он спал и падал, падал и спал. Собравшиеся обсуждали, кому бежать за лестницей и веревкой, к кому ближе, хмельная женщина вызвалась караулить, чтоб мимолетные и мимоходные негодяи не содрали со спящего кожу.

— Как только не разули, — воскликнула женщина в пугающую пустоту. — Как только не разули, не раздели, говорю, — повторила она для Ольги, которую обнаружила ощупывающим взглядом. — Веревку сейчас принесут, и вытащим, за Петром послали, у него есть.

Ольга кивнула, она повернула в переулочек, дошла до колодца, из домика на ее стук никто не вышел, тогда она написала записку, подписавшись «Ольга» и сунула в щель ворот.

Вновь поднялась на последний, преднебесный этаж. Дверь не открылась.

Голодная Ольга насытилась хот-догом и вновь поднялась наверх. Дверь стояла стеной.

Ольга вышла на крыльцо и поглядела во все стороны. Во все стороны шли люди, время приближалось к шести; землю спрятали под бетоном; по небу плыли облака, похожие на платоновские идеи.

У подъезда на скамейке сидел военной выправки человек.

— Что ты бегаешь туда-сюда? — спросил военный, глядя сквозь толстые линзы часовщика. — Посиди, отдохни, подумай.

Ольга послушно села неподалеку.

— Кого ищешь-то?

Ольга не призналась.

— Не с последнего этажа человек?

— С последнего.

— Зовут Виктор.

— А вы его знаете?!

— Если ты знаешь, почему я не знаю. Только что дома был, вместе мы были дома.

— А я давно уже...

— Ну, может, вышел. За хлебом, например. Ну, или еще за чем. Придет скоро. Чего под дождем-то сидеть, посинела вон, пошли посидишь под крышей, под потолком.

Ольга засомневалась.

— Да ты не сомневайся, я не один там, посидишь, отогреешься, чаю попьешь. Чем под дождем-то мокнуть.

Ольга решила, делать нечего, пойти. Там видно будет.

— У нас тут квартира незаселенная. Входи-входи, чего стала.

Ольга застыла на пороге: в комнате стояли три железные кровати, перед ними стул, на стуле — бутылка водки, солдаты, склонившись над ложным столом, пили из стаканов. Три солдата, точно три медведя, поглядели на нее. Ольга не захотела пугаться и вошла. Окно было открыто, окно будет у нее в запасе.

Старший военный налил Ольге водки вместо чая, Ольга пыталась отказать, но пришлось сделать три глотка, «чтоб не заболеть», она поперхнулась земным напитком, который не принимал ее девственный организм. А Майор, так называли его солдаты, задрал штанины и показал распухшие, в синих узлах ноги.

— Я ни от кого ничего скрывать не собираюсь, что есть, то есть, — начал Майор. — Я сразу говорю, такой я человек: вот — я, вот — мои ноги. Хочешь смотри, хочешь — не смотри. Недавно пошел, дурак, за грибами, все идут — и я туда же, ну куда мне с моими-то ногами, да? Нет, пошел! Зашел вглубь леса — и ноги отказали, шага ступить не могу, вот как назло — никогда такого не бывало, а тут, в лесу, — нате вам! Хоть бы напарника взял, дурак. Хоть бы солдатиков этих, нет, сам потащился, трижды герой! В такую чашу забрел, где мобила не берет. Что делать? Лег и пополз, ни дать ни взять Мересьев этот, из детских книжек, кой хрен, думаю, люди могут, а я чем хуже? Ползу, землю буровлю.

— А грибы, товарищ Майор?

— Какие грибы! Грибы уж побоку. Ползу, ползу, с километр, наверное, прополз пластуном, гляжу — дома, деревня какая-то, орать собрался... и чего-то стыдно мне стало, такой лоб здоровый, майор, помощи будет просить у старушек! Дай-ка, думаю, испробую, как ноги-то мои, испробовал, и что вы думаете? Стоят. Стоят, мерзавцы! Предатели стоят! Выругался — и побрел потихоньку. В автобус вхожу — весь мокрый, грязный, в листьях, чисто леший! И без грибов. Но ничего, до дому кое-как добрался, жену за бутылкой послал, ожил!

Майор опять задрал штанины, сказал хвастливо:

— У меня ноги хоть как у слона, да свои, не приделанные. Вот так-то, девушка!

Входную дверь распахнули настежь, и видно стало, если кто-то поднимается по лестнице или спускается: лифт по-прежнему не работал. По лестнице иной раз и впрямь поднимались окающие мужчины, женщины и дети. Но не он. Майор вышел, а солдаты принялись показывать ей книжки, которые читают (может, они решили, что Ольга учительница?), со страшными глянцевыми рожами на обложках.

За окном давно стемнело, и Ольга поняла, что нужно уходить. У нее был билет на завтрашний поезд, но до завтра еще нужно доночевать, она решила доживать день на автовокзале, там потолок не так высоко, как на железнодорожном, и стены стянуты ближе друг к другу. Солдаты пошептались между собой, а потом сказали что-то ей, Ольга, не вслушиваясь, поторопилась выйти, поднялась — дверь его по-

прежнему была заперта. Ольга вспомнила вдруг про Петра, который жил в одной из серых изб, за дорогой от кинотеатра «Космос». Он ведь был знакомый.

Ольга спустилась на первый этаж, а из солдатской общины вышел рядовой, переодетый в мирную одежду: джинсы и свитер, и пошел, подстраиваясь под ее шаг, рядом. У него были угловатые жесты тайного робота.

Дождь прекратился, потеплело, кроме нижних земных огней, засияли из светового времени огни небесные — кто-то включил звезды, и Ольга рассмеялась. Уж Петр знает, как его найти, если он *там*, Петр приведет ее туда.

Солдат, не видимый простым глазом (они вошли в неосвященный переулочек), время от времени выкидывал вперед вытянутую руку, проверяя, свободно или занято пространство для дальнейшего продвижения. Однажды он наткнулся рукой на столб электропередачи, потом случайно коснулся пальцами головы идущего навстречу прохожего, задел вдруг осину — и крона дерева, точно туча, отозвалась: осыпала их кратковременным дождем.

Ольга по наитию постучала в третью избу — и Петр тотчас вышел из нее. Ольга сказала: «Я Оля, я ищу Виктора». Петр отозвался: «Подождите». Вошел в одни ворота, вышел, переодетый, из других и повел их, дорога не была прямой, это была конфигурация, но и там, куда их привел Петр, не горел свет, никого не было дома. Ольга устала так, будто обошла всю землю по экватору, и очень хотела спать; оставался еще завтрашний день, а сегодня близилась глухая ночь, о которой приходилось думать, где ее коротать. И ближний Петр предложил ей ночлег:

— У меня есть тетя, положу тебя у нее, она согласится, пожалуй. Положил бы у себя, но у меня человек отсыпается, из ямы вытащили, живой, к счастью.

Робот-солдат, услышав про Ольгин ночлег, выразил всем телом и душой разочарование. У дома Петра она рассталась с солдатом, тот выкинул вперед параллельно дороге руку, коснувшись кончиками пальцев Ольгиного лица, и вздрогнул; рука упала к туловищу, и солдат — шагом марш! — развернулся и ушел, скрылся навек из мира Ольгиной видимости.

Они вошли в ворота, из которых Петр вышел, и постучали в дощатую дверь, сонная тетя, хмуро выслушав слова Петра об Ольге, поджала губы, но, любопытствуя, пустила ночевать. Утром пришел Петр и повел ее на свою сторону избы.

Сегодня светило осеннее солнце и оказался совсем летний день. Возле входа в Петрову половину стоял остов красной детской машины без колес, но с рулем, из пустых окон, боковых и ветровых, смотрели, произрастая, высокие травы и кусты: бузина, репейник, смородина — пассажиры земли.

— Какое хорошее место! — похвалила Ольга.

— Если бы я не вырос, — отозвался Петр, — то ездил бы в этой машине все свои дни и не искал бы утех и утешения. А сейчас мне скучно смотреть на нее, и я не знаю, чем заполнить свои дни, и часто наполняю стаканы и вожу мимо моей праздной машины разных женщин, которых когда-то девочками катал на этой школьной машинке.

— Я знаю одного маленького человека, который как раз поместится в эту машину, он был бы рад ехать в ней вместе с другими растущими под небом ездоками.

Спящий в яме, а потом в Петровом доме очнулся и стоял грустный на крыльце, в черной кожаной куртке, надетой на голую кожу, в хорошо пригнанном к телу воздухе дня, расстраиваясь, что кто-то вынес его из ямы.

Петр нарвал листьев смородины, заварил их — и стал чай. Он угостил Ольгу чаем из листьев смородины, едущей без остановки в красной машине детства.

Ольга, умытая колодезной водой добела, оделась за дверцей шифоньера в припрятанное черное платье и, поглядевшись в трехстворчатое зеркало, стоящее на старом комод, осталась довольна отражением.

Теперь Петр вел ее к Виктору, на последний этаж — но и перед Петром дверь не открылась. Он плюнул — и они ушли. Майор сидел на скамейке у подъезда, поглядев придирчиво на идущих мимо Ольгу и Петра, спросил:

— Всё туда же? Всё за тем же? — И внезапно вспомнил, что вчера утром, когда Виктор еще был на месте, приходил бородач и они с ним говорили про речку Кокит. Может, они отправились туда?

Ольга подумала, что *туда* ее не хватит. У нее есть обратный билет, пора возвращаться. Она увидела: за ожидание тоже приходится платить, вход в Зал ожидания стоил денег, которых у ней нет. Ольга остановилась у колонны, оставшейся из миновавших времен, расписанной советскими художниками, у соседней колонны расположились цыганки и цыганята; безоговорочный шум под высокими сводами вокзала. Цыганский паренек лет двенадцати набежал вдруг на Ольгу,

доставшую из сумки расписной гребешок, чтоб начесать челку на брови, и потребовал:

— Дай гребешок, дай расчесаться! — И покрутил перед ее лицом давно нечесаной головой.

Ольга спрятала гребешок за спину. От соседней колонны отделились еще несколько цыганят, помладше, и, окружив колонну Ольги, завопили:

— Дай, дай, гребешок! Дай расчесаться! — И нагнули нечесаные головы, протянули руки.

— Девочка, дай! — воскликнул первый мальчик, и Ольга отдала ему расписной гребешок.

Ольга села на нижнюю полку и посмотрела за окно: но ничего не увидела, и посмотрела прямо: мимо лица сидящего напротив пассажира, вместе ехать ночь. Дорога домой — три оборота земли.

Ольга легла плашмя и нахмурила, лишенная понимания, свое отмытое добела лицо: вчерашние и сегодняшние люди — кто они и зачем проявились в ее жизни? Ей стало тревожно от множественных лиц, не помещавшихся в сознании, выходящих за скобки ее дней.



Ольга занимается лепкой своего надоевшего до оскомины лица, стоя у покрашенного зеленой краской стекла, на крашеном стекле — прозрачные царапины имен и дат, из угла за ней наблюдает курящая окурок бомжиха; Ольга вылепила веки, подправила скулы, увеличила губы и длину ресниц, достала флакон французских духов, бомжиха, докурив, подошла к ней:

— А брызни и на меня, чтоб не пахла?

Ольга брызнула в раскрытый беззубый рот, и на шею, и на свалывшиеся волосы, бомжиха, зажмурившись, покрутила головой, втянула изменившийся воздух вокруг себя, чтоб не пропал, и сказала:

— Ну, я пошла. Пускай понюхают, пока не выветрилось. — Развела руками и притопнула каблуками дырявых сапожек: раз-и-два!

Ольга прошла мимо туалетной старухи и взглянула на далекое время, взятое в оборот вокзальными часами. За окнами было темно и тревожно, а внутри горел ровный свет. Ольга решила дожидаться в Зале ожидания. Люди в специально отделенном под ожидание месте ждали каждый свое — во сне. Ольга сидела среди лежащих вповалку на жестких скамейках оболочек внутренних миров, отправленных в путешествие сна. Потом подобрала ноги — под скамейками гулял сквозняк.

Стало светло, Ольга села в троллейбус и вышла возле кинотеатра. Лифт не работал — она пешком поднималась на последний этаж, замедляя и замедляя шаги. Вот знакомая дверь, Ольга позвонила и прислонилась к косяку, готовясь долго ждать, прислушиваясь. За дверью молчали, не шли. Не жили? Ей представилась неотвратимая дорога домой. Шаги... Поворот ключа, дверь отпахивается нешироко, в щель выглядывает Виктор.

Ольга видит, как он стар. Он смотрит с той стороны на Ольгино отчаянное лицо, окоченевшее от остановки мгновения.

— Ну, заходи, — говорит строго, пропускает Ольгу и закрывает за ней дверь, предварительно выглянув наружу — будто следом за Ольгой идут другие.

Ольга за порогом, в его жилище: это новое и совершенно такое, как у всех, жильё, измеримое в квадратных метрах, почти не обставленное. Она надевает огромные тапочки Виктора и шлепает по полу, садится в кухонный угол, спиной к окну — Виктор достает из-под стола бутылку, там немного водки, извиняется и выпивает из горлышка. Встряхивает головой, волосами, щедро посыпанными пеплом.

— Чем тебя покормить?

— Ничем.

— Может, сухое будешь? Или пиво?

Ольга вертит головой:

— Нет.

— Ну а мне надо. Я всё равно схожу. А ты пока тут распорядись: консервы в холодильнике. А хлеба нет, извини.

Виктор уходит, Ольга смотрит в окно без крестовины, сквозь сплошное стекло, в даль, затянутую, занятую высотными домами.

Виктор пьет пиво, Ольга ест сосиски с горчицей.

— Я уже долго пью, — признаётся Виктор, — с лета. А уже осень на дворе. Да, осень. А как там дома? Всё так же? Ох, Оля, если бы ты знала, как тяжело жить. Это же ежедневная история, притом все дни пропадают напрочь, ничем не удержать, сплющиваются в ком, как будто их и не было. Если бы ты знала, как это невыносимо: жить. С какого дня начать, скажи? Да тебе совсем, наверное, неинтересно. У тебя свое. Ну ладно. Как это я не ушел, Оля? Я ведь хотел уйти. Но я рад тебе, правда рад. А тебе впрямь интересно, как я тут живу?

Ольга кивнула, кутаясь в боярскую куртку Виктора.

— Ну, с чего начать? Может быть, с пожара? Это совсем недавно было, летом. Эх! И еще длится — стоит только закрыть глаза: горит, всё горит. По краям тьма, а посередине огонь. Оля, ты не представля-

ешь, чем был этот дом для меня, мой дом! У меня же никогда не было своего. А тут — озеро, лес и дом! Сказка. И вот — короткое замыкание: и нет ничего! В одну минуту разгорелось. И не остановить, пожарная команда туда не проедет, а ведрами не затушить, хотя старались, носили воду с озера. Сгорело обжитое место, вся долгая деревянная жизнь избы, кусок моей жизни, упрятанный внутрь. С деревьев в саду листья осыпались — пожелтели от огня и осыпались. Всюду весна, только у меня глубокая осень. Времена года ополчились против меня. Стою и плачу, как лох, как дурак! Погорелец.

— А она? Где она была в это время? — спросила Ольга.

— Она? Ой, не будем о ней сейчас, Оля. Это неважно. При чем тут она? Я тебе про другое совсем хочу, а ты...

— Я слушаю, слушаю, — заторопилась Ольга.

— Ну вот... Потом квартира эта. Сколько мы ждали! Сколько себя помню, столько и ждали. Знал: живу в доме, который снесут. Я рос, я вырос, неузнаваемо изменился, постарел — и вот наконец получил квартиру. Всем дали отдельные. Это просто чудо какое-то! Сейчас же не дают уже никому задарма-то, только за денежки. А нам дали. А избы нашу еще не снесли, стоит пока, бедняжка. Но указание уже есть. Скоро, скоро прибудет стенобитная машина, с ядром, маятник раскачается — и всё, прощай, родной дом! Купленная задешево изба в лесу сгорела — а у меня уже опять крыша над головой! Везучий я, Оля!

Раздался звонок, и Виктор наморщил брови, взглянул испытующе на Ольгу, звонок звонил и звонил, Виктор встал и, спросив что-то, распахнул дверь. Вошел бородач. Виктор представил их друг другу и, налив себе и бородачу водки, продолжал:

— Олечка, как я рад, что ты приехала! А я на грани. Андрей не даст соврать: разве это жизнь? Сплошные напасти. Бьюсь как рыба об лед. Смена настроений — ежедневная, ежечасная. Сегодня — всё хорошо, я любим, обласкан, завтра, послезавтра — удар, еще удар. Я гоним, презираем, хуже меня нет в городе человека. Прошлой зимой упал, сотрясение мозга, свалился в обледенелую яму, там траншея у нас, может, видела? Многие падают, света-то нет, фонари разбились, идут в темноте — и туда, просто какая-то ловушка, западня для человек — и я попался, долго был не в себе, вот смотри, Оля, вмятина во лбу, ямка, это от той ямы отраженный след. От падения. В больнице лекарств нет, лежал дома, хорошо, что друзья есть — Андрюша вот помог, жена его Лена, еще Варвара — альтруистка тут одна. Выходили. А так бы... А она — ни шагу. О, она-а! Судьба. Вот Андрюша с Леной привели тут одну, подруга их, нездешняя, сидели у меня, здесь уже,

вот за этим столом, она — явилась вдруг, звонит, а нас — четверо, зачем нам еще кто-то? Ну, понимаешь... Те двое — на балкон, я в ванной заперся, Андрюша открывать пошел — он ее не выносит, ее никто не жалует, Петр тоже, ну, ладно — открывает. Она его отодвинула, давай меня искать! В руках газовый баллончик, она с ним не расстанется, комета, страшна во гневе, несется, щеколду в ванной сорвала, нашла меня, утихомирилась. Не знаю, как мне быть, Оля, как жить, а тут ты еще.

— Витя, а я ведь по твою душу опять, — перебил его бородач, — люди звонили, просят, чтоб ты печь им сложил на даче. Что мне им сказать?

— Вот, Оля, видишь, чем на пропитание себе добываю — печи кладу. А ты говоришь! Разве могу я отвечать за кого-то?! Нет, печи-то хорошие, да заработок непостоянный, от случая к случаю. Всё дело тут в глине, глина нужна особая, я в глине понимаю теперь. Глина, кирпичи, голова, руки — печь готова. Оболочка пустая. Потом дрова в нее положить, бересту — и зажечь, вот и готов огонь, огонь есть — печь живет, и всему дому от нее тепло. Я уж думаю: не сложить ли тут печку, трубу наружу вывести, крыша-то недалеко, я же на последнем этаже живу, трубу сделаю высокую, над крышей девятиэтажки поплывет дым. Красота!

Раздался одиночный звонок — Виктор открыл дверь: вошла пожилая женщина, Анна. Посмотрела неполным взглядом на Ольгу.

— Вот Оля приехала, мама.

— Да ви-ижу! Холод у тебя какой, Витя!

— А я печку сложу, будет тепло. Свой очаг. Хватит мне бродить из дома в дом, я ведь взрослый человек.

— Ты старик уже, а толку нет. За себя ответить не можешь, не то что за кого-то отвечать! Копейку зарабатываешь — пропьешь!

Старуха поднялась уходить, пригласила:

— Завтракать-то приходите, у тебя ведь шаром покати, консервы одни.

Бородатый Андрей ушел вслед за старухой, сказал, не прощаясь:

— А на обед пожалуйте в столовую инвалидов.

Ольга села на крутящийся круглый стул к черному фортепиано, открыла крышку и опустила растопыренные пальцы на клавиши, сыграла на память мелодию, которую учила в пятом классе. Виктор, одетый, стоял на пороге.

— Оля, а ты умеешь играть, оказывается, я не знал! Пошли, а то мама заждалась.

Они вошли в разрушенную в будущем избу, напротив колодца, который засыплют. Мать Виктора старалась вести обычную жизнь в пустом, но уцелевшем пока доме, она вела себя сюда каждое утро и уводила вечером, но сны ей снились на новом прижизненном месте, в высотной квартире.

— Что так поздно? — спросила Анна. — Всё уж остыло.

Ольга с Виктором насытились овощами, выросшими из той же почвы, в которую врос дом.

— Не знаю уж, угодила ли? — спросила Анна и вышла.

— А у меня обратный билет на завтра, — вспомнила Ольга.

— Уже? Так скоро? Но я приеду, Оля. Я тебя не брошу, не бойся. Теперь уж я приеду. Сложу последнюю печь — денег на билет заработаю, и за тобой. Так будет лучше.

— Это правда? — спросила Ольга недоверчиво.

— Вот увидишь, хе-хе, — Виктор рассмеялся уклончиво. — Я не знаю, на что мы будем жить, но жить мы будем. Как-нибудь проживем!

— А можно я скажу тогда, когда домой вернусь, про это?

— Конечно. Скажи: так и так.

Анна пришла с чайником и сказала, что ведь картошку надо копать, там, в Роглово, все уж выкопали, мороз ударит — и всё.

— Да, Оля, дом сгорел, а то, что внутри, в земле, — осталось: гнезда картофельные. Надо ехать копать. Столько всяких прижизненных дел, осподи!

— Завтра! — строго прихлопнула словом Анна. — Договаривались на завтра!

У кинотеатра «Космос» стояла красная «копейка», в которой было полтора свободных места — для Виктора с Ольгой. «Жигули» пробили невидимую городскую черту — и, проехав среди листопадных деревьев, теряющих желтые и красные листья, остановились подле садового летнего домика. Люди и звери вышли навстречу друг другу: из дома и из машины. Из дома: старик, собака и кошка. Престарелый житель, выделенный из своей семьи на доживание в летник, но доживший до осени, а там и до зимы, увел Виктора говорить про печь.

— Начнем в пятницу, — сказал Виктор на прощанье. — Послезавтра.

У кинотеатра они вернулись на безжизненную землю, упеченную в асфальт. Виктор оставил Ольгу, увидев в толпе, среди впередсмотрящих, желтый плащ бородача Андрея, побежал догонять, а вернулись они вместе и повели Ольгу в гости.

Дорога была в расширяющихся, как вселенная, лужах. Ольга чувствовала себя за троих. Виктор слышался рядом:

— Всё, что у меня есть домашнего, всё, что попадает на глаза, — это ее, Варварино. Весь домашний скарб. У меня же нет ничего своего. Скалки там всякие, ступки. Стол кухонный кособокий — и тот ее. Ну разве что фортепиано мое. Всегда мечтал научиться играть — так и не довелось. Варвара будущим пожарникам преподает — русский язык. Хотя с огнем я не знаю, на каком языке надо изъясняться. Жаль, раньше с ней не познакомился, а то бы по блату, может, и приехали на мой пожар пожарные — в Роглово-то.

— А она рада будет? — забеспокоилась Ольга.

— Ра-ада! Правда, Андрюша? Ты не знаешь ее, это такая... альтруистка.

— Рада, — отозвался бородач. — Сейчас на стол всякой всячины наставит: икры красной и черной, зефир в шоколаде, коньячок, сыр с гнильцой. Это женщина, наделенная несметными запасами еды и питья.

Они поднялись на третий этаж, Виктор позвонил — дверь не открывалась. Андрей пожал плечами: недавно ей звонил — была дома, я ей сказал, что, возможно, Виктор придет не один.

Виктор сунул руку в карман за мобильником и задумчиво поглядел на Ольгу. Они спустились на продуваемую северным ветром улицу — и разделились: Андрей пошел на остановку троллейбусов, Виктор с Ольгой — в магазин. И внутри магазина, и снаружи былолюдно — стрелки вытягивались в струнку, приближаясь к шести.

Виктор, а следом Ольга шли вдоль траншеи, миновали деревянный настил, перекинутый над глинистой пустотой, — и свернули на задворки краснокирпичной школы, крышей подпирающей тучу. Виктор подул на руки и откупорил бутылку, извинившись, приложился, отпил и спрятал в карман.

— Я здесь учился, Оля. Это моя школа. И как раз в этом месте мы тайком курили. Ничего не меняется! Принужден жить кругами — всю жизнь слоняюсь вокруг одного и того же места.

Ольга держала в руке пучок голубоватых трав, врученный ей стариком из летника. За кустарником на площадке бегали друг за другом две девочки лет пяти, одинаковые как внутри, так и снаружи, поодаль стоял, покуривая, соблюдающий их отец, тоже с бутылкой.

Ольга рассказывала:

— Там солдаты были и Майор. А потом Петр, твой сосед. А ночевала я у его тетки. Мне это не снилось! Не может быть, чтобы снилось! А вначале я испугалась: солдаты же. И Майор.

— Раз Майор был мой товарищ — то не страшно. Зря ты боялась. Ты же сказала, что ко мне? Ну во-от! Значит, всё в порядке. Не надо

было пугаться. Ни во сне, ни наяву. Ну а Петр — тем более. Он более чем сосед. Он как брат мне. Разве я тебе не говорил?

— А где ты был в это время?

— Я не знаю. Откуда мне знать. В какой это случилось день? Откуда вести отсчет? Ничего нельзя вспомнить, как ни крути. Дни завязли один в другом. Это не жизнь, а болото.

— Извиняйте, что прерываю, — к ним подходил отец девочек, — у меня стакан есть. Вам, вижу, нужен.

— Да я и так могу, — сказал Виктор. — Но спасибо.

— Вот у меня еще осталось, — пробормотал человек, повертев бутылкой, — а мне уже хватит. Вам. — Протянул бутылку.

Ольга посмотрела в близко посаженные глаза человека — и отшатнулась. Мужчина удалялся, обратя свой взгляд на удвоенную девочку. Дети гонялись одна за другой, наступая то на свою тень, то на такую же чужую. Виктор пил водку из горлышка. Последние листья шли своим извилистым путем по воздуху — к братьям на земле.

— А мы домой пойдем? — спросила окоченевшая Ольга.

— Пойдем, конечно. Скоро. — И поглядел на часы мобильного.

Человек вновь приблизился:

— Вы уж извиняйте. Все-таки я допью, наверно, свое. Вы не возражаете? Как-то мне нехорошо.

— Конечно-конечно, — вернул Виктор чужую бутылку.

— Может, я навязываюсь? — продолжал отец девочек.

— Нет-нет, что вы.

— Мои-то вон — бегают.

— Близнецы?

— Да. Мать умерла у них недавно. Рак. За два месяца сторела. Всё жива была, ворчала на меня, и вдруг... Они остались. Двое. А я один. Стараюсь как могу. Да куда мне! Мамка им нужна. Женщину хорошую бы... Не посоветуете? Я ведь не пью вообще-то, только сейчас. Знакомую какую? Нет на примете? Вот такую бы. — Мужчина повернулся к молчащей Ольге, она переминалась, как птица, уставилась в землю, потом на играющих девочек.

— Такую бы точно. Нет такой на примете?

— Ей еще самой мамка нужна.

Ольга поднималась следом за Виктором на последний этаж: когда же заработает этот лифт? Виктор разбудил ее поутру:

— Опять проспали! Я же обещал пораньше. Напился вчера как свинья. Почему ты не остановила меня, Оля? Два часа ехать, идти еще сколько! Сегодня я должен выкопать картошку, а завтра примусь

за печь для деда. Три дня сроку на всё про всё, и в конце недели жди меня, Оля. Так и скажи там...

Ольга завязала пояс, шнурки, узелок на платке, чтоб не забыть уехать; они зашли за Анной в избу у колодца и направились к автовокзалу. До автобуса еще оставалось время, Анна, держа котомку на коленях, сидела в тесном мирке ожидающих своей участи. Виктор и Ольга вышли на улицу, под пунктирные линии дождя, огибающие земные помехи. Виктор, приложив к уху трубку, просил отдаленного Андрея присмотреть за Ольгой, накормить, главное. Ольга, приплясывая рядом, наотрез отказывалась есть.

— Ты голодная, Оля, ты должна пойти. Не знаю, как я буду копать: мутит после вчерашнего, после всегдашнего, а ты пойдешь, он встретит тебя, я договорился. Они же мои лучшие друзья. Раз уж я у тебя такой — пьяница, то хоть... Привыкай. Когда мы будем жить вместе, тебе часто придется с ними общаться.

Ольга пересекла площадь, на которой стояли автобусы, похожие на динозавров, пришедших на водопой в последний день своей жизни. Автобус выезжал из ряда остальных, Виктора нельзя было распознать среди грибников, но Ольга махнула рукой на чей-то взгляд и завернула за угол.

Бородатый Андрей встретил Ольгу на ходу и повел в столовую инвалидов. Над дверью висела вывеска «Мане», в зале на стене завтракали на траве одетые мужчины и обнаженная женщина.

— Днем это наша столовая, а вечером здесь приют лавочников, — пояснил Андрей. — Говорят, даже цыгане бывают.

Внутри былолюдно, хотя время обеда еще не подоспело, во всех концах зала за столиками сидели хромые, слепые, расслабленные в колясках, изнемогшие от жизни, старые и совсем молодые люди.

Здоровая Ольга ела, не поднимая от тарелки глаз, Андрей смотрел в окно и говорил:

— Ты не стесняйся. Талоны всё равно пропадают, я уже позавтракал — обедать рано, я через раз хожу. Сколько говорю Витьку...

Ольга достала из кармана платок с узелком, Андрей смотрел на нее испытующе, потом спросил:

— А вы говорили о ней?

— Нет. Мы не успели. Мы о многом не успели поговорить.

— Но ты ж знаешь, что у него есть...

— Да, да, я знаю. И боюсь, что...

— Не нужно бояться. Он уже устал. Ты не знаешь, как она с ним обращается. Может, это не мое дело, но я должен тебе сказать. Ведь это

ни на что не похоже! Намедни взяла зонт, сложила — и по голове его, по лицу, по чему придется. И он терпит. Как тебе это?

— Это совсем не смешно. Как вы думаете, он приедет, как обещал?

— Я не знаю, Оля. Я ничего не знаю. Но ты должна готовиться ко всему. Мне всегда хочется, чтобы меньше лилось слез.

Ольга поднялась на последний этаж, в жилище Виктора, походила из угла в угол, занесла руки над клавишами — и передумала, опустила пыльную крышку фортепиано и пальцем написала на ней горькую правду.

Пройдя по настилу, проложенному через траншею, она миновала колодец, постучала в соседние, почерневшие от влаги фиолетовые ворота, из ворот вышел вопросительный полустарик, уставился на Ольгу, она сунула руку в карман — и протянула ключ. Ей показалось, что когда-то так уже было.

— Это — от двери Виктора, на улице Неизвестного солдата. Передайте ему, пожалуйста.

Старик говорил, что требовалось:

— Не сомневайтесь, передам. А Анне можно?

— Можно и Анне.

На площади у вокзала стояла серая каменная девушка, в три метра высотой. Распахнув каменные объятия, она встречала приезжающих, но все, не задерживаясь, проходили мимо объятий, только отряд белых голубей сидел на левой руке и, через голову, на правой — отряд сизарей. Виктор рассказал, что девушка была известной революционеркой, ее арестовали, и грубые жандармы обошлись с ней по-мужски, надругались, а потом убили. У нее было когда-то имя, только имени теперь никто не помнил, и безымянную девушку-каменистку собирались снести, как утратившую свое имя и чужую память.

Ольга миновала памятник и открыла высокую дверь, ведущую из города — внутрь вокзала. Она прочитала список уходящих поездов, нашла свой поезд; туалетная старушка, оставившая свой пост, скользнула мимо Ольги, тыча пальцем и говоря с придыханием:

— Дедушо-то, дедушко... Пойди, пойди, дочь, посмотри, — подтолкнула Ольгу в спину.

Подле колонны, валясь на бок, но стараясь подняться, выставив для опоры локоть, полулежал дедушка, через круг пустоты около него собралась толпа пассажиров и два дежурных полицейских. Дедушка старался смотреть, но мало что видел: по его бровям и ресницам носились насекомые, свалывшаяся шапка волос землистого цвета казалась живой от веселящихся в ней вшей.

— Надо бы его как-нибудь поднять, — говорил один полицейский другому, но ни тот ни другой подойти к дедушке не решались.

Дедушка, из последних сил напрягавший зрение и слух, пытавшийся поднять непослушного себя и присоединить к советской колонне, понял всю тщетность своих усилий и, разозлившись, расплевался с миром.

Гулкий женский голос объявил, что поезд прибывает, чтоб отойти со второго пути. Ольга двинулась за теми, кто зашевелился и пошел к выходу, забыв про дедушку.



Ольга, подняв руку, позвонила, руку унесло к ноге, по стойке смирно. Она прислонилась к стене, прислушиваясь к задверному миру.

— Кто? — спросили оттуда.

— Я, — ответила она от себя.

Дверь открылась: Виктор смотрел на нее, наземную, прикатившую из дальней дали, дал место для прохода:

— Ну что ж, входи.

Ольга запнулась на пороге и вошла, оставляя рушащиеся слепки прошлого за спиной.

Виктор помещался внутри так: до потолка от него полтора метра, по два-три метра до стен, Ольга разместилась рядом, повесив на крючок куртку из генуэзской материи.

Он внедрялся электродрелью в противоположную стену — Ольга заткнула уши: вибрирует пол, на котором стоят ступни, стул, на который она садится, стол, в который упираются локти, вибрирует воздух, который она вдыхает. Ольга не может уснуть — Виктор крадется к окну и обратно. Она посмотрела, приподнявшись: на подоконнике, у стекла кишат гвозди. Виктор, невидимый, слышится глухими ударами в стену. Она встает, приподнимает крышку фортепиано, тщательно вытертую, чтоб посмотреть на черные и белые клавиши, приближает к ним руки — кисти рук со вставшими на дыбы пальцами, и, не дотронувшись, отводит. Крышка захлопывается, как дверь. Виктор проходит к окну между Ольгой и черным инструментом, берет горсть сероблещущих гвоздей и уходит.

Она укрывается одеялом с головой, чтоб не служить напоминанием, чтоб не слышать ударов в стену.

Ольга просыпается в сумерках — Виктор сидит на кухне, среди стен, на которых развешаны пустые полки. Он приглашает ее садиться, попить чайку.

— Оля, — Виктор глядит мимо нее на входную дверь, — я виноват, наверное. Но ты должна выслушать. Я живу сейчас спокойно, и мне бы не хотелось что-нибудь менять. И потом, ведь столько времени прошло. Неужели нет никого, кто бы мог помочь тебе? Так не бывает. Да, я послал тебе ту телеграмму, но ведь вслед за ней я отправил другую. Ты не получила ее?!

Виктор сидел напротив, у окна, в углу.

— Оля, прости меня, если можешь. Я был пьян, я не просыхал тогда и сдуру послал ту, первую телеграмму. Зародил в тебе надежду, прости. Оля, я хочу жить так, как живу сейчас. Это меня устраивает. Я боюсь перемен. Ведь может быть хуже. В конце концов, я совсем не знаю тебя, какая ты стала? Как мы уживемся? Ты и прежде очень быстро менялась, а теперь изменилась до неузнаваемости с того последнего раза, как я тебя видел. Оля, всё это не то. За всем, что я говорю, стоит она. Это ее не устроит. Понимаешь, ну она такая, что же делать! Оля, ты только появилась. А она всегда была в моей жизни, она висит надо мной, как дамоклов меч. Я ни на минуту не могу забыть про нее. Я хочу забыть — и не могу. Как же мы будем жить, Оля? Притом я пьющий человек, разве я смогу быть ответственным за кого-то, когда я с собой не могу справиться.

— А она — какая?

— Она? Ну зачем тебе? Разве это важно? Ну, она такая — в норковом манто, красивая, Афанасия Никитина такая, ходящая за три моря. Вернее, теперь она на месте сидит, как паук, Афанасии же — на посылках у нее. У нее весь город в кармане, вот она какая!

— Ты ее боишься?

— Нет, Оля, что ты, я не боюсь. Тут другое. Мне спокойно рядом с ней. Я могу не думать о завтрашнем дне. А думать о важном. Вблизи от нее я удачлив, мне отвечают «да» в любом ведомстве — у нее везде свои люди. Ее знают. Я слишком привык к этому, Оля, опять пренебрежение, отказы... нет, я не вынесу. Я без нее как без рук. Это какая-то такая потребность, как будто мне год, или два, или того меньше, да, как будто я еще не родился, я в утробе, и мое дыхание, кровообращение, сама возможность жизни зависит от нее. Я не знаю, как она так смогла. Я завишу от нее, Оля. Но я не могу уже по-другому. И не хочу, вот в чем дело, Оля! Я не справлюсь, ты же видишь — какой я слизняк. Прости! Мне пора, время разводит нас, подводит меня к ней. Стрелки приближаются к шести, в шесть мы встречаемся, и если я не приду, худо будет.

Виктор поднялся и пошел к двери, обернувшись, сказал:

— А ты оставайся. Только, пожалуйста, никому не открывай, хорошо? Тут многие могут захотеть войти. Когда я не просыхал, бывшие — уголовники, музыканты, солдаты — входили сюда запросто. Ни-ко-му не открывай, поняла? Как будто тебя нет.

Ольга осталась одна не дома. Опустевшее жилище потеряло всякий смысл. Она была заперта в этом безжизненном пространстве до утра. Ольга принялась читать слова, напечатанные на корешках книг, устроенных в шкафу, истоки слов, текущих внутри, на страницах. Подошла к окну: вышедшие из домов люди ходили внизу попарно и поодиночке, а вверху, между крышами девятиэтажек, сияла образцово круглая луна, слуховое окно в стене небес.

Ольга выключила свет и легла; под нею, как в бараке на нарах, под слоями бетона, чередовавшегося с воздухом, лежали восемь, а то и шестнадцать человек. Потолок, вначале невидимый во тьме, вдруг осветился, фары проезжающих внизу по трассе машин заведовали движением света наверху. Ольга не мигая уставилась в потолок, на порхание желтого света, пока глаза у нее не стали слипаться. Среди ночи она в ужасе проснулась: огороженная чужими внутренними стенами, улитка в чужой оболочке — и хватилась себя. Для себя она слишком тяжелая ноша, которую ей не вынести, переложить на кого-то другого часть забот.

Ольга проснулась утром и, освещенная солнцем, вспомнила о лице, он скажет: «Какая некрасивая, зачем она мне, даже если много читает и может сыграть на фортепиано “Осеннюю песню”», она взяла себя в руки, чуть сдвинула черты лица, услышала звонок и задала вопрос.

— Я! — крикнули чужим мужским голосом. — Витька́ давай!

— Его нет.

— Не ври!

— Не вру.

В следующий раз Ольга не стала спрашивать, стояла и слушала, как звенит звонок, будто зовет на урок, голова у нее закружилась, ей показалось, что сегодняшнее утро — это утро поза-поза-поза-позавчера.

— Это я, Оля, открой.

Она повернула ключ и отпахнула дверь — вошел Виктор и, не взглянув на нее, направился в глубину.

— Мы пойдем с тобой в гости, мне тебя нечем кормить. А то ты с голоду тут подохнешь. А там нас накормят. Мы не одни будем, Андрей с женой тоже пойдут, их пригласили. А вечером...

— Я уеду?

Виктор посмотрел на нее, нарядную, и сказал:

— Ты можешь остаться до завтра. Только чтобы никто не знал, по- няла?

— А...

— Так надо. Слушай меня, Оля!

— Но ты приедешь? Ты обещал.

— Раз обещал, приеду. И хватит об этом, собирайся.

Внизу, на обледеленой земле, открытой всем ветрам, стало легче дышать. По пути к ним присоединились бородач с женой.

Ольга вошла последней и, уединившись в коридоре, сняла куртку, выскользнув из серо-ватной непригожей подстежки, которую спря- тала в подвернувшейся коробке из-под плазменного телевизора. Варвара, с которой познакомил ее Виктор, с виду была учительница, так же как Ольга — с виду ученица. Она позвала Ольгу, чтоб показать ей пятикомнатную жилплощадь, все комнаты по очереди. Ольга уви- дела зеркало посреди трехстворчатого шифоньера и пошла прямо к нему, Варвара, вставшая рядом, выжила Ольгино отражение из свое- го зеркала, Ольга поглядела сбоку: и увидела двух Варвар и ни одной Оли. Зеркальная Варвара подставляла шею рукам, наклоняла голову, вытягивала руку, чтобы надеть украшения.

— А ты не носишь? — поинтересовалась у отошедшей Ольги.

— У Оли аллергия на все металлы, даже драгоценные, — сказал про- ходящий в зеркале Виктор и остановился. — В особенности на всё, что содержит железо: на гвозди, на ремешок от часов с железной тычин- кой, на пряжку. Час соприкосновения с железом — и Оля покрывается красной сыпью.

— Не из железного века ребенок, — усмехнулась Варвара, повернув- шись к себе спиной. — А как насчет железных дорог?

Ольга не показала покрасневшего лица, уйдя за стену.

В ванной Варвара наказала ей вымыть руки, Ольга вымыла. Варвара сделала из нее помощницу, поручив накрывать на стол. Ольга прино- сила тарелки с едой, вилки, ножи, и как попало ставила, и раскладывала куда придется. Варвара пришла из кухни и, покачав головой, расставила, как требовал этикет, промолвив, что пора бы уж знать, что вилка — сле- ва, а нож — справа, не научили, видать, ничему. Она размышляла вслух:

— Как же мы сядем? Видимо, так: он с ней, он с ней, а я уж, как хозяйка, во главе стола. Да?

За ужином Виктор сказал между первым и вторым, что Ольга сего- дня уезжает, они должны успеть на вечерний поезд и потому... Вар- вара, выставившая на стол кое-что из запасов питья, прервала его на полуслове:

— Ей будет тяжело: ночь в дороге. Оставайся у меня до утра, Оля, поболтаем с тобой, побалагурим. А Витя пускай идет. Переночуешь в нашем городе, а утром я тебя посажу на поезд. Ну, как вам такая мысль?

Но Виктор покачал головой, и Ольга покачала: у него Ольгины вещи, надо идти за вещами, а утренний поезд очень рано, зачем такие сложности, нет, она поедет сегодня.

Пришел сын Варвары — ученик пожарного, принес горящий билет от имени директора училища на «Лебединое озеро». Варвара поглядела на время: балет начинался через час, к сожалению, она не могла не пойти: всю жизнь мечтала, следующие гастроли Большого в их сторонящемся искусства городе будут, наверное, лет через пятьдесят, Варвара не доживет. Нельзя себе отказывать в удовольствиях всякого рода, и нельзя будет сказать «не была» на завтрашний вопрос директора. Варвара позвала Ольгу за перегородку и спросила:

— Ну, как тебе? Что ты о нем думаешь?

— Я не знаю.

— Пора бы уж определиться. У человека разорванное в клочья сознание, а также существование, сшить воедино немногим под силу. Так-то, девочка! Может быть, только *она* способна. Может быть, только ей он и принадлежит и принадлежал всегда, с самого начала.

— Кто это *она*? Вы видели ее?

— Ее никто из нас не видел.

— Я видел, — сказал вышедший из ванной Андрей, отряхивая руки.

— У Андрюши был инфаркт, — сообщила приблизившаяся с другого конца квартиры жена бородача.

Все вернулись за стол, где в одиночку напивался Виктор. Варвара сказала:

— Ну что ж, мы с моим сыном пошли. А вы дождитесь меня. Если дождетесь — получите французское шампанское, я приберегла для такого случая. Если нет — что ж... Витя, ключ у тебя есть, запрешь квартиру.

Виктор и Ольга возвращались по вымершей улице, на середине ледяного пути Виктор свернул, сказал, что к *ней*, надо ее поприветствовать, пообещав, что войдя, тотчас выйдет. Дальше Ольга шла одна. Она не хотела думать, только двигаться — своим ходом или на чьих-то колесах. Чтоб снаружи всё менялось каждое мгновение, чтоб не заострять взгляд на том, что внутри. Ольга попыталась открыть дверь, за которой — всепоглощающая тьма, и не смогла, ключ не подходил.

Виктор думает, что она войдет. Ольга прислонилась к стене спиной, потом сползла по вертикальной тверди и присела на корточки. Ей показалось, что прошло много времени. Она услышала голоса, два голоса приблизились, поднимаясь, — из слов она уразумела, что это неприкаянные беспристанные влюбленные, вошли в открытые двери подъезда и поднимаются на самый верх, может быть на чердак. А Виктора всё нет. Ольга вдруг ясно поняла, что не дожидается его, пора валить на вокзал, если не хочет провести ночь под дверью.

Она услышала быстрые шаги на нижнем марше лестницы, шаги приближались, кто-то поднимался сюда, наверх. Конечно, не Виктор. Но это оказался он.

— Не сумела открыть! Так я и знал! Тебя кто-нибудь видел, Оля?

Ольга покачала головой, забыв про влюбленных, забравшихся под крышу. Она ходила, сторонясь его.

— Что с тобой, Оля? Почему ты не разговариваешь? Мы расстались полчаса назад, я сказал, что скоро приду, — и пришел. В чем дело? Чего ты дуешься, как мышь на крупу. Мы еще не живем вместе, а уже ссоримся. Что же будет дальше?

Ольга попыталась улыбнуться, но не смогла — губы закоченели.

— Я должен был пойти, понимаешь? Иначе бы она нагрянула. Ты понимаешь, что это значит? Я спровоцировал ее, позвал к себе, и она, само собой, отказалась, она всегда так. Всё делает наоборот, не как люди. Мне стыдно, что я ее так знаю. Если бы я не пошел и не позвал... Оля, да что с тобой?

Ольга ушла в ванную комнату, отогреться под горячей водой. Посмотрела: на полочке мыло, стакан с зубной щеткой, зубная щетка — одна, второй нигде нет. Ольга встала по колено в горячую воду, под струи льющегося кипятка — и смыла с себя этот налипший на нее день.

Утром она готовила какую-то странную еду из овсяной крупы, в которой завелась моль, Виктор дышал поблизости, говоря, что никто не слышит его, он вынужден сам себя слушать, даже музыка, выходящая из-под его пальцев, никому не нужна, один, всё один, так тяжело, даже *она* не хочет слушать, вначале слушала, а потом перестала, она не понимает ни слов его, ни нот. У нее свое на уме. Варвара готова слушать его днями напролет, но то Варвара!

Виктор, не притронувшись к еде, отправил ее за дешевым вином, на дорогое не хватит. Ольга прошла мимо распахнутой в незаселенную квартиру двери, там сидели солдаты, помахавшие ей, выскочила на мороз, пробежала вдоль бетонного забора, мимо зеленых ворот

со звездой посредине, перешла дорогу возле кинотеатра «Космос» и отправилась, миновав траншею, в переулок с кое-где сохранившимися избами. Ворота напротив колодца стояли, а забора слева и справа не было, Ольга толкнула ворота, они покачнулись, но не упали, отворились со скрипом, она вошла в свистящую пустоту, вдали — серые стены высотных домов с сотней глазниц. Дощатый тротуар привел ее к яме, совсем небольшой, над которой недавно возвышалась изба, хранившая жизни не одного поколения. Малолетний Витька бегал над этой ямой, катал по деревянным доскам зеленый грузовичок.

Ольга вышла в открытые ворота и заперла их за собой. Она принесла вино Виктору, который стал жадно пить, ругаясь, что вино дешевое и слабое, химия одна, бурда какая-то подкрашенная. Он пил и прислушивался, когда допил вторую бутылку, раздался звонок в дверь. Виктор прокрался к двери и остановился — дверь ему мешала.

— Витя, — произнес с той стороны мужской голос.

Виктор отпер дверь, вошел Андрей, сказал, улыбаясь из бороды:

— Можно ли к тебе?

Виктор провел его на кухню, усадил напротив Ольги, промямлил:

— Видишь, Оля всё еще здесь.

— Вот за этим я и пришел. Они послали — моя да Варвара, интересуются женщины, как там: уехала Ольга или нет. Что им сказать, Витя?

— Скажи правду, чего уж там.

— Варвара — та непременно просила позвонить, у тебя мобильник выключен.

— Я его потерял. Надоела. Скажи, Андрей, почему всех так волнует моя жизнь? Просто не могут остановиться в своем любопытстве, продолжения требуют, смотрели бы свои сериалы. Впрочем, Вараварато... Как-то, Оля, сидим: музыкант один, я и местный уркаган, я его еще пацаном знал, он всё по тюрьмам, а после вышел и сделал карьеру. Ну вот... Сидим пьем вот тут. У меня, как видишь, холод собачий, Варвара взялась окна оклеивать. А мат стоит такой — уж я, на что привычный, и то такого не слыхивал, а она — блюстительница русского языка, хоть бы что, клеит, напевает что-то, ни за что не уходит. Всё готова стерпеть. На всё готова. Оля говорит, что письма писала. Думаешь, получил хоть одно? Мама сжигала в печке, так решил. Но вот что: как-то прихожу к маме, она чай пьет, торт «Панчо» кушает, а такие тортики Варвара любит, потчевала меня не раз. Ну, думаю, подружись дамы! До чего хитра: уже к моей матери подкатывает. Матушка долго не сознавалась, потом — да, говорит, хаживает к ней Варвара, уж года два как, потчует ее конфетками да тортиками. Сладеньким.

Чтоб последние зубы выпали. Вот мама и говорит мне на днях: женись на Варе. Она же старая, говорю. Ну и что, отвечает, живут же люди. Может, пить перестанешь, за ум возьмешься. Просто смех сквозь слезы. Так что, думается мне, и к письмам Олиным Варвара руку приложила, одна рука правая мамина была, а левая — Варина. Вместе жгли, сама бы мама не додумалась, прежде ведь я получал Олины письма. Боятся, что уеду я, лишатся они, бедняжки, меня, такого хорошего сына и знатного кавалера. Вот так, Андрюша!

Раздался звонок в дверь, Виктор на цыпочках побежал слушать, вернулся и прошептал: «Мама!» — и палец приложил к губам. По прошествии времени Андрей отправился вояси, а Виктор проговорил:

— Сколько дней, Оля, ты здесь! Сколько дней, Оля, меня нет дома! Ты прислушиваешься ко мне, я прислушиваюсь к шумам за дверью. А она не идет. Я не иду, и она не приходит. Ей всё равно. Хоть бы я совсем пропал. Она этого и ждет. Не дождется. Я не сдамся. Я живучий.

Ольга сидела рядом и рассказывала сон:

— Там солдаты были. И Майор. И еще Петр, твой сосед. А ночевала я у тети. А вначале я так испугалась: кто их знает, этих солдат, и Майора, и даже Петра. И все они водку пили.

— А зачем ты к ним пошла, скажи? К пьяным солдатам? У тебя ум есть, Оля? Хоть какое-то соображение? Неужели тебя не научили, как можно поступать, как нельзя. Такой, как ты, я не видывал еще. Идиотка! Сидеть с пьяными солдатами. А Петр? Он тоже хорош. От него можно всего ждать, от пьяницы.

— Прости, я больше так не буду. Никогда. А там еще один человек был, отец девочек-близняшек, такой несчастный, у него жена умерла от рака. А когда я ехала к тебе, то боялась пропустить станцию, я ведь очень-очень давно тут была и всё забыла. Я так боялась приехать не туда и, кажется, не туда приехала или не тогда.

— Тогда, не тогда — какая разница. Ты совсем зарапортовалась, Оля. Будь сознательна. Я тебе про нее рассказываю, а ты про какие-то пустяки. Устал я, Оля. Пойду спать.

Вечером Виктор проснулся и поздоровался.

— Что ж я — весь день так проспал?

— Не весь.

— Андрей приходил или мне примерещилось?

— Приходил. Его прислали. Он спрашивал, что сказать, и ты сказал сказать да.

— Да?

— Что я здесь. Его жене и Варваре.

— Я так сказал?! Глупец. Теперь к Варваре дороги нет... не накормит. Ольга, глядя в окно, переполненное тьмой, спрашивала:

— Разве ты не хочешь быть, казаться лучше? Разве тебе всё равно, каким я вижу тебя? Ведь все люди стараются ухоразиваться, а ты — нет.

— Оля, устал я — казаться, искажаться. Хотя бы дома я могу быть собой, как думаешь?

— Давай больше не будем ни про что говорить.

— Давай. Но не мешало бы подкрепиться. Хе-хе, по-моему, это опять о Варваре. Я что-то говорил о ней? Не помню, я говорил, что у Варвары рак?

Ольга повернулась к нему.

— Правой груди нет. Отрезали. Теперь она — настоящая амазонка. Врачи сказали, чтоб сохранить оставшуюся себя, нужен... мужчина, такой как я, хотя бы раз в месяц. Взамен она меня кормит и поит. Оля, я думаю, ты понимаешь, о чем я...

Ольга прижалась лицом к луне за стеклом. Она внезапно окоченела и машинально накинула на плечи непригожую серо-ватную подстежку. Ольга подошла и села напротив Виктора и стала разглядывать его лицо: немолодое и обрюзгшее, непроницаемое лицо мужчины средних лет, который в свою очередь разглядывал ее лицо, что-то искал в ее чертах.

— Я, знаешь, ходила по «Детскому миру», покупала детские вещи, как все, как взрослые тетеньки. Все покупают — и я покупаю. Но я отношусь к себе с недоверием, так же, как они. Со смешком даже. Как будто я играю, покупаю вещи надуманному кому-то, я не верю собственным глазам. Раньше это мама делала, теперь — я. Конечно, ты его не знаешь, никогда не видел, он тебя не касается, это не твой сын. Но он мой брат. Если бы ты посмотрел на него хоть один разик! Он так хорош, правда! Похож на маму, как и я. Мы с ним очень похожи, только я — некрасива, я знаю, даже во всех этих праздничных шмотках, которые и не мои вовсе, я выпросила их в дорогу, после верну, а он очень красив, беловолосый такой, и очень-очень умненький. Он бы тебе понравился. Только меня пугает, что у него и привычки мои, откуда только он успел их набраться: например, он водит в воздухе рукой, очерчивая контуры невидимых для других предметов. А я хочу, чтобы он крепко стоял на ногах. Но одна разве я смогу его воспитать? Он так мало ест, еще меньше, чем я. Я не скажу тебе, как его зовут, чтоб он остался просто звуком, слетевшим с моих губ, а потом с твоих, я хочу, чтобы ты позвал его — и он обернулся. Так я это

вижу... папа. И, знаешь, я заметила, что у тебя нет второй зубной щетки в ванной. А это значит...

— Это ничего не значит, Оля. *Ей* не нужна зубная щетка, у *нее* все зубы золотые.

Раздался звонок, Виктор вскочил и бросился к двери.

— Виктор, Виктор, — позвали оттуда низко и протяжно, как из трубы. — Вик-тор!

Имя продолжилось тишиной, он замахал на Ольгу руками, боясь, что она нарушит тишину, через промежуток времени сказал:

— Ладно, ничего. Это мама опять. Ей тяжело сюда подниматься, так высоко. Но я не могу ей открыть, потому что ты здесь. Она думает, что ты уже далеко. Посиди одна. Схожу к ней.

Виктор ушел, и Ольга легла на лицо свое, напротив черного лакированного инструмента с надписью по-немецки Ronisch, ронишь, ронишь — и уронишь, и заснула.

Когда Виктор вернулся, она проснулась, но побоялась смотреть на него, теперь, когда она выговорила это слово, которым никогда не называла его, что он скажет? Он тоже на нее не смотрел.

— Оля, — он сказал, — Оля, это ничего не меняет. Я с самого начала знал, что не смогу. Да, ты уже большая, но тебе еще учиться и учиться. Тебя нужно поставить на ноги, а тут еще — чужой сын, пусть и твой брат. Посмотри на меня, разве я гожусь? Разве я похож на отца? Я старик уже, Оля, — прошептал он плаксиво. — У меня голова болит, все кости ноют. В конце концов, давление у меня. Да. Мне бы самому куда-нибудь спрятаться, во что-нибудь завернуться — и носа не казать наружу. Я никуда не годный человек, ты же видишь. Ты замучила меня. У меня инфаркт сейчас будет. Ложись спать, дочка.

Ольга двигалась от «Космоса», мигающего огнями неоновых созвездий, переходила пустынную ночную дорогу, она уже почти перешла на ту сторону по освещенному полосатому переходу, как вдруг услышала шаги откуда-то сбоку, кажется, эта женщина вылезла из траншеи. Она широко улыбнулась Ольге — блеснули золотые зубы. Ольга свернула в сторону, женщина заторопилась следом. Ольга прибавила шаг — и женщина заскользила скорее. Ольга оказалась посреди скользкого деревянного настила, перекинутого через траншею, женщина перепрыгнула через яму — и первой оказалась на той стороне. Она стояла, улыбаясь в тридцать три золотых зуба, широко раскинув руки. Ольга поскользнулась на льдистом настиле, она падала прямиком в объятия золотозубой особы. Ольга взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и та, наклоняясь всем корпусом,

впилась ей в запястье вставными зубами. Ольга заорала, выдернула руку и, оттолкнув женщину, соскочила с мостков и побежала по земле. И вон уже — дом Виктора и бабушки Анны, три окошка, строченые белые шторы задвинуты, они там уснули, что ли? Ольга заколотила в ворота, потом в крайнее окошко, она опять назвала его тем неприличным словом «папа». «Папа, папа, — повторяла она как заведенная, — пусти меня, папа». И вдруг Ольга видит в окне рассерженное лицо Виктора, а в другом — смеющееся лицо женщины с золотыми зубами, лицо со смазанными чертами, бесплотное, затверженное, — и оскал улыбки, полный золотых зубов.

Ольга проснулась, поднялась и посмотрела: Виктор неряшливо спал за стеной.

Утром она принялась будить его, вновь называя тем словом:

— Папа, папа, вставай! Утренний поезд очень рано, мы опоздаем. Ведь я уйду, папа. Ты проводишь меня?

Виктор не отзывался.

— Прошу тебя, папа. Скажи мне хотя бы два слова: до свидания, дочка. Скажи мне хоть что-нибудь!

Виктор молчал. Ольга поспешно собралась и подошла к окну: зимопись на прозрачных еще вчера страницах стекол.

Ольга еще раз подошла к неподвижному Виктору, замкнувшему рот, глаза, уши. Не было в нем ни дыхания, ни слова, ни движения — для нее. Как ни силился, он не мог встать.

Ольга спускалась, приближаясь с каждой ступенькой к земле. С трудом открыла дверь подъезда и ничего не узнала: отбеленная снегом зимняя земля, альбинос среди вёсен, лет, осеней. Ольга не стала оглядываться на свои отпечатанные в снегу следы. Впрочем, падающий с неба материализованный свет быстро занес их и запечатал.

В одиночестве она ехала в троллейбусе № 2, примерзая к сиденью, к поручню, к окну. Двери, обведенные опушкой снега, растворились — и Ольга, поскользнувшись, упала в снег.

Черный список уходящих с этой станции поездов, посередине — строка утреннего Ольгиного поезда, оказалось, она поторопилась: до отправления оставалось время. Ольга вошла в Зал ожидания, села, смиренно положив руку на подлокотник, напротив ждала поезда многодетная девушка-мать с младенцем, завернутым в байковое одеяльце, на руках. Вынув грудь, тотчас покрывшуюся гусиной кожей, девушка принялась кормить младенца, покачивая огромным, не по размеру, порыжевшим мужским ботинком со стоптанным каблуком. Она баюкала младенца, напевая «баю-баюшки-баю, не ложися

на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок», укрыв его от сквозняка полой драной болоньевой куртки. С двух сторон от нее, скрючившись на скамье, спали или, проснувшись, глядели на Ольгу пятеро одетых в неладное детей, старшему было не больше девяти.

Соседка Ольги по скамье, чья рука лежала на левом подлокотнике, говорила вполголоса, повернувшись к пассажирке, сидящей у них за спиной:

— Нарожала, сумасшедшая. И куда она с ними теперь? Что с ними будет? Этот-то маленький совсем, в последние времена родила. Не думают люди. Никакого размышления у людей нет. Лишь бы пособие получить да пропить, а дальше — хоть трава не расти. По миру ведь пойдут. Если уже не пошли.

Ей отвечали из-за Ольгиной спины:

— Грешила много. Отца-то дитейного не видать чего-то!

— Отца... Отцов, скажи лучше.

Как он там, без нее, испугалась вдруг Ольга. Оставила его на соседку, она хорошая, но если сестры нет так долго, что она скажет? И оставят ли ей его? Теперь. А вдруг отправят в детский дом? Она будет врать, что Виктор приедет за ними или к ним, она будет врать долго, столько, сколько нужно, до тех пор, пока ей не исполнится восемнадцать. Ничего, как-нибудь проживут. У них есть дача, это очень хорошо, весной она посадит всё, что нужно. Летом они переселятся на дачу, а квартиру будут сдавать. Так? Так.

В дверь Зала ожидания входил из основного здания вокзала молодой человек с бородкой клинышком, в драном джинсовом плаще, сквозь прорехи которого сквозила грудь в белой рубашке. Паренек подходил к сидящим и раздавал какие-то листовки, не отпечатанные на принтере, а писанные от руки. Когда раздал все, остановился между рядами ожидающих, за спиной у Ольги, и заговорил:

— Это хорошо, что мы такие теперь. Потому что теперь мыждемся. Мы почти готовы. Вот увидите! Много было ждавших, да мало дождавшихся. А мыждемся теперь. Время сжало наши головы пальцами, родничок зажил. Головы затвердели и годятся для старых идей.

Девушка-мать, оторвав лицо от младенца, внимательно вслушивалась, глядя на профиль парня, а младенец усердно чмокал.

— Мир, удлинившийся за счет человеков, взгляни на меня! — возвысил голос парень, кружа по Залу ожидания, так что полы плаща взлетали. — Я вестник, посланный вперед и прилетевший, чтобы разгрести снег, чтобы вы дождались прихода весны, чтобы посадить зерна, которые взойдут.

Два дежурных полицейских подошли к парню слева и справа и, взяв под руки, повели вон из вокзала, добродушно говоря, что есть специальные места, предназначенные для таких речей, церковь, например, цирк, стадион, ну или костел, синагога, мечеть. Туда иди, вестник в джинсовом плаще, там проповедуй. А здесь тебе не место. Тут ждут не Бога, а поезда. И время коротают за интернетом, ну или за телевизором.

Ольга, покинув Зал ожидания, стояла под сводами зала — вверху трубили в золотые горны пионеры — подле советской колонны в колосьях, закрыв лицо руками от того, что мучительно было внутри и снаружи.

— Кто тебя обидел, дочь? — спросили рядом.

Ольга торопливо отняла ладони от лица: почти касаясь ее, стоял подвыпивший юноша, похожий на не ко времени проснувшегося богатыря.

— Может, наподдать кому? Так я быстро навешаю, только скажи — кому?

— Нет, благодарю вас, — сказала церемонно Ольга и отшагнула от колонны, юноша качнулся к ней, но гулкий женский голос уже объявлял:

— Внимание, поезд номер двести один прибывает на шестой путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Пассажиры приглашаются на посадку, повторяю...

Ольга пришла в движение, соображая, где же это — шестой путь?

Алина Пулкова

Платформа Плющево

Аптечный пункт, в который мне повезло устроиться, находился на юго-востоке Москвы, недалеко от железнодорожной платформы Плющево. Ни диплома о высшем образовании, ни лицензии хозяин не потребовал — выходи и работай. Чем-то очень давнишним, сгнившим повеяло от такой манеры трудоустройства. Десять тысяч рублей в неделю, удобно добираться электричкой от «Электрозаводской», зеленый спальный район, у билетной кассы бездомная собачка, которую я с первого же дня стала прикармливать, — меня всё устраивало. По вторникам и субботам я подменяла Марину, единственную сотрудницу аптечного пункта. Бухгалтер и юрист работали удаленно. Марина сама отпускала товар, делала заявки на поставку и убиралась. Ранней весной я пришла ей на помощь.

Наш с Мариной начальник — Вячеслав Валерьевич, бывший люберецкий бандит с дипломом финансиста из подземного перехода. Когда-то он тягал железо и был мускулист, теперь же располнел и сделался неповоротлив. Его аптечный бизнес скис, и Вячеслав Валерьевич накопил долгов. Поэтому он познакомился в «Одноклассниках» с незамужней молодой женщиной, замутил отношения и теперь втюхивал своей жертве проваливающийся в банкротство аптечный пункт. «Очень успешный проект!» — беззастенчиво врал крупный мужчина с джипом «лендкрузер» на аватарке.

Марина давно жила в аптеке, хотя снимала жилье в Подмосковье и исправно платила арендную плату. У Марины просто-напросто не было сил по вечерам добираться до старой, печальной, с потемневшими обоями комнаты, которая немало перевидала мыкающихся провинциалов. Марина работала с Вячеславом Валерьевичем с двухтысячного года. В то время его аптеки находились у метро и приносили хорошую прибыль. Потом закон стал жестче, проверяющие отказывались брать взятки, и Вячеслава Валерьевича то и дело штрафовали за неправильное хранение лекарственных средств, отпуск без рецепта, про-

срочку, нарушение санитарных норм. Аптечный бизнес, такой легкий и бесшабашный в девяностых, когда коробками продавали фальсификат, сбывали спирт, втридорога продавали подгузники для взрослых, закончился. Пришли холодные профессионалы, создали сети, и Вячеславу Валерьевичу пришлось уползти вглубь Москвы, спрятаться во дворах от нового, слишком правильного, дотошного, как должностная инструкция, предпринимательского мира. Повезло тем, кто успел сбежать от Вячеслава с деньгами. Припозднившиеся уходили ни с чем. Осталась одна Марина, несчастная женщина из Ульяновска, чей паспорт и трудовая книжка находились в заложниках у Валерьевича и которые он не торопился ей отдавать. Более того, Вячеслав Валерьевич рассчитывал продать аптечный пункт вместе с Мариной, чтобы не возвращать ей долги по зарплате.

«Ты меня не жалея, — говорила мне Марина, — я уже привыкла. Как-нибудь протяну. Сама виновата — слишком честная. Нужно было, как заведующая, деньги из сейфа — и тикать. И в милицию подать заявление о краже паспорта. Валерьевич ментов боится. Сходи лучше собаку покорми, коль такая жалостливая. Она теперь от станции приходит и у аптеки ошивается. Укокошит ее хозяин!»

Я брала дешевые сосиски, которые покупала в ближайшем супермаркете, и, приманивая дворнягу, вводила ее к железной дороге. Сука недавно оценилась под платформой, поэтому была тощая и голодная, как волчица. Искала еду, где могла, чтобы из сосцов текло молоко. Щенята еще не выходили, и никому не было до них дела.

С обязанностями фармацевта я справлялась хорошо. Всего через пару недель самостоятельно отыскивала нужный препарат, знала, что хранится в холодильнике, а что — в подсобке, где — ампулы и растворы, а где — резиновые изделия, шприцы, ингаляторы. Сильнодействующие средства и список «А» лежали в сейфе, в крошечном кабинете со старым компьютером. С него я отправляла электронные заявки оптовым поставщикам. Я вполне заслужила доверие Вячеслава Валерьевича, и он наконец отпустил Марину на выходной. Марина мечтала помыться и постирать белье. Вечером она возвращалась. Сам хозяин покидал аптеку не позже шести, свистнув из кассы две-три тысячи рублей. Начинались самые напряженные часы. Заканчивался рабочий день, посетители выстраивались в очередь.

Нельзя назвать совсем благополучным микрорайон Москвы, прилегающий к железной дороге. Сброда, являвшегося в аптеку поживиться кто чем, было предостаточно. С утра первыми забегали мужчины с покрасневшими грустными глазами, старательно скры-

вающие запах перегара одеколоном или кофе. Чихали мне в окошко громко и звонко: «Аллергия, береза цветет, ты же понимаешь». Девки-наркоманки с опухшими кистями рук появлялись около одиннадцати. Одна стояла на стреме на крыльце, другая выпрашивала терпинкод. По закону я могла отпустить две упаковки кодеинсодержащего средства — и только по рецепту. В нашей аптеке закон не соблюдался, выручка решала всё. Я закрывала кассу на ключ, клала его в карман халата и шла в кладовку. В это время, несомненно, наркоманка обшаривала рукой всё, до чего могла дотянуться из окошечка. Однажды ей посчастливилось украсть у Марины утреннюю выручку! Получив терпинкод, девки тут же его сжирали и, притворно стыдясь, возвращали пустые пачки: «Дети увидят». Наркоманы — актеры второго сорта: играют человеческие эмоции плохо и по привычке, потому как давно их не испытывают. В одну из смен мне пришлось перевязать руку божжу. Он попросил самый дешевый трубчатый бинт, но я-то видела — дела плохи. Без перчаток, стараясь не прикасаться к гноящимся язвам, я наложила новую стерильную повязку и зафиксировала ее сеточкой. Бомж всыпал мне в ладонь грязные, перепачканные землей монеты и удалился. Я пулей бросилась к раковине.

В десять вечера я закрывала аптеку. С черного хода слышался скрип двери — это приходил Маринин любовник. Тихий семейный мужчина, с лысиной и животом, что-то разглядел в задерганной фармацевтше. Он проводил с Мариной ночь на надувном матрасе в опустевшей парикмахерской, которая до недавнего времени служила основным подсобным помещением аптеки. Валерьевич сдал просторную подсобку в аренду своей предыдущей пассии, взяв ренту за полгода. О, мы долго наблюдали эту интригу!

Энергичная пергидрольная блондинка чуть за пятьдесят отремонтировала арендованное помещение: выкрасила стены, натянула потолки, сменила разошедшиеся оконные рамы на стеклопакеты. Ей помогала дочь — хорошенькая, молоденькая выпускница колледжа. Возбужденные подготовительной деятельностью, они думать забыли о Валерьевиче, о его кабаньей подлости. Над черным ходом аптеки, который теперь преобразился в парадный вход, растянулась вывеска: «Парикмахерская “Светлана”. Мы открылись!» Накануне парикмахерша привезла красивые зеркала со сложными, выполненными из цветного стекла рамами. К каждому зеркалу идеально подходили белоснежная тумба и кожаное кресло. Обещались скидки в будние дни на стрижку и покраску волос для пенсионеров.

На следующий день после торжественного открытия парикмахерской произошла ссора между ее владелицей и Вячеславом Валерьевичем. Валерьевич внезапно задрал стоимость аренды в два раза и потребовал дополнительных денег. В противном случае он угрожал сменить замки, а зеркала и тумбы вывезти. «Зеркал! Зеркал тебе, скотина, захотелось!» — орала взбешенная парикмахерша. Она сорвала одно из них со стены так, что хрустнул отламываемый крепеж, и швырнула об пол. Грохот разбившегося тяжелого предмета заставил нас с Мариной, до того увлеченно слушавших ругань за стеной, вбежать через тесный коридор в парикмахерский зал.

Вдоль стен и по потолку скакали солнечные зайчики. На полу, ослепляя глаза, перемигивались освещенные солнцем осколки зеркала и кусочки разноцветного стекла. Угрюмый великан Валерьевич страшно возвышался среди этого сверкающего великолепия. Парикмахершу трясло от ярости. Две жирные полосы потекшей туши пересекали ее скулы, щеки и даже шею и черными кляксами заканчивались на декольте. Она не собиралась сдаваться без боя. Матерясь и разбрасывая вокруг себя полотенца и расчески, швыряя то в стену, то в Валерьевича дорогие косметические флаконы, она проклинала «бандита» и «свинью», грозилась отомстить. Тот стоял молча, сжав кулаки. Наоравшись, парикмахерша выбежала вон. Вячеслав Валерьевич последовал за ней, кинув через плечо: «Ничего не убирать!»

И вот здесь, в бывшей парикмахерской, после погрома сметя осколки к стене, расстелила надувной матрас Марина. Она накрыла его полосатой простыней и синтетическим пледом. На матрасе Марина и ее любовник тайно ото всех совершали короткое усталое соитие и забывались сном. В окно ночью бил свет фонаря, и на полу вдоль стены сверкали безразличные к происходящему куски разбитых зеркал.

Пролетела весна. Тянулось жаркое, бестолковое московское лето. В сотый раз перекаладываемый асфальт мягко дымился, окукивал двоики между панельными пятиэтажками. Со стороны Выхина приближалась гроза. Как всегда, я возвращалась домой, торопясь к электричке. Навстречу мне из-под железнодорожной платформы вылезли два подростовших щенка. Бездомная мать родила их здесь, когда еще лежал снег, и им удалось выжить. Я сдружилась с собачьим семейством. Суке я дала кличку Найда, совершенно распространенную для тех мест, откуда я родом. Щенята покусывали мои пальцы, когда я гладила их, а Найда радовалась, виляя хвостом. Едкий запах псины пропитывал мои ладони. С большим аппетитом собаки съедали дешевые сосиски.

Так-то они побирались по помойкам. Еще дворники-таджики могли кормить. Щенятки мои, щеняточки! Плохо кончают беспризорники.

Плавно подходила вечерняя электричка. Время позднее, но еще не вылезли мрачные типы с дурными намерениями. Оставив позади Выхино и нависающую грозу, электропоезд катился в центр, к Казанскому вокзалу. Моя остановка «Электророзаводская», и я еще буду бродить по летним переулкам, пока страх перед выпрыгивающими из-за гаражей гостями столицы не погонит меня домой.

Последний мой рабочий день начался с неприятности. У Вячеслава Валерьевича попала в больницу маменька. Что-то с сердцем. С раннего утра он и Марина выбирали для старушки лекарства. Валерьевич отвлекся на минуту, чтобы выдать мне расчет. Нельзя сказать, чтобы Валерьевич был совсем дрянным боссом: каждую неделю я получала свои деньги. Валерьевич любил вести со мной разговоры «за жизнь». Он чувал, когда люди ему врут. Мне приходилось проявлять чудеса интуиции, чтобы избегать спорных тем. Валерьевич уважал чистоту. Ему нравилось, когда я надраивала полки в холодильнике или стекла витрин. А вот за обнаруженный на рабочем месте учебник Валерьевич как-то раз меня сильно отчитал: «Учиться будешь не за мои деньги», — и заставил вымыть пол. Я засуетилась и споткнулась о ведро, разлив широкую грязную лужу. Быстро-быстро я стала промакивать воду тряпкой и отжимать ее в ведро, наполняя аптеку переливчатыми звуками. Босс был тронут моей покорностью и даже пристыжен, потому что вдруг признался, что диплом о высшем образовании он купил, а «не помешало бы полистать книжку-другую».

Когда коробка с лекарствами была собрана, Валерьевич подозревал Марину, схватил ее за борта халата своими огромными кулаками, притянул и прошипел в лицо: «Чтобы за два дня с аптекой ничего не случилось. Отвечаешь головой». Со мной он не попрощался. Как только машина хозяина скрылась за углом, Марина убежала курить. Последние дни она волновалась больше обычного. Сделка по продаже аптечного пункта почти состоялась, оформлялись документы. Будущее сулило Марине долгожданное освобождение, но вернет ли Валерьевич трудовую, заплатит ли деньги? Марина перестала спать и ходила с зеленым лицом.

Вечером Марина попросила меня задержаться в аптеке до одиннадцати, любовник пригласил ее в кафе на «романтический ужин». Завтра Валерьевича не будет, и она сможет отоспаться и открыть аптеку позже. Я согласилась и отпустила напарницу.

Сдав выручку, не стала сидеть в аптеке, а пошла в магазин, решив напоследок побаловать щенят колбасой. От магазина я повернула направо, к железной дороге. Темнело рано, хотя ночи были еще теплыми. Во дворах сумерки разгоняли новенькие фонари с белыми лампами, железнодорожная платформа щедро поливалась фотонами с осветительных мачт. Единственным местом, куда могла спрятаться перепуганная электричеством ночь, была ниша под платформой. Там же обитало собачье семейство. Я насторожилась: до моего слуха не доносилась привычная возня щенят. Проникнув внутрь ниши, я увидела то, что никогда бы не хотела увидеть. В ямке, служившей спальным местом суке и щенкам, стояла лужица крови, а рядом лежала Найда с разможенной мордой. Она дышала со свистом, тяжело и невыносимо жалко. Щенята светились двумя парами глаз из темноты. Я на время потеряла контроль над собой: заколотилось сердце, руки затряслись, пропала речь.

Я гладила собаку по спине, ища в себе силы успокоиться. Я даже не подумала, что она могла укусить. С трудом подавив панику, я принялась осматривать собачью голову. Кости верхней челюсти были раздроблены, правый глаз заплыл или отсутствовал. Между глазом и челюстью я разглядела круглое глубокое отверстие, как от пули. От моего неловкого движения Найда заскулила, потом принялась хрипеть. Кровь ручейком стекала с морды. «Подожди, подожди, скоро пройдет», — успокаивала я собаку. Вряд ли сука выживет. Умрет, мучаясь и теряя кровь.

Я побежала в аптеку. На этажерке в подсобке отыскала ампулы с бензилпенициллином и физраствором. Подумав, захватила по упаковке ампул димедрола и анальгина. Что еще? Я остановилась в проеме двери, несколько раз промахнувшись по выключателю. В тишине гудела, а потом сбрасывала затянущийся монотонный звук писклявой каплей люминесцентная лампа. Я считала капли: раз-два-три. На полке у самого выхода стопкой лежали картонные пачки с синей полосой. Досчитав до десяти, я сняла верхнюю пачку.

У платформы кругом — ни души, касса закрылась. Я перетянула жгутом переднюю лапу собаки. Мне приходилось наблюдать, как папа делал уколы лайкам, заболевшим чумкой. Он единственный в таежном поселке брался их лечить. Молодой специалист, самоуверенный. Внутривенные инъекции я делала на практике в училище. Последовательно вскрыв пять ампул, я набрала лидокаин в десятикубовый шприц. Сука не двигалась, только хрипела. Шерсть мешала, пальцы давили наугад. Вроде бы вена. «Ну же, коли, не тяни!» — подбодрила

я себя. Игла с хрустом вошла под кожу. Найда чуть не сорвалась с места, но я заранее прижала ей шею ступней. «Тише, девочка, больно не будет». — Я аккуратно потянула поршень шприца на себя. Показалась темная кровь. Попала. Я ослабила нажим на шею, сука притихла. Я не хотела, но посмотрела в ее оставшийся глаз. Черный зрачок и густые ресницы. Кроме страха и боли — ничего. «Прости меня, бездушное существо, постарайся уйти быстро и тихо. Так надо». — И я спустила прозрачную жидкость в собачью вену. Лидокаин сработал: ребра пару раз поднялись и опустились навсегда.

Завтра тело обнаружат дворники. Если не завтра, то мертвая псина всё равно даст о себе знать. Хорошо, что меня здесь уже не будет. Я подобрала жгут, пустые ампулы, шприцы и ушла. Мне в спину, как назло, завыли щенки.

Незадолго до полуночи в аптеку ввалилась пьяная Марина. Она скреблась в дверь, не в состоянии попасть ключом в замок. Я открыла ей. «А, так ты тут!» Марина как будто забыла, что просила меня остаться.

В руке Марина держала потрепанные пестрые гвоздики. «Представляешь, он больше не может врать жене. Она чем-то больна, и он принял решение». Марина расплакалась и ушла в парикмахерскую. Там грохнулась на диван. «Марина, я пойду. Электричек больше нет, и метро скоро закроют. Еще собака эта беспризорная, у станции, ну... как...»

Марина направила на меня пьяные, сильно перекрашенные глаза. «Тут люди хуже собак твоих живут: без дома и без любви. Ни одна тварь руку помощи не протянет».

Я отвернулась. Маринино лицо, казалось, уплывало вместе с макияжем, плотным и искусственным, как маска. Ничего, кроме одиночества, под маской не было.

«Давай я заберу».

Я показала на гвоздики, зажатые у Марины в кулаке. Марина швырнула их мне, словно только и мечтала от них избавиться. Я заново собрала их в жалкий букет. Пока не увянут, пестрые гвоздики будут разделять со мной собачий траур. Лучших цветов, чем цветы расставания, для этой цели мне никогда не найти.

Дмитрий Былецкий

Числа

триптих

Семнадцатый

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте без витрин, без всяких радостей и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом... Нет-нет, совсем не так. Не мог я так ни сказать, ни подумать. Да и какой, к черту, трамвай. Слишком холодно, шумно и как-то... прямолинейно, что ли. Не мое, в общем, не мое. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы действительно вереницей снаружи проносились мимо и галантерейная, и булочная, и трактир, и фруктовая лавка, и аптека, и москательная. А не эти бесконечные салоны, бары, продукты-24... В тех именах смысла больше, что ли, было... Непонятно... И странно.

— П-подождите... — настороженно всмотрелся я в сумрак за окном. — А это разве не се-семнадцатый троллейбус? — и повернулся к кондуктору. — Он же на Г-гороховую должен?...

Кондуктор — низкая, слегка комковатая, в складках растянутой баклажановой кофты — подняла усталый, как пятничное утро, взгляд, уронила голову набок, вздохнула звучно, чуть дернув верхней, припорошенной седыми волосками губой, и очень тяжело, с нескрываемой победившей ленью и раздражением практически выплонула в сторону кабины водителя:

— Галя!

Галины покрасневшие глаза и пепельные локоны высветились в зеркале заднего вида.

— Объяви, а.

Динамик кашлянул где-то над ухом, астматически просипел и выдал, словно умирая, на одной ноте, без модуляций и стараний:

— Следуем по пятнадцатому маршруту. По пятнадцатому маршруту следуем.

— Спасибо, — зачем-то куда-то и кому-то вверх ответил я, встал и, дождавшись остановки, как-то чересчур облегченно вышел-вывалился в сереющий вечер, разбавляемый крупным непервым снегом, как хлопьями прокисшего молока.

Стоял посреди улицы и прижимал к себе чемодан. Точнее, портфель. Конечно, портфель. Очень заботливо к себе его прижимал, словно в нем были не то складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлюлоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, а не то кубанская, полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь... Нет-нет-нет, совсем не то. Может, и пуст он вовсе, чемоданчик мой. Пустой, а словно тяжелый. Но не тянет. Своя же ноша.

Итак, можно было бы немного вернуться назад, выйти на Гороховую и подождать семнадцатый, но возвращаться — именно идти назад — совершенно не хотелось. Пойду прямо и сверну налево. Да, отличный сценарий. Многообещающий. Снег опять-таки тает, еще виден немного тот самый тюлений лоск асфальта. Бабочек, жалко, нет. Но чем снежинки не бабочки? Конечно, всем. И глазок нет, и черноты с изумрудной искрой, и лазури. Хотя как посмотреть, конечно. Можно так, а можно — так.

Я посмотрел налево — переулок. Пошел по нему. Отчего бы и не пойти — хороший переулок, короткий, и сквер есть с посмертным памятником бессмертному азиатскому поэту, и школа следом, и детский сад, и околплодной Фонтанкой всё заканчивается.

Шел, широко разевая рот и ловя языком снежинки. Смотрел прямо и вверх, по-над.

— Андрей! — откуда-то из-за спины.

Я не остановился и не обернулся — не Андрей я. Совсем даже не Андрей и никогда им не был.

— Андрюша! — слышу снова, откуда-то сзади, чуть сверху.

Шаг чуть замедлил, но не остановился — всё равно не Андрей же!

— Андрюшенька! Милый... — где-то на уровне сердца, но со стороны спины (как при инфарктах бывает — вроде бы сердце должно болеть, а всё где-то под лопаткой отдается).

Обернулся: метрах в двух от меня дверь в парадную распахнута, на сквозняке, в проеме — пожилая женщина в голубом халате на мол-

нии, поверх которого накинута ватная безрукавка, вокруг пояса — серая и лохматая шаль, на голых ногах — синие резиновые тапки в мелкую дырочку. Лицо доброе очень и какое-то сияющее. Глаза — чуть навывкате, хрустальные — узнаваемо смотрят, не моргают, немного улыбаются и иногда прищуриваются от взволнованных непредсказуемым питерским ветром волос — нежно-каштановых, кудрявых, как после химии.

— Андрюшенька! — И она сложила руки на груди, я остановился; она продолжила, робко улыбнувшись: — Ты шапку забыл.

А шапки и правда не было. Не люблю шапки совсем, не ношу их. Капюшоном спасаюсь, если уж совсем невмоготу.

— Куда ж ты без шапки-то? — И она снова обезоруживающе и заботливо-осуждающе улыбнулась. — Ой, господи, и шарфа нет! — и всплеснула руками.

А шарфа и правда не было. Вообще он есть у меня, но сегодня не было — ничего не предвещало.

— Андрюша, ох, Андрюша непутевый! — закачала головой.

— Я, пэ-простите, я как бы не совсем...

— Застынешь же! Ей-богу, застынешь! Иди же в дом, скорей давай. Иди! — И она протянула мне руку — чуть полную, такую, как обычно у мамы, — белую, в тонкую складочку на запястье и шершавую в локте. Рука оканчивалась гостеприимной пухлой ладонью в глубоких пересекающихся линиях судьбы и жизни с раскрытым цветком пальцев.

— Ну же, пойдём — холодно, — повторила женщина и чуть поежилась.

Немного помедлив, я сделал пару шагов и зачем-то протянул ей руку. Крепко сжав мои холодные пальцы, она ловко втянула меня внутрь парадной и быстро уволокла в квартиру на первом этаже — левую на лестничной клетке.

В квартире было тепло. Даже слишком, как-то по-стариковски тепло — когда каждой косточке, просвечивающей сквозь кожный пергамент, нужен определенный климат, создаваемый законопаченными окнами и отсутствием сквозняков. Но приятно пахло жареными пирожками.

— Миленький мой, — заговорила женщина, снимая один о другой тапочки, — совсем озяб. Давай-ка быстро чайку попьём, согреешься. Давай, Андрюшенька. — И она проворно побежала куда-то внутрь квартиры.

Я послушно разулся и пошел за ней.

Квартира была совершенно мне незнакома. Из прихожей был заметен кусок жилой комнаты — огромный, во всю стену шкаф, забитый книгами и журналами. Часть из них стояла в стопках на полу. В комнату я не пошел, а свернул сразу за хозяйкой в кухню.

В кухне была чуть приоткрыта форточка, но прохладней не становилось. На маленьком круглом столе, прикрытом пожелтевшей, но чистой скатертью, стояло блюдо с пирожками, хрустальная сахарница с кусками рафинада, графин с водой посередине, пустая салфетница.

— Сейчас, мой хороший, сейчас, — радостно бормотала женщина. — Чай как раз горячий, только вот согрелся, когда тебя увидела. Сейчас-сейчас. Да ты садись! Что ты как не родной, садись.

Я сел на табурет справа от стола, сложил руки на коленях.

— Вот, сейчас. — Она разлила заварку, разбавила ее кипятком из эмалированного чайника, стоявшего на газовой плите. — Могу чабреца бросить. Или мяты? Или листьев клубники, хочешь?

— Да я на самом деле...

— Ладно, и правда, что я! — Она хлопнула себя по бедрам, круто повернулась и поставила на стол чашки с чаем. — На, родной мой, пей. Пей, пока горячий. Сейчас еще лимон дам — чтоб не заболеть.

Она как-то ловко дотянулась до холодильника и выудила оттуда крохотное блюдце с полукольцами лимона.

— Вот, на. Пей! — почти торжественно объявила женщина.

Я наконец-то рассмотрел ее: круглое, улыбающееся, но уставшее лицо с глубокими бороздами морщин, бескровные губы, сложенные в постоянно сомкнутую улыбку, стыдливо прикрывающую полупустой рот, почти белесые тускнеющие глаза. Она была стара. Но в то же время от нее веяло такой неопишуемой и непередаваемой жаждой молодости и жизни, что, казалось, закрой глаза и дотянись до лица — и ты почувствуешь под пальцами упругую полнокровную ткань, тугую улыбку, широко раскрытые хитрые глаза.

Непроизвольно улыбнулся ей. И сказал:

— С-спасибо.

— Не за что, милый мой, не за что. — Она тут же как-то вся обмякла, словно подтаяла, и заулыбалась во всё лицо.

Молча я положил себе три кусочка сахара, размешал (ложечка была на блюдце с чашкой чая) и сделал неприменный срочный первый глоток.

— Ну, бери пирожок, не стесняйся. С картошкой.

Я взял пирожок — он был еще теплым — и надкусил. Прожевал. Очень вкусно. Откусил еще. Улыбнулся набитым ртом, сел чуть рас-

слабленнее и, сделав еще глоток, с нескрываемым удовольствием доел стряпню.

— Бери еще, бери, — не унималась женщина.

Я взял. И ел.

— Андрюш, — начала она после недолгой паузы.

Я замер.

— Андрюш... Что ж ты так редко заходишь...

Я проглотил кусок, прокашлялся. Мне стало очень и очень неловко.

— Простите, — неуверенно начал я. — Понимаете, я... ка-как бы вам сказать... Видите ли...

— Андрюша, да я всё понимаю! Правда! — Она извиняюще замахала руками. — Я понимаю! Учебы много, задают много. Но ты же можешь, как сегодня, после школы ко мне заскочить... Я же тебя всегда жду. Я вот и сегодня знала, что ты придешь.

— Но я... — попытался слотнуть слюну, не смог, выпил чаю. — Я же не Андре...

— Миленький мой, маленький мой, я знаю — друзья там, учеба, л юбови всякие и погулять охота, но хоть иногда, хоть вечерами, хоть на чуть-чуть — забеги, порадуй старуху. Мне еще столько всего нужно тебе рассказать! Ты видел там, в комнате, книг сколько? Вот мы с тобой и трети еще не осилили! А мне жить-то — свечку задуть. Успевать тебе надо, потому как, кроме меня, кто тебя еще уму-разуму научит? — И она негромко, немного стесняясь, засмеялась.

В дверь постучали.

— Ой, кто ж там, господи! — Женщина вскочила и бросилась к двери. Я тоже встал.

— Верочка, привет, милая! Заходи, заходи! У меня как раз Андрюша в гостях. Заходи.

В прихожей закашляли. Что-то стукнуло, пару раз шлепнуло, и в кухню, чуть переваливаясь с ноги на ногу, как утка, вошла сухая пожилая женщина с широкой черной сумкой через плечо. Она недовольно осмотрела меня.

— Вы кто?

— Я? Д-да собственно... Андре.. В смысле, н-нет, я здесь случайно... Понимаете, я шел. Ну, по своим де-делам. А она, — и посмотрел в прихожую, — она меня окликнула...

— Ты Андрей?

— Нет.

— А чё ж откликнулся?

— Не знаю. Она очень з-звала.

Женщина вдруг как-то резко изменилась в лице, тяжело выдохнула и села на место хозяйки квартиры.

— Мария Константиновна, — обратилась она в прихожую.

Хозяйка тут же появилась в проеме.

— Мария Константиновна, я тебе пенсию принесла. Пока выписывать буду, ты мне, будь ласка, книжку какую-нибудь подбери или пару — на месяц. — Мария Константиновна исчезла. — Да что-нибудь поинтереснее, а то дала мне в прошлый раз — про алкаша какого-то в электричке да про бабочника престарелого.

Из комнаты послышались звуки перестановки книг и шуршание страниц.

— Молодой человек... — почтальон обратилась ко мне. — Тут вот какое дело: Маша, она же Мария Константиновна, учитель русского и литературы. В школе вот этой же, в переулке, пятьдесят лет отработала. Работала бы и дальше, да здоровье не позволило. А она без детей, без учебы, без заботы жизни и не представляет. Как стала одна жить, так немного и... А тут еще и сын ее...

— У-умер, что ли? — ляпнул я.

— Типун тебе! — перекрестилась почтальон. — Вырос давно. Возраста твоего, наверное. Лет тридцать — тридцать пять ему. В другом городе живет. Если раз в пару лет бывает, и то хорошо.

— Андрей?

— Что Андрей?

— Сын.

— А! Да. Вроде. Черт его уже знает. У нее всех детей теперь Андреевыми зовут.

Мы оба вздохнули.

— И что, она не понимает, что ли, что я — не-не Андрей? — удивился я. — Что все вот эти вот де-ети, которых она к себе водит, н-не Андрееи? На сумасшедшую вроде и не па-пахожа.

— Да кто ж тебе сказал, что она сумасшедшая?!

В комнате что-то упало.

— Всё в порядке! — отозвалось следом.

— Не больная она, нет. Совсем не больная, — негромко проговорила почтальон. — Может, это мы просто чего-то не понимаем.

Мы оба снова вздохнули.

— Пойду тогда.

Почтальон кивнула.

Я встал, быстро прошел в прихожую, обулся, накиннул куртку, открыл дверь и...

— Андрей, ты уже уходишь? — Мария Константиновна стояла позади меня с томиком Пушкина.

— Я... Эх... Я, Мария Константиновна, как бы...

— Держи, дурачок, это тебе, — оборвала Мария Константиновна, улыбнулась и протянула мне темно-коричневый сборник стихов. — Будешь мимо проходить, заходи в гости.

Я глупо улыбнулся, помялся, взял томик, спрятал в портфель и, не попрощавшись, вышел на улицу. У окна кухни, обдуваемый снежным маревом сразу со всех сторон, остановился. Мария Константиновна стояла у окна на цыпочках и выглядывала в форточку:

— Шапку надевай, бестолочь.

Я помахал ей и быстрым шагом направился к проспекту. Спустившись по нему к Гороховой, вывернул к остановке, от которой только-только стал отходить троллейбус. Замахал руками — и троллейбус остановился. Страхивая снег с волос, я вошел в почти пустой салон, кивнув водителю, сел у окна и прижал к самому сердцу свой чемоданчик.

— Простите, — обратился к кондуктору, высокой, широкой и плотной, как подарочное издание Библии, женщине в зеленом берете, — а это семнадцатый?

— Господи, ну написано же — в парк!

Сороковой

Троллейбус безынициативно, но упрямо волочился по Загородному. Вздрагивал и дрожал на остановках, впрыскивал желтый свет фар в оседающий, как пыль, клубящийся снежный сумрак. Салон был полупустой, обшарпанный, липкий и несвежий.

Сразу напротив центральной двери сидел человек, молодой ровно настолько, что мужчиной его назвать еще нельзя, но и перепутать с юношей совершенно невозможно. Сидел, положив на колени портфель, который в то же самое время мог бы быть и небольшим чемоданчиком. Сидел и читал электронную книгу, зажатую в руках, покоящихся поверх портфеля.

— П-подождите... — неожиданно очнулся человек, бросив беглый взгляд за окно. — А это разве не се-семнадцатый троллейбус? — и повернулся к кондуктору. — Он же на Г-гороховую должен?..

Кондуктор, низкая, слегка комковатая, в складках растянутой баклажановой кофты, подняла усталый, как пятничное утро, взгляд,

уронила голову набок, вздохнула звучно, чуть дернув верхней, припорошенной седыми волосками губой, и очень тяжело, с нескрываемой победившей ленью и раздражением практически выплюнула в сторону кабины водителя:

— Галя!

Галины покрасневшие глаза высветились в зеркале заднего вида.

— Объяви, а.

Динамик кашлянул где-то над ухом, астматически просипел и выдавил, словно умирая, на одной ноте, без модуляций и стараний: «Следуем по пятнадцатому маршруту. По пятнадцатому маршруту следуем».

— Спасибо, — как-то чересчур воодушевленно ответил человек, убрал книгу в портфель, встал, дождался остановки и вышел в пепельную хмарь вечера.

Кондуктор проводила человека взглядом, хмыкнула, вполголоса проговорила: «Бестолочь», поправила истончившуюся, с редкой бахромой подушку на сиденье и, тряхнув облезлой дерматиновой мошной, болтавшейся на шее, стала пересчитывать мелочь.

Кондуктора звали Феврония. Феврония Никитична Хаустова. По крайней мере, так было написано на бледно-желтой карточке с ее выцветшей фотографией, прикрепленной на кабине водителя. Феврония, или Хроня, как называли ее коллеги, чаще одинокие, рыжеволосые или обесцвеченные женщины с густыми фиолетовыми тенями, тяжелыми кофтами крупной вязки, ободравшимся маникюром и черными пальцами, пахнущими медью, — так вот, Хроня не любила эту фотографию, но другой не имела: паспорт давно был обменен в связи с достижением соответствующего возраста, а для иных целей фото ни разу не потребовалось, поэтому из-под (или, если приглядеться, по-над) мутного затертого стекла, заляпанного неуклюжими пассажирами, на каждодневность мирно взирала, чуть улыбаясь, сорокапятилетняя, тогда еще голубоглазая и с мраморным отливом кожи женщина. Если бы фотография была в полный рост, можно было бы легко разглядеть тогдашнюю ее мощь: узкие щиколотки и высокие тугие икры; резкие и ровные, как яйцо, бедра; талия — какая-никакая, но есть и заметно уже плеч; живот, как у большинства женщин ее возраста, — немного навывкате, таким пологим склоном, но невывалившийся; грудь, которой она всегда гордилась; плечи — почти широкие — пловчихи; длинная сильная шея. Если бы она была одета в закрытый купальник, то ее смело можно было бы водружать на пьедестал с веслом наперевес и ставить посреди какого-нибудь парка культуры и отдыха, такая в ней была

тогда грация, стать и сила. На фото же ее тело плотно прикрывал свитер баклажанного цвета с высоким горлом, подаренный мужем на 8 Марта. В этом же свитере она была и сейчас — выцветшем, полинявшем, растянутом в рукавах, заштопанном на локтях. И сама она уже была не такой нарядной и праздничной, как на этом ненавистном ей фото: руки ее обмякли и обвисли в плечах, живот заметно округлился и совершенно не втягивался, ноги покрылись узелками и голубыми каналами вен, колени чертовски болели и мешали ходить. Из прошлого остался только взгляд — мутнеющий, усталый, теперь печальный, но почти тот.

Именно этим взглядом она встречала и провожала своих попутчиков, осматривала салон в поисках забытых вещей и просыпанной мелочи, смотрела на выученные наизусть пейзажи. Этим же взглядом изучала на просвет крупные купюры, отсчитывала сдачу, наблюдала за пьяными и сомнительными личностями. С этим же взглядом и с воображаемым веслом, оброненным еще где-то в пионерской юности, выгоняла из троллейбуса зайцев и осаживала особо возбужденных пассажиров. Именно с этим взглядом вот уже седьмой год она вставала поздним утром или ранней ночью, ехала служебным транспортом на работу и затем каталась до полуночи или до обеда по кольцу, которое, безусловно, всегда и каждый день больше походило на петлю. Можно было, конечно, при выходе из того же служебного автобуса обойти его спереди, а не сзади, можно было бы заступить за ограничительную линию в метро, можно было бы просто оступить, не посмотреть, не проверить, включить и уронить, лечь, намылиться и заснуть, многое можно было бы, но каждый раз она выбирала стены своего дома с тяжелыми шторами на окнах, конечно же скрипучей дверью и застревающим замком, с полумраком в прихожей и с рыжим креслом, опаршивевшим поролоном, в котором всегда, во сколько бы она ни приходила, сидел муж в войлочных тапочках, синих рейтузах с «тормозами» и заплатками на коленях и клетчатой рубашке поверх белой майки...

— Один, будьте добры, — обратился к Хроне вновь вошедший пассажир — высокий, какой-то узкий, в кофейном плаще не по размеру с поднятым воротником, в очках с толстыми линзами.

Хроня взяла сторублевую купюру, спрятала куда-то внутрь сумки, отсчитала из переднего кармана шестьдесят рублей, оторвала с катушки билет и вложила всё это в раскрытую ладонь пассажира. Плащ ссыпал всё в карман, отвернулся, отошел чуть назад к свободному сиденью, остановился, повернулся и улыбнулся во весь рот.

— Счастливым, — проговорил он радостно.

Хроня улыбнулась ему в ответ. Пассажиры сел. Хроня, чуть привстав, осмотрела салон — новых пассажиров не было: ехали только кофейный плащ, старушка в платке и с тележкой, какой-то нерусский и парочка на задней площадке. Хроня села обратно.

Несмотря на ежедневную галерею лиц и эмоций, Хавронии/Февронии нравилось наблюдать и изучать людей, поэтому часы пик она любила. К тому же поток делал ей план, а всё, что было сверх, шло в квартальную премию или, как сказали бы современные менеджеры, осваивалось на месте благодаря сердобольным пассажирам, возвращавшим на выходе билет, который с легкостью продавался повторно.

Ей нравились худые и толстые, высокие и совсем низкие, семейные пары, держащиеся чуть холодно и демонстративно отстраненно, и молодые, только влюбленные, не размыкающие рук, прижимающиеся и без стеснения смеющиеся, ей нравились дети — и молчаливые, насупившиеся, со скрещенными на груди ручками и надутыми губами, и беспрерывно хохочущие и хватающиеся за поручни, родителей и других пассажиров, ей нравились и взрослые дети — прыщавые и нескладные подростки с одинаковыми прическами и дорогими телефонами, и чуть более серьезные студенты с толстыми тетрадами и магическими символами в них, и совершенно неопределенной принадлежности и рода занятий молодежь — в спортивных шапках, заломленных на затылок, с жестяными банками и откровенными разговорами. Нравились ей и пьяницы — веселые и сумасбродные, агрессивные и меланхоличные, услужливые и щедрые, про любого из них можно было бы написать пьесу, по жизни любого из них можно поставить драму. Нравились старики и старухи — горбатые, скрюченные, медлительные, в платках, косынках, меховых шапках, с бледными глазами, потонувшими в морщинах, с сумками, тележками, пакетами, коробками и даже авоськами, с палками и тростями, в ватниках, пальто, шубах, засаленных пуховиках, в валенках, сапогах и ботинках; нравилось их недовольство, их усталость, их настойчивость и неповоротливость, их вечные советы и нравоучения, шпыняния и наставления, их жалобы и опыт и особенно — одиночество.

Каждый из них на какое-то, часто не очень продолжительное время становился ее гостем, ее попутчиком. Она их вела, сопровождала. Иногда вступала в разговор, но чаще просто слушала и улыбалась. С ними маршрут был куда ярче. Особо интересных она даже запоминала и радовалась, когда они снова появлялись. Но такое случалось редко.

Ей нравилось пробираться по салону, расталкивая, прижимая и иногда почти выдавливая людей. Ей нравилось спрашивать «за проезд», кричать «Что у вас?», «Пробили?» и «Приложите карточку». Ей нравилось «Я тебя щас высажу» и «Куда вы смотрели, когда садилась?». Ей нравилось каждое ее слово, произнесенное кому-то. И нравилось, когда говорили с ней.

— Возьмите. — У выхода стоял пассажир в кофейном плаще, улыбался и протягивал билетик.

— Он же счастливый, — удивилась Хроня.

— Поэтому и берите, — еще шире улыбнулся плащ; очки его, отразив молочно-желтый свет потолочных ламп, на мгновение превратились в два медных пятака.

Хроня понимающе кивнула, сказала «спасибо» и искренне, как своему, улыбнулась в ответ. Двери раскрылись, и пассажир вышел из троллейбуса.

Смена подходила к концу — троллейбус сделал еще пару кругов и уже возвращался в парк. За окном стояла ночь. Пассажиров уже было немного (только у метро подобралась группа молодежи, но все были с проездными), поэтому Хроня пересчитывала выручку, заполняла отчетные документы, вписывая номера билетов и сверяясь с итоговой суммой. Излишек ссыпала в карман.

В парке она сдала оранжевый жилет, кондукторскую сумку, катушку билетов, ручной валидатор и, конечно же, деньги (план, слава кому бы там ни было, выполнен).

За воротами парка ждал автобус с остальными сотрудниками, закончившими вечернюю смену. Когда все собрались, пазик торопливо тронулся. Хроня жила ближе всех — на Народного Ополчения, поэтому ее довели быстрее остальных, остановив, как всегда, чуть раньше нужного места: она заходила в ночной магазин за молоком и хлебом.

В крохотном ларьке не было никого, кроме одинокого продавца в белой футболке, под которой отчетливо виднелась широкая и черная волосатая грудь. Лицо его было уставшим — он смотрел российский футбол.

— Здрасьте, — громко поприветствовала Хроня.

— Добрый ночь, — с явным акцентом ответил продавец.

— Молока литр, пожалуйста. И батон «Московский».

Продавец нехотя встал, достал из холодильника бутылку молока, с соседней полки — батон, положил на прилавок и что-то вбил на калькуляторе.

— Сто пятнадцать, — озвучил он цифру с экрана калькулятора.

Хроня достала мелочь, быстро и очень ловко отсчитала требуемую сумму, из другого кармана достала пакет, сложила в него продукты и, сказав спасибо, вышла из ларька.

— Добрый ночь! — проводил ее ночной продавец.

От ларька до дома через дворы — не больше пяти минут. Хроня жила в двухкомнатной квартире в классической хрущевке на пятом этаже.

Дверь парадной, приветственно простонав от прикосновения ключа домофона, открылась — внутри было светло и тепло. Хроня, тяжело переступая, стала подниматься наверх: шаг — одна нога, к ней другая, снова шаг — другой ногой, к ней подтянуть левую, и еще один шаг — уже с левой, затем правая, вместе на ступени, и так до пятого этажа... Вверх всегда было тяжело, колени совершенно не хотят слушаться, да и так весь день на ногах.

Но дошла. Пятый этаж. Дверь в левом углу площадки. Черная, металлическая, еще в девяностые ставили, как и все. Хорошо хоть свет на площадке есть. Достала ключ, вставила в замочную скважину с облупившимся лаком вокруг, пытается провернуть — не идет. Навалилась плечом, толкает на каждую попытку провернуть ключ.

— Сколько-раз-просила-починить!

Щелчок. Проворот. Еще один. И дверь поддалась, отстала от коробки и поехала в сторону.

Хроня, несколько раз шаркнув подошвами о придверный резиновый коврик, вошла, прикрыв за собой дверь.

Внутри было темно, тихо и прохладно. Прихожая чуть освещалась светом кухонного окна, напротив которого во дворе стоял фонарь. Рука Хрони потянулась к выключателю, но тут же остановилась: «Да хос-спади, ну сколько раз просила же...»

Разулась в темноте, скинула куртку, подхватила с пола пакет с продуктами и аккуратно прошла в кухню. Включила свет, убрала молоко в холодильник, хлеб оставила на столе. Подошла к окну, постояла так некоторое время, глубоко вздохнула и вышла из кухни.

Зажгла свет в большой комнате: у левой стены стоял диван горчичного цвета, покрытый засаленным аляповатым покрывалом, справа у окна — стол со скатертью, справа от него — тумбочка с покосившейся дверцей, на тумбочке — телевизор GoldStar, у стены напротив входа — сервант с хрусталем и черными вазами сверху, справа от серванта — вход в смежную спальню, слева — трюмо с высоким узким зеркалом. Зеркало, словно драпировкой, было занавешено простыней. Под зеркалом — полупустая стопка, прикрытая куском черного хлеба.

В центре комнаты стояло пустое рыжее кресло.

Хроня подошла к креслу, провела рукой по его спинке, чуть постояла так, затем подошла к трюмо и стала всматриваться в ниспадающую ровными складками, немного пыльную белизну своего отсутствующего отражения. И взгляд ее был всё тот же.

Она на мгновение опустила глаза, тихо-тихо и как-то хитро улыбнулась, словно прячась, взяла одной рукой кусок уже черствого хлеба, другой — стопку теплой водки, тут же опрокинула ее содержимое в рот, закусила и занюхала сухарем, шумно выдохнула, поставила на трюмо пустую стопку, положила рядом остаток сухаря и стянула с зеркала длинную и уже точно ненужную простыню.

Встретившись со своим отражением — в первую очередь с лицом, — она негромко, вполголоса, слабо улыбаясь, сказала: «Здравствуй».

Раз-два-три

13 марта 1951 года в центральном роддоме Кустаная, не издав ни звука и не размыкая глаз, родился долгожданный мальчик. Крохотный, как и все младенцы, со слипшимися прядями волос, немного фиолетовый, со сцепленными и перекрещенными ножками и будто бескостными ручками в глубоких пухлых складках. Лицо его было серьезно, рот беззвучно хлопал толстыми губами, бледно-розовый язык собирал слюни в пузырящуюся пену. Он щурился на окружающую белизну: на качающийся потолок, на жужжащие лампы, на белые тени с мутными прорезями глаз, на окна в крахмальных занавесках, на белый шум, плотно стоявший в помещении.

— Мальчик.

Шум распался на отрывочные, резковатые звуки, слившиеся тут же в носовой гул, широкий выдох, обтекающий язык по бокам, и мягкий взрыв, затухающий едва различимым щелчком.

Мальчик нахмурился, скривил лицо и наконец-то заплакал.

Было решено назвать его Касьяном. «Красивое русское имя», — подумал молодой отец, который был по происхождению немцем. Петер Лиреман — так звали отца мальчика.

Петер был одним из многих немцев Поволжья, которых в военные и послевоенные годы депортировали в Казахстан. Он был высоким, аккуратно сложенным, с прямым упрямым взглядом. В 1941 году, когда Петеру было четырнадцать лет, они всей семьей переехали в Кустанай.

С работой было туго, поэтому Петер в помощь семье пошел чабаном, однако в первый же месяц потерял несколько баранов, за что хозяин отары Эрлик, старый казах с длинными черными усами, заправляемый за уши, выхлестнул ему цепью все передние зубы, зло прошептав непонятное «шайтанның ұрпағы». Коронки ему вставили чуть позже, но желание работать так и не появилось.

Уже на новом месте Петер познакомился с белой, как молоко, и васильковоглазой девочкой Аглаей, дочерью депортированных казаков Хаустовых. Аглая в свои неполные тринадцать лет была статна, внешне упруга, широка в кости, с россыпью лукавых веснушек и косой почти до поясницы. Они на удивление быстро сдружились, семьи их ладили, и спустя восемь лет, в 1949-м, немец и казачка поженились. Через два года, в 1951-м, у них и родился сын Касьян.

Касьян рос спокойным, молчаливым и насупленным ребенком. Почти с самого рождения он страдал рахитом, отчего ноги его с каждым годом всё больше выгибались в стороны, образуя разомкнутый круг. Витамины, солнечные ванны и прогулки на воздухе ему не помогли, а потому у него развилось и поперечное рахитное плоскостопие — большие пальцы ног всё сильнее выворачивались, точно выталкивая кость наружу. Лицо его, хоть и по-младенчески умиленное, омрачалось несоразмерно большими веками и на удивление озлобленным взглядом. Однако он очень любил мать; взгляд его умирался, дыхание становилось ровным и мирным, когда Аглая, уложив его на мягких молочных руках, как в люльке, тянула к нему свежее лицо в кругах румянца и черноте ресниц, и Касьян в ответ ей, закрыв глаза, протягивал кукольные руки и ощупывал ее лицо, чувствуя под пальцами упругую полнокровную ткань, тугую улыбку, широко раскрытые хитрые глаза.

Став старше и научившись осмысленно разговаривать, Касьян всё равно предпочитал молчание и тяжелые взгляды. Когда же в шесть с небольшим лет он потерялся и его всей округой искали в скверах, подвалах и чердаках, в близлежащих лесопарках и водоемах, он, вернувшись через пару дней с каким-то совершенно почерневшим взглядом, сухо сказал, что его выкрали бесы.

В школе жизнь Касьяна тоже не задалась: практически с первых дней его называли Кривым Касьяном, более добросердечные же незатейливо бросали в спину «коротышка» (он так и не дотянулся даже до ста шестидесяти сантиметров). Касьян по-прежнему молчал и лишь украдкой, под партой, до онемения сжимал маленькие кулачки.

В седьмом классе Касьян впервые подрался с одноклассником, обывившим Лиремана фашистом. Схватка была неравной — и Касьян потерял зуб. Мог бы лишиться и еще нескольких, да вовремя, захлебываясь слезами, отрезал от немецкой крови. Дома же, рассказав отцу о случившемся, выплюнул в руку еще один окровавленный зуб, отлетев от размашистого удара в красный угол, точно под трехстворчатый складень с одинокой Богоматерью в центре. «За предательство», — пояснил отец.

По окончании школы в 1967 году, простившись с родителями, уехал в Ленинград искать лучшей жизни. Довольно легко поступил в Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт (ЛИСИ) на механический факультет по специальности «ремонт и эксплуатация автомобилей», но проучился недолго: на втором курсе вязался в драку, потерял еще пару зубов и расшиб голову какому-то парторгу. Из института, как будто умышленно, его отчислили как раз под весенний призыв. Однако в армию не взяли: хирург военно-врачебной комиссии, осмотрев ступни Касьяна, готов был написать в карточке «адское плоскостопие», но лишь про себя удивился и признал Лиремана негодным к строевой.

Бессмысленно прослонявшись какое-то время и осознав, что запас родительских денег неконтролируемо быстро тает (слава богу, из общегития не погнали: подарил коменданту и кастелянше торт «Птичье молоко» и батон колбасы), Касьян в 1970 году поступил в Ленинградский машиностроительный техникум имени Ж. Я. Котина, созданный по инициативе Кировского завода. Учился Касьян по специальности «автомобиле- и тракторостроение» без особого энтузиазма и рвения, однако с учебой справлялся легко и даже непринужденно. Жизнь техникума и люди, там обучавшиеся, нравились ему гораздо больше, чем те, с кем ему довелось столкнуться в институте: все были неторопливы, просты, не чурались глубоких пьянок, потасовок и случайных знакомств, длящихся не дольше ночи. В техникуме же Касьян решил навсегда расстаться с немецкими корнями и больше не искать проблем — в 1971 году поменял паспорт, взяв фамилию матери, отчество же переделал на русский манер — Петрович. Так родился Касьян Петрович Хаустов. Месяц спустя мать прислала телеграмму, что умер отец.

После окончания техникума в 1972 году Касьян устроился на тот самый Кировский завод, чье имя носила станция Ленинградского метрополитена, за наземным павильоном которой, напоминающим древнегреческий храм с сорока четырьмя дорическими колоннами

с каннелюрами, и находился техникум. Касьян собирал колесный трактор общего назначения повышенной проходимости «Кировец» — легендарный К-700.

В 1974 году на остановке общественного транспорта познакомился с девушкой со странным именем. Она была вся вытянута и осаниста, хоть и немногим выше Касьяна, с крутыми бедрами, четкой талией, высокой и округлой грудью, не по-женски широкими плечами и длинной шеей. Звали девушку Феврония Никитична Муромская.

Родилась Феврония в 1955 году в Ленинграде в совершенно простой и неинтеллигентной семье, а очень скоро после рождения и вовсе оказалась в детском доме. Окончила с отличием вечернюю школу, а после, с 1971-го по 1973 годы, училась в Ленинградском техникуме железнодорожного транспорта имени Ф. Э. Дзержинского на техника-путейца. Жила Феврония, как оказалось, практически напротив Касьяна, в общежитии на Стачек, сто сорок четыре, в переоборудованной четырехэтажной сталинке в трехкомнатной квартире с двумя семьями. Касьян же жил в сто сорок шестом доме — окна их коммунальных комнат несколько лет перемигивались кисло-желтым светом ламп без абажуров.

Еще со школы Феврония увлекалась альпинизмом и плаванием, ей даже прочили успешную спортивную карьеру, но в 1973 году в экспедиции на Алтай она сорвалась со склона и разбила колени — теперь каждое движение вверх или на сгиб ноги причиняло ей невыносимые муки. Из спорта она ушла, да и на железную дорогу ее не взяли по состоянию здоровья, несмотря на специальное образование. Погоревав, Феврония, будучи все-таки человеком закаленным, пошла на курсы бухгалтеров, получила диплом и устроилась в бухгалтерию трамвайно-троллейбусного управления. Правда, и там она проработала всего несколько лет: в ходе проверки выявили серьезную недостачу и на Февронию, как на самую молодую и беззащитную, свалили всю ответственность, однако уволить не решились, перевели в рядовые кондукторы.

В 1974 году, повстречав Касьяна на остановке, Феврония, точно замороженная, смотрела на него не моргая: совсем какой-то короткий, чуть одутловатый, с колесом вместо ног, почти беззубый, в пыльно-серой кепке, натянутой на уши. Казалось, он весь умещался в ее мирном взгляде — ей хотелось приласкать его, излечить все его уродства.

В 1976 году они поженились — скромно, почти по-студенчески: свадьбу гуляли в столовой того же машиностроительного техникума, где учился Касьян. Жить стали вместе в комнате Февронии: ее соседи

по коммуналке все были семейные, а потому спокойные и приветливые, в отличие от разгульных холостяков в общежитии напротив. Несколькими годами позже Феврония каким-то чудом выхлопотала двухкомнатную хрущевку на Народного Ополчения.

Жизнь их текла неторопливо, неэмоционально и даже скучно. Да и гости бывали редко. Однажды только приезжала мать Касьяна — сильно располневшая, чуть поседевшая, но всё еще очень живая. Привезла меда, варенья, какой-то конской колбасы, несколько пачек домашней лапши и чай в брикетах.

После отъезда матери Касьян затосковал, стал выпивать чаще обычного, но в запой не уходил. Феврония, ссылаясь на свекровь и свой старородящий возраст, всё намекала на детей, но Касьян лишь отмахивался: «Не ко времени сейчас. На что я их поднимать буду?» На том разговор и заканчивался. И обыкновенно, тихо, почти иссякая, текла их жизнь дальше. Чтобы как-то развеять хандру, Касьян стал раза два в неделю играть с коллегами в волейбол, а по выходным — ходить на танцы в ДК имени И. И. Газы. Феврония несколько раз ходила вместе с мужем, но ноющие колени не позволяли не только давно забытый фокстрот или относительно свежий твист, но даже и классический вальс.

Касьян хоть был и неказист, но обладал при этом неким демоническим притяжением — удивительной красотой своего уродства, а потому в общении с женщинами стеснения и неловкости не испытывал. Так, в 1982 году на очередных танцах он пригласил на вальс бледную, с пучком волос на маленькой голове девушку в голубом ситцевом платье с открытыми плечами и широким поясом. Девушка, ярко покраснев, приглашение приняла, и под совершенно не вальсовые «Эти летние дожди» Пугачевой они пытались кружиться в душном и многоликом зале Дома культуры, отсчитывая «раз-два-три» каждый в своей голове.

Девушку звали Васса. Васса Александровна Б. Или просто Вася, как часто ее называл Касьян.

Васса родилась в 1965 году в Ленинграде в семье профессуры. Окончила престижную ленинградскую школу с золотой медалью и в 1981 году с легкостью поступила на филфак Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Увлекалась она чтением и субботними танцами, во время которых, впрочем, никогда не танцевала. Но в тот вечер, когда Касьян впервые тепло прижал ее к себе, когда его пальцы карабкались по промокшему от пота ситцу ее спины, когда их разгоряченные розовые лица почти соприкасались, когда на каждый его

ведущий шаг она откликнулась всем телом, словно он вытаскивал ее из огня, тогда Васса поняла, что хочет танцевать вальс с этим человеком всю оставшуюся жизнь.

С того самого дня они стали встречаться. Он приходил к ней три раза в неделю: два раза — на волейбол, один — на танцы. К счастью Касьяна, Васса жила неподалеку в просторной профессорской квартире с огромными, выросшими из стены шкафами и дубовым столом, поросшим, как газоном, зеленым сукном. Родителей Вассы практически никогда не было: у отца обострилась какая-то легочная болезнь и они уехали в Крым поправлять здоровье, переводя раз в две недели деньги на сберкнижку. Была еще ее бабушка-блокадница, но та заходила редко и только предварительно предупредив.

Васса знала о его жене, но ничего не могла не только поделаться, но и сказать. Касьяна же такое положение вещей вполне устраивало. Да и домой он стал возвращаться жизнерадостным и умиротворенным, изредка говоря жене, что скоро возможны городские соревнования по волейболу и, вероятно, придется уделить больше времени тренировкам. Феврония не возражала и тихо радовалась искренней увлеченности мужа.

Осенью 1982 года Васса забеременела и ушла в академический отпуск со второго курса. Касьян пропал. Через неделю он вернулся со словами: «Ребенок мне не нужен, нужна только ты. Но помогать буду. Согласна?» Васса, сделав несколько круговых движений мокрыми ладонями по животу, чуть заметно кивнула. На том и порешили.

Родители Вассы, узнав о беременности вне брака, прервали всякое финансовое обеспечение (лишь бабушка-блокадница делала небольшие переводы), поэтому Касьян взял все расходы на себя. И весной 1983 года у них родился пухленький и совершенно здоровенький мальчик Дима, которого Васса, помня слова Касьяна, записала на свою фамилию, отчество же дала по своему отцу — Александрович.

Так они и жили дальше: бездетная семья Касьяна и Февронии, мать-одиночка Васса и ее сын Дима.

В 1986 году Васса восстановилась на филфаке, пристроила ребенка в детский сад. В 1989 году, окончив университет, она по распределению попала учителем русского и литературы в одну из школ на севере Ленинграда, но в том же году, неожиданно заболев туберкулезом, несколько месяцев вместе с Димой пролежала в диспансере. Однако в том оказалась большая польза: как молодому специалисту и матери-одиночке, перенесшей тяжелую болезнь, Вассе дали однокомнатную квартиру недалеко от школы, на улице Ольги Форш, в новом доме-

корабле с видом на небольшой пруд, утыканный утками, как поплавами. Васса с радостью переехала, оставив неубранной уже совершенно неуютную родительскую квартиру, в которую тут же с облегчением вернулись ее отец и мать, врезав новые замки.

Дима рос веселым ребенком, был чуть полноват, застенчив, с большими глазами цвета незрелых яблок, влюбленным в литературу. Первым его словом было «папа» с долгим, многократным «п» — он заикался, но нечасто и нетяжело, без стопорящих судорог, искривляющих лицо. В 1990 году пошел учиться в ту же школу, где работала мать. Про отца спрашивал лишь первое время и, поняв по нежеланию матери что-либо о нем рассказывать и объяснять, впредь больше им не интересовался. Касьян же, наведывавшийся в гости несколько раз в неделю, был для него маминым другом, о котором он толком ничего не знал, кроме того, что тот чудесно танцует вальс. Касьян постоянно приносил какие-то гостинцы, игрушки, тетрадки и учебники. Этого было вполне достаточно, чтобы принять его в свой мир, в свою неполноценную семью.

В 2000 году Дима по примеру матери поступил на филфак в СПбГУ. Учился вполне себе успешно, практически без троек и прогулов. В 2005 году окончил вуз; осенью случился призыв, но комиссия признала его негодным в связи с развившимся плоскостопием. Чтобы не страдать от безделья и иметь хоть какие-то личные деньги, он устроился сначала мерчендайзером в крупную пивоваренную компанию, затем — торговым представителем к производителю соков, после же какое-то время работал ночным грузчиком на мясокомбинате. А несколькими годами позже наконец-то устроился по специальности — литературным редактором в небольшом издательстве на Воскресенской набережной.

В промозглом питерском марте 2011 года Касьяну исполнилось шестьдесят и наконец сбылась его давняя мечта — заслуженно не работать. Юбилей, в предвкушении которого он, пожалуй, жил еще со студенческих лет, Хаустов стал отмечать заблаговременно, методично и уверенно напиваясь каждый день с 1 марта. Домой он вваливался, впадал, вкатывался, вползал; его заносили, оставляли у порога, облакачивали о перила или же вовсе оставляли в кислой каптерке цеха, уложив боком на лавку с пустой канистрой под головой и чьей-то старой, облезлой офицерской шубой поверх. Почти за две недели бражных торжеств Касьян ни разу не навестил Вассу, да и жену он если и видел, то не совсем отчетливо и в каких-то искаженных проекциях.

13 марта его всем цехом торжественно проводили на пенсию, вручив грамоту, букет разноцветных тюльпанов, не распроданных еще с 8 Марта, а потому откровенно вялых и обиженных, и набор инструментов. Проводы были шумные, сытые и, конечно, пьяные. Утром следующего дня Касьян стонал дольше обычного, проклиная окаменевшую и мерзко-теплую подушку, но Феврония была на работе в утренней смене, а потому за пивом — изящным, стройным, чуть влажным на ощупь, в тонкой жестяной юбке — пришлось добираться самому. Опустошив банку в два глотка, Касьян шумно выдохнул, громко срыгнул и довольный собой, будто незапланированно воскресший, уселся за кухонный стол. Вокруг было светло; по окну растекалась небесная голубизна, растрескавшаяся исхудавшими ветками клена. «Пенсионер», — с придыханием, как имя любимой, чуть слышно выговорил Касьян и довольно улыбнулся. «Черт! Вася!» — крикнул он следом, хлопнул себя валиком ладони по лбу, тут же ойкнул от возбужденного шлепком перезвона, вскочил, опрокинув табурет, вернулся в комнату, оттуда в ванную, из ванной снова в комнату, там же, тихо переругиваясь с самим собой, спешно оделся и уже через несколько минут вышел на улицу.

По пути в метро Касьян забежал в Нарвский универмаг, стыдливо озираясь, пробежал несколько отделов с женской одеждой и, ощутив всю свою беспомощность, выбрал первую попавшуюся вещь, хотя бы отдаленно соответствующую его представлениям о размере Вассы. Первой попавшейся вещью оказался свитер баклажанного цвета с высоким горлом. «Немаркий», — подумал Касьян, протягивая кассиру кофту. Нежно прижимая к груди завернутую в шуршащий целлофан покупку, Касьян спустился в метро и чуть больше чем через полчаса был на Гражданском проспекте, откуда, успев добежать до готового тронуться «сотого» трамвая, быстро добрался до улицы Ольги Форш.

Домофон просипел нестройные трели.

— Кто? — глухо и как-то по-взрослому спросил Дима.

— Касьян. Дядя Касьян.

Последовал какой-то шорох, домофон истерично запищал, и Касьян, с легким усилием отворив дверь, вошел в подъезд. Седьмой этаж. Дверь слева от лифта. Короткий звонок. Молчание. Неспешные, но тяжелые шаги. Щелчок замка — и дверь медленно исчезла в сумраке прихожей. На пороге стоял заспанный Дима.

— Привет! — Касьян переступал с ноги на ногу, волнуясь и как-то по-дурацки улыбаясь. — А где мать?

Дима немного удивленно посмотрел на Касьяна, оттянул ворот футболки, сделал шаг назад, в полумрак, положил руку на дверной замок, опустил голову, вздохнул и снова поднял лицо:

— Она умерла, — и закрыл дверь.

Дорога до дома, вмиг опостылевшего, пустого, с чужой женщиной, оказалась невыносимо долгой.

Каждая ступень — по восемнадцать в марше, восемьдесят одна до тупика верхнего этажа — гудела, проваливалась и дрожала, Касьян постоянно оступался, цеплялся за стены и перила, скользил спиной по побелке, оседал, как тесто, на площадках. На самом верху, упершись лбом в черную металлическую дверь, стоял долго и тяжело, дышал с густыми хрипами. Нащупал замочную скважину с облупившимся лаком вокруг, вставил ключ, чуть надавил всем телом, провернул пару раз — и дверь открылась. Вошел очень тихо, сел на дерматиновый пуф, положил на колени пакет с подарком, придавил его руками.

— Касьян, ты? — раздалось из комнаты.

Касьян не ответил, лишь опустил глаза и разгладил шуршащие складки пакета.

В прихожей появилась Феврония — в шерстных носках и коротком бордовом халате на молнии.

— Касьян?

Касьян молчал.

— Касьян, ты чего?

И Хаустов, замерев на мгновение, медленно поднял голову, несколько раз моргнул, размазав влажные блики по выцветшей серости глаз, коротко улыбнулся сухими и обескровленными губами и сказал:

— Я тебе тут кофту купил. На Восьмое марта.

В тот вечер Феврония сама сбегала за пивом, от которого почему-то муж отказался, испекла пирог, была невероятно мила: за тридцать пять лет совместной жизни этот узкий и тесный, с высоким горлом, колючий баклажановый свитер был единственным подарком.

Касьян, окруженный заботой, весь вечер сидел в своем любимом рыжем кресле и совершенно бессмысленно, не различая ни цветов, ни движений, ни слов, всматривался в мельтешение на экране старенького телевизора.

Уже после полуночи Феврония стала звать Касьяна ко сну, но тот лишь мотал головой и тихо отвечал: «Не хочу». Поняв, что уговорить мужа уже не получится, Феврония накинула персиковую ночную

рубаху, из-под которой виднелись волосатые икры, поцеловала мужа в лоб, сделала чуть тише телевизор и ушла в спальню, неплотно приотворив дверь. А ранним утром, когда за окном еще не рассеялась влажная ночная тень, Феврония проснулась от пустоты рядом; выйдя в комнату, она увидела работающий телевизор, рыжее кресло с просочившимися каплями поролона и Касьяна в нем: правая нога его была выброшена вперед с вытянутым, как у балерины, носком, правая рука согнута и обращена к себе, кисть выкручена, пальцы собраны то ли в щепотку, то ли в троеперстие, голова завалена на правый бок, губы сухи и белы, язык чуть высунут, под губой — вытянутый стусок засохшей слюны, глаза широко раскрыты, испуганны и беззащитны.

— Кася, Касюшка! — Феврония упала к нему в ноги, стала гладить колени, руки, лицо, губы... Его губы шевелились, язык слабо и вяло колыхался, выталкивая наружу пену, — Феврония стала прислушиваться, пытаясь хоть что-то разобрать.

— Ваф-фа-фи... ваф-фа-фи... — глухо вываливалось из искореженного рта.

У Касьяна случился ишемический инсульт. В то же утро его увезли на скорой. Затем с полгода он был на реабилитации в Сестрорецке: снова учился ходить, двигать правой рукой, есть. Да и торжественно написанная в диагнозе «моторная афазия» не позволяла ему нормально говорить. К тому же теперь перед каждой репликой, перед каждым ответом или вопросом, перед каждым желанием слова наружу непроизвольно вырывалось «ваф-фа-фи».

Вернувшись домой, Касьян уже больше не выходил из квартиры и не вставал из кресла, смотрел куда-то в знакомую пустоту, нашептывал «ваф-фа-фи», отстукивал одному ему понятный ритм. В 2017 году у него остановилось сердце.

Илья Лебедев

Свободное Поле

— Чемодан туда, — сказал мне охранник. У него был изъеденный нос, засаленная кепка и воспаленные глаза. — Прокатывайте чемодан.

— Я уже прокатывал. Вон там, на входе.

— Еще раз прокатывайте. У нас усиленный режим.

Охранник ткнул пальцем в приклеенную к стене бумажку. Я прищурился, но разобрал только заголовок «Распоряжение».

Повалить чемодан на ленту просто — раз, и он уже уехал, раздвинувши резиновые полоски. Другое дело встретить чемодан с другой стороны — я примерился было ухватить его и поднять, но сорванная спина немедленно дернулась и прострелила куда-то в ногу. Пришлось пенсионерски неловко кантовать, а потом аккуратно ставить на колесики. Охранник, глядя на меня, шмыгнул носом и поправил кепку.

Мы с чемоданом вышли к перронам, посмотрели табло и свернули к пятому пути. У чемодана не крутилось одно колесико, а у меня ныл позвоночник, так что нас обгоняли даже бабушки-дачницы. Хорошо, что я приехал заранее.

У дверей моего вагона происходил скандал: молодой человек с рюкзаком что-то горячо говорил проводнику, который торопливо листал какие-то свои ведомости. Они оба были совершенно дурацкие: пассажир длинноволосый, носатый и с определенно безумными глазами, а проводник молодой, прыщавый и по-плохому простой — явно студент-практикант заштатного железнодорожного техникума. Я сразу вычислил, в чем дело: раздолбай-пассажир что-то напорол в чилах, когда покупал билет, а новичок-железнодорожник не знает, что теперь делать. Мне стало приятно, что я не такой инфантильный хиппи и не лысый дурак, как они.

Я не сразу понял, что в скандале необычного, но потом — через несколько секунд — понял. Длинноволосый объяснял на чужом языке, причем на каком-то совершенно чужом, вроде венгерского. Ни слова не разобрать совсем.

Выстроилась очередь.

— Млять, — сказал проводник, раздраженно, почти затравленно оглядываясь.

У соседнего вагона топтался его товарищ.

— Колян! Колян! Позови начальника, а. У меня очередь уже! — Он повернулся ко мне. — Давайте дальше пока.

Проводник хотел было взять у меня паспорт, но иностранец заголосолил, пуча глаза.

— Вот обезьяна, — просто обозвался проводник, не стесняясь. — У него в билете неправильно номер паспорта вбит. Дайте пока другим войти, алло. Пусть другие войдут, отойди подальше. Сейчас начпоезда придет, будешь на него орать.

— Я вот заметил: как иностранец, обязательно тупой, — веско сказал мужчина у меня за спиной. — Ну что ты скандалишь, вундер-пундер? Отойди, дай людей пустить. Иди в кассу. В кассу иди, туда.

Иностранец воинственно оглядел нас всех, загораживая дверь. Через пару минут пришел моржеобразный начальник, немножко подумал, пропустил иностранца в поезд, и очередь у дверей рассосалась. Мы с иностранцем очутились в одном купе. Он сразу забрался на верхнюю полку и залег там. Я задумался, что ему может быть нужно на юго-востоке страны. Там же никто не разговаривает по-венгерски. Ну или по-фински, или по-баскски, или кто он там на самом деле, безъязыкий. Я затолкал чемодан под стол, сел на свою нижнюю полку и достал книжку.



В Пичуринске поезд стоит четверть часа, потому что много кому надо выйти и много кому войти. Обычно новые пассажиры подселяются в купе сразу, а не к концу стоянки, — они приходят заранее, чтобы не опоздать. Так и теперь — буквально через минуту после остановки дверь отодвинулась, и к нам вошел стильно одетый парень с добрыми глазами. Это бывает у некоторых мужчин — брови и веки так вылеплены и глаза так посажены, что на лице всё время ласковое выражение. Я не доверяю таким.

— Добрый день, — сказал парень, и я сразу понял, что он, видимо, математик или лингвист. Пичуринск — наукоград, тут таких много. Я поздоровался и уткнулся в книжку, чтобы не стеснять соседа, пока он располагается.

Я думал, что дальше мы так и поедем втроем, но буквально за полминуты до отправления дверь снова открылась. Лысоватый маленький мужичок вошел спиной, затаскивая поставленные друг на друга картонные коробки. За ним маячил проводник с отчетливыми сомнениями на простом лице.

— Всё, спасибо вам, — выкрикнул ему мужичок и захлопнул дверь. — Паразиты. Всем-то заплати, всем-то заплати. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Так, вы подвиньтесь, потому что у меня коробки не влезают. Вот так, всё, да. Не стеснил я вас?

— Кто там у вас? — спросил мужичка математик. В коробках кто-то неутомомно шебуршился.

— Хомячки, — ответил тот. — Не трогайте их, пожалуйста.

Из решетчатого окошечка, вделанного в стенку коробки, показался лысый хвост. Он высовывался всё больше и больше, пока наконец не оказался длиной с ладонь.

— А это, значит, хомячий хвост, — понял математик.

Получилось неудобно.

— Ну я так говорю, знаете, чтобы люди не пугались. Особенно бабышны, ну и я уж по привычке. Скажешь — крыса, и все сразу визжат, бежат, сутолочатся. А так хомячок и хомячок.

— Разве же можно с хомячками в поезд?

Мужичок глянул на него. Он был из таких уверенно-странных людей за пятьдесят, которые неприятны этой своей странностью. С такими можно и не разговаривать вовсе — всё уже для себя решили.

— Если надо, то всё можно. Проводнику же тоже жить надо. Вот я и договорился.

Мы все наконец расселись — я за столиком, математик напротив меня, а мужичок у двери, напротив своих коробок. Утыкаться в книжку было как-то неудобно. Терпеть не могу обстановки, располагающие к разговору.

— Куда же вы везете шесть коробок с крысами? — спросил я.

— Любитель задавать вопросы вы наш, да? Понятненько.

Я постарался сделать вид, что мне ничуть не неприятно.

— Ну, я отвечу, тут большого-то секрета нет. Везу на исследовательскую станцию. Утречком вас покину, вы еще спать будете. Покатитесь себе своей дорогой, а я покачусь своей. На Свободном Поле сойду.

Математик, который всё глядел своими добрыми глазами в окно, повернулся.

— Это где инфекционный центр?

Мужичок задосадовал.

— Слушайте, пронизательный вы наш. Это не ваше дело. Ваш багаж, я так понимаю, вот — рюкзачок. Я не спрашиваю, что там у вас, курица или трусы. И куда вы его везете. А это мой багаж. У меня крысы в коробке. Они никак вас не касаются, какие бы ни были. Не первый раз вожу.

— В инфекционном центре, который поблизости от Свободного Поля, изучают горрелиоз, — сказал математик, обращаясь ко мне. — Вы знаете, что такое горрелиоз?

Я отодвинулся от коробок.

— Это просто поразительно, — математик сел спиной в угол и стал смотреть на коробки, как лектор-физик смотрит на демонстрационную электрофорную машину, — насколько у нас всё можно. Пришел на вокзал, дал на лапу проводнику и поехал себе в пассажирском вагоне с биохазардом в коробке. Почему у вас на коробке не нарисовано такое рогатое колечко? Должно быть нарисовано.

— А я вам не говорил, что животные зараженные. Животные могут быть и контрольные, чистые, да будет вам известно.

Математик потянулся.

— Послушайте, это всё равно глобально нельзя. — Он обвел руками воображаемый шар, чтобы показать, насколько глобально. — Почему вы не ездите спецтранспортом? У нас в городе есть целое управление спецтранспорта. Они отвозили мою бабушку в санаторий, когда ей не хватило места в автобусе.

— Ишь. Бабушку.

— Вам можно крыс в поезде, а мне — бабушку.

— Бабушку вашу они пожалуйста, а это вот — миллион бумаг изволь оформить. То-се. А я ученый. Я не делопроизводитель. Лицензию предъяви, маршрутный лист получи, справку выправи, тут печать поставь, тут марку наклей, тут, извиняюсь, полижи. А у меня работа.

— Поэтому надо возить вирулентных крыс пассажирскими поездами?

Иностранец на верхней полке поворочался.

— Меня вот дважды просветили, прежде чем на поезд пустить, — сказал я. — Меня и чемодан.

Ученые поглядели на меня.

— А вы дали на лапу? — спросил математик. — Иначе ничего не бывает.

Я вспомнил охранника с его носом, глазами и кепкой. Мужичок поднялся и стал проверять коробки.

— Меня пускают, — заявил он, обращаясь к математику, — потому что я по делу еду.

— И поэтому вам всё можно?

— Всё не всё, а на поезд пускают.

Коробки были в порядке, и он снова уселся.

— Вы очень правильно отодвинулись, — сказал мне математик. — Вас пытаются принести в жертву науке.

— Ну уж и в жертву. — Я поглядел на коробки. Они были потрепанные, но добротно перемотанные скотчем.

— Не обращайтесь внимания, — сказал мне мужичок, пытаюсь, видимо, быть любезным. — Яйца выеденного вопрос не стоит. Никакой опасности, покуда крысы в коробке. Я не знаю, зачем тут разводить.

Еще через полчаса он предложил укладываться. Математик полез наверх.



Я проснулся, потому что меня требовательно трясли.

— Проснитесь уже! Да проснитесь. Смотрите, что такое!

Тряс меня мужичок, а математик свесился сверху и глядел на коробки. Коробки были разорены и пусты.

— Это кто-то вскрыл! — голосил мужичок. — Они сами не могли!

Крысы так в самом деле не могли, конечно, — заклеенные коробки были вскрыты ножом и выпотрошены, так что внутри и опилок-то не осталось.

— Где проводник? Господи, вот катастрофа!

Я отметил, что неприятность не рассеяла мужичковой странности — суется в злобной панике, он был так же уверенно странен, как обычно. Проводника вот притащил. Проводник глядел недоуменно.

— Прямо преступление, — сказал математик сверху.

— Наоборот, — сказал кто-то тоже сверху.

От нового голоса все на несколько секунд замерли, а потом вместе посмотрели на иностранца.

— Вы преступление, — сказал иностранец, ткнув в мужичка пальцем. — А я свобода. Я ваши животные — свобода.

И он махнул за окно.

— Вы что, говорите по-нормальному? — спросил иностранца проводник.

— Чу-чуть. Я экологически волотер. Тушить пожар от лес.

Мужичок как-то полузагудел-полузарычал и полез было наверх, но мы с проводником ухватили его за руки.

— На слух разговор. Понять, что вивисектор. Ехать концлагерь для животного. Я свобода.

— Я ничего не понял, — сказал я.

— Молодой человек говорит изысканно, — отозвался математик, — но картина в общем ясная. Он едет на экологическую вахту, тушить лесные пожары. У нас сейчас много волонтеров иностранных. Многие из этих волонтеров очень-очень зеленые. Веганы там, сыроеды, защитники природы. Некоторые довольно радикальные и, в частности, ратуют за свободу животных.

— Наш попутчик радикал? — спросил я, глядя на взлохмаченные со сна длинные волосы.

— Наш попутчик идиот, — сказал математик очень раздельно, так что иностранец понял и ощерился. — Наш попутчик из обрывков разговора что-то там себе уяснил и ночью, по всей видимости, выпустил животных на каком-нибудь полустанке. Типа спас. Теперь там бегают пятьдесят горрелиозных крыс. Или сколько там их было.

Мужичок перестал дергаться и стал, глухо причитая, собирать коробки.

— В поезде обычно едет полиция, — неуверенно предложил я. Проводник отчего-то напугался.

Математик посмотрел на меня добрыми глазами.

— Контрабандистам, — произнес он после паузы, — затруднительно жаловаться на ограбления. Раз уж всем всё можно, так всем всё можно.

Он отвернулся к окну и стал, кажется, считать столбы. На каждом был номер — 503, 502, 501. Через полчаса поезд сбросил ход, зафукал тормозами и остановился.

— Свободное Поле, — объявил проводник. — Кому выходить — выходите.

Андрей Королёв

Календарь

Деревня Этимген — мягкое, шершавое лицо, спрятавшееся в руке. Когда-то здесь жили племена — они произошли от волков и пчел. У волчьих родственников всё еще большие опухшие щеки, ловкая щель вместо глаз. Пчелиные — любят перекачивать во рту воздух и останавливать его зубами. Союз завязался, когда появился медведь — стопоходящий волк. Потом местность проткнули палками, на палки посадили шестеренки от часов, закрутили волчком. Возник жужжащий звук — по границе звука облик деревни и начертили.

«Здесь мы родились, здесь мы и хотели бы умереть», — говорила за коренных жителей моя бабушка. Всех, кто смог уехать отсюда, она считала пришлыми. Коренные — оглядываются, уходя, и остаются на этой земле, вырастают в нее до онемения, краснея цветами под добродушными пятками прохожих. Глаза у них как золото.

Когда от скачущей температуры мне не удавалось заснуть, бабушка снимала покрывало с тумбочки, на которой от старости уже очень давно росло смуглое пятно. Бабушка говорила, что это календарь. У календаря было семь ящичков без задних и верхних стенок. В каждом из них — подвижная пластина: при выдвигении ящичка всё содержимое упиралось в пластину и сваливалось в ящик снизу. Так оставляли напоминания, что нужно сделать завтра. Всё, что не успели сделать за неделю, падало из седьмого ящичка на пол. Забытое разбирали, недоделанное — возвращали в верхний ящик.

На лицевой стороне каждого ящичка был нарисован символ — день недели. Дней было только семь — всё у нас принято делить на нечетное количество частей, чтобы заранее учить: человек — тоже лишь часть. А где остальное? Бабушка кивала в сторону окна: «Потерялось».

Красная кровяная армия топчет мне грудь, лекарства копят нутро, за окном едет красная машина — черная, как ночь. Хотя в окно смотри, хоть на часы — нет этому времени ни конца и ни края, как нет дна у тумбы, каменеющей у кровати. Ничего не остается делать, только

глядеть в черное окно, рассматривать дважды полумертвый календарь и спрашивать бабушку про рисунки на ящиках.

Первый ящик: рисунок собаки

Пятница — базарный день. В этот день все слышат всех, каждый говорит об одном и том же — как пятница возится в ногах, радостно повизгивает и лижет шершавые пятки.

Наиля — скучная, как груша. Нет в ней ни женского запаха, ни мужского, только кашей тянет, рыхлой и теплой. Ноги Наили длинные, как ворота — из них дети за руку идут один за другим, спотыкаются. Можно посмотреть на это раз, другой, но потом — скучно. Лучше смотреть, как мед растет в пчеле.

Сколько мужчин ей детей оставляли — все рождались без запаха и без запаха же умирали. Когда-то в деревню пришел историк учить людей русскому языку. И до того, как его расстреляли — такая голова всегда найдет, чем себя продырявить, — рассказал деревенским про древний Рим, про тысячелетние дороги и рабовладельческую систему.

Наиля потом нашла в деревне самую огромную суку и выжала ее, как тряпку, своим новорожденным близнецам прямо в рот. Тряпку родственники подобрали и под фартук приспособили. А дети зацвели. Выросли, выучились и завод построили по испытанию терпения рабочих и крестьян. А деревню, которая заново родилась вокруг завода, назвали Этимген — «Вскормленный собакой». Это наша деревня.

Второй ящик: рисунок лошади

Суббота — выходной. Это обязательный день, который доказывает, что существуют браки таинственнее мужа и жены.

У Сабаха была пшеничная голова и пахла хлебом. В шутку его называли «батырь», отрезая центральный гусиный слог — лишнее.

Сабах любил уходить далеко. Однажды он дошел до реки Омут и остановился на ночевку. Вода пахла холодом и растениями, всю ночь щекотала нос Сабаху и говорила «утоплю». Под утро Сабах проснулся оттого, что в воде была красная водяная девка с белыми волосами.

Девка заметила его и рассмеялась. У нее было круглое желтое лицо, как блин. Сабах пошел за ней в воду, зачерпнул и выволок.

Днем пришла усталость, вечером — жители ближайшей деревни. Они сказали, что живут быстро, поэтому пора делать свадьбу. Сабах спросил, как зовут девку. Куяш — сказали жители и покраснели, потому что имя означает «совершать половой акт» и его обычно употребляют как ругательство.

Сабах женился. Однажды вечером живот у нее лопнул, и Сабаха залило медом. «Не успел», — сказали в деревне, и собрали мед для детей. Без Куяш Сабаху стало тесно, он решил вернуться в родную деревню. Ему дали с собой животных, в которых есть не только кровь, но и молоко — белое, белое.

Теперь вся деревня тоже любит белое, вся деревня — необыкновенное животное с изумительными волосами. Вкусное молоко у Сабаха.

Третий ящик: рисунок дерева

Воскресенье — день стройки. В строительстве всегда должно быть больше покорности, чем молчания.

Платье у Ильнары одно на весь год, она растет — и платье растет. Ильнара худеет — и платье сжимается. Посмотрите на этот фокус, расскажите — как? Да что мы, вся деревня глядит на ее платье.

Ночью Ильнара пошла за водой — сон приснился, пить захотелось.

Ночью светло — луна. Деревья, трава, домики — всё двигается. Танцует ночь, и Ильнара тоже кружится вокруг большого дуба недалеко от колодца. Уже у самой воды она услышала треск и хруст — дуб потянул к ней ветки. Чем ближе, тем больше походил он на мужчину с огромным лицом. Она улыбнулась ему, он взял ее на руки и понес в лес. Там дуб остановился и поставил Ильнару рядом, в листьях и обрывках коры. Скоро вокруг них выросла небольшая дубовая рощица. Ильнара иногда нет-нет, да подумает, что зря пошла за водой, зря сон увидела. И так хочется снова потанцевать, а не получается.

Только платье висит на ветках и больше никого не интересуется.

Четвертый ящик: рисунок змеи

Понедельник — день путешествий. Путешествия охраняют ежедневный быт, как число охраняет могилу.

Кадиму нужно было доказать свой возраст и мужество, поэтому деревенские настояли, чтобы он что-нибудь убил. Кадим взял лошадь и отправился на поиски.

Проходя реку камней, он увидел змею. Кадим знал, как правильно убивать змей. Нужно найти палочку, чтобы увязить змеиную голову в землю, тогда она не оживет. Если этого не сделать, то придут другие змеи с корнем неизвестной травы. Если сок корня попадет на рану, змея оживет.

Змейка вертелась под нагайкой Кадима, но умирать не хотела. Кадим взял саблю и напоил ее пóтом своей лошади — всем потам пот, иной раз разъедавший даже людей. Этой саблей змею удалось срубить. Сделав всё по правилам, он сунул труп в мешок и отправился домой. Только дома его никто не признал — напившись горного воздуха, Кадим стал карликом и даже со своей победой в руках был такой неузнаваемый, такой неродной.

Не найдя приюта в деревне, он отправился обратно и убивал змей. Со временем он стал постепенно тяжелеть и сгибаться к земле. В конце концов он свернулся в камень. Его положили около реки — там хороший вид и просторно. Жители Этимген часто туда приходят — хорошо там, но они никогда не будут там жить. Они будут жить в деревне, которая не приняла Кадима.

Пятый ящик: рисунок ветра

Вторник — день крови, который когда-то доказывал, что в каждом человеке есть зерно зла.

У человека когда-то были хозяева, но однажды они не вернулись с охоты, и все забыли, как они выглядят. Остались только хозяева мест.

В поселении на хребте Кыркты деревья и расщелины сплошь в лентях, кое-где попадались медные монеты, которые никто давно не использовал. Когда там выдавали замуж девушку, теряющую свое главное имя, то все незамужние гадали: если лента провисит до следующего лета, то девушка скоро выйдет замуж. Одна из девушек, Тансылу, уже знала имя возлюбленного — Арсен, но об их совместной судьбе говорить было рано. Свою ленточку она привязала очень крепко. Кажется, она собиралась провисеть тут очень долго.

Тансылу рассказала о свадебном гадании Арсену, но тот посмеялся. Он верил в свои силы, а не в свою судьбу. Жители деревни промолчали, иначе все бы заметили, что они подслушивают.

Через несколько дней Арсен с отцом ушли на охоту. Вечером того же дня Арсену стало плохо. Он стал видеть огромных зверей, которые шли со стороны хребта и были настроены смертельно. На следующий

день Арсена нигде не было. Тансылу долго плакала, но это не помогло. За неделю исчезла вся его семья.

Когда Тансылу пришла к дереву с лентами, то ленты там уже не было. Домой она не вернулась. Ходили слухи, что хозяевам людей понравилась ее лента и они позвали Тансылу домой. Этим слухам не верит только мальчик Азаль, который в шутку отвязал ее ленточку.

Шестой ящик: рисунок воды

Среда — день добрых дел. Добрые дела обычно подкрепляют голосом, потому что голос — самый мелкий почерк.

Ахунд забыл вкус воды и пошел к озеру вспоминать. На берегу он встретил зеленую девушку. Ее звали Зия.

— Мы так похожи, что после смерти для нас будут седлать одну лошадь, — сказала она и поцеловала Ахунда.

Ахунд женился на ней, хотя мы его отговаривали. Свадьба быстро позабылась. Охота — одно из немногих увлечений Ахунда — потеряла для него смысл, поскольку лишился всей удачи. Вскоре родные Ахунда стали болеть чаще обычного. Люди стали поговаривать, что все проблемы начались с Зии. Когда вся деревня слегла от болезни, он сдался под напором советов и накормил жену соленым, убрав из дома всю воду. Той же ночью Зия превратилась в старую змею. Свой хвост она оставила у мужа на груди, чтобы он не заметил ее отсутствия, а головой вытянулась к озеру — попить воды. Но Ахунд не спал и увидел ее в нечеловеческом облике.

Зия пыталась убедить мужа, что это лишь внешность, которая не может повлиять на их любовь. Но Ахунд запер ее в железном доме и поджег. Оставшаяся зола на вкус была достаточно горькой, чтобы вернуть Ахунду вкус воды. Кроме того, в деревне до сих пор употребляют ее как средство от глазных болезней.

А Ахунд потом утонул в реке. Сейчас все берут там воду, на вкус она — чистый мед.

Седьмой ящик: рисунок испорчен

Четверг — день страха и посещения правителей. В этот день принято репетировать разлуку.

Таиф любил рассказывать небылицы. Что чеснок как десять матерей, что суша имеет форму сломанного музыкального инструмента,

что люди рождаются злыми и только из-за своих поступков могут стать хорошими.

Одно время Таиф постоянно рассказывал всем историю про албасты. Они в этих краях не водились никогда, но Таиф уверял, что каждую ночь к нему в окно влезает женщина с очень длинными грудями, которые она перекидывает через плечо. Она заползает к нему домой, наваливается всем телом, кладет грудь ему в рот и давит, пока в глазах не прорастут пятаки. Таиф рассказывал, что очень мучается, но не может проснуться и крикнуть, чтобы та убиралась.

Деревенским стало жалко его. Они посоветовали ему положить нож в изголовье. Вид твердого металла прогнал албасты, Таиф поправился — правда, ненадолго. Однажды он крепко спал в кабаке и пьяный резко его разбудил, не позвав по имени несколько раз. Душа не успела вернуться в спящее тело, и он умер. Кто-то из деревенских видел, как Таифу в рот пытается влететь муха, но пьяный не дал ей это сделать.

МИТИНГ

Комната давно выглядит как будто не моя. Моя она была тогда, когда мы только сюда переехали, а квартира нуждалась в ремонте — ободранная, как мальчишеская коленка. Это уже потом полезли бесконечные обои в цветочек и бледные густые шторы, стены затянуло моими детскими фотографиями, появились пузатые шкафы. Mam, я настолько привык к твоему повсеместному присутствию, что до восемнадцати лет постоянно путаюсь в своем возрасте — каждый год проходит одинаково, разве что меняется количество уроков, заданных на дом.

— Mam, я сам могу это сделать.

— Конечно, сынок, я только помогу. Вырастешь — сам будешь.

— Mam, я уже большой.

— Конечно, сынок.

Где-то под этой декорацией есть мое: книги, спрятанные за стройными рядами фарфоровых и стеклянных зверей, джинсы с кислотны-

ми пятнами, огромная бесформенная рубаша, которую «лучше не носить, она же женская», и так далее. Компьютер в этой обстановке выглядит дырой во внешний мир, прикрытой ярким и безобидным плакатом. Сейчас на экране висит сообщение из чата: «Viva la resistance!» — однокурсники, всерьез увлеченные политикой и другими безделушками, зовут на митинг. Протестных выступлений в последнее время у нас заметно прибавилось, но в чем их смысл, мне неинтересно: в битве молодости со старостью в России всегда выигрывает злая старость. Другое дело, что сейчас в числе универских «нопасарян» малознакомая девушка, и глаза у нее — азиатские полумесяцы — притягивают, как что-то знакомое. Как будто мы с ней в детском саду смотрели друг на друга в одну замочную скважину.

У тебя, мам, такие по-охотничьи мягкие тапочки, что ходишь ты почти неслышно. Твой домашний халат похож на размазанный торт и вписывает тебя в окружающий интерьер так ловко, что бесполезно ловить момент, когда ты опять прорастаешь из дверного проема.

— Ну что, разогрею поесть?

— Я ел час назад.

— Ну, вдруг проголодался. А то могу разогреть. Слушай, сейчас тетя Валя звонила — на площади Ленина митинг опять собирают. Вот ведь дураки, да? Опять в милицию позабирают... Уроки-то все сделал? Сидишь играешь?

— Сделал. Только это не уроки, а домашнее задание. Уроки были в школе.

— А есть разница? А то сессия скоро. От зубов-то отскакивает?

— Отскакивает.

От зубов отскакивает так, что комар носа не подточит, мам. Только у комаров нет носов, у них хоботок, трубка. И кусают только самки. Меня всегда кусали, много, до волдырей. Мам, почему они кусают? Потому что кровь у тебя сладкая, вкусная. Комары не точат носов, они пьют кровь, не разрешают спать и разрушают сны. Я не против: пейте, это кровь моя, только, пожалуйста, не надо этого отвратительного писка, который так легко льется в уши и заставляет смотреть в темноту, где от тебя незаметно откусывают маленький кусочек, крошку, пылинку — словом, деталь. Без нее прожить, конечно, можно, но за чем-то же она была?

— Смотри, не сдашь ведь.

— Конечно, не сдам. Разве я когда-то что-то сдавал? Одни двойки.

— Злой ты.

— Я не злой, просто ты опять что-то выдумываешь.

Ты продолжаешь активно молчать в дверях. Мне нечего тебе сказать — могу только пререкаться, ругаться, язвить, не соглашаться — с тех пор как мне стало неприятно, что ты роешься в моих вещах и подслушиваешь мои телефонные разговоры. Я привык не смотреть тебе в глаза. Может быть, просто не хочу увидеть в этих графских развалинах, которые навсегда внулили мне неуверенность в себе, человека, чье присутствие магическим образом делало окружающее меня пространство пригодным для жизни. Я помню, как ты пекла торт в ночь на мой день рождения и я ерзал на кухне, угощаясь обрезанными корками от испеченных коржей. Как ты выдумывала игры, когда не было денег на игрушки, да и самих игрушек тоже не было. Как подделывала подпись Деда Мороза, когда я искал доказательств его существования, чтобы тебе же и показать. Как ты округляла глаза, когда рассказывала о своих первых конфетах, отчего наши ириски за чаем становились окончательно вкусными. Как я случайно шутил, а ты невероятно смеялась и потом, хихикая, украдкой повторяла эту шутку, чтобы не забыть.

Я помню всё это слишком хорошо. Когда мы сталкиваемся, я разговариваю не с тобой, а с совокупностью своих воспоминаний. Ты, видимо, тоже.

— Я пойду погуляю.

— Чего это? Весь день дома сидел, не оторвать, а сейчас собрался.

— Всего восемь часов только.

— Так темнеет уже. И дождь весь день собирается.

Дождь и правда собирается, а у меня на куртке заедает замок. Чтобы наладить, нужно найти плоскогубцы, а все инструменты убраны в укромные уголки, о существовании которых не знает, кажется, никто. Чтобы не разводить суматоху, тебе лучше об этом не говорить.

— И еще митинг этот. Ты же туда не пойдешь?

— Нет. Но даже если бы пошел, что с того? Выражать свое мнение публично еще не запрещено.

Подбородок у тебя вытягивается, а лицо подается вперед, будто проснувшись.

— Ты в армию захотел?

— При чем тут армия?

— Потому что тебя отчислят из института! Я так старалась, чтобы ты школу закончил с медалью, чтобы ты смог поступить без проблем...

Золотая медаль за отличную учебу в довольно средней школе обесценилась почти сразу после ее получения из-за перестройки образо-

вательной системы. Железка с напылением, из-за которой пришлось пережить неизвестное количество лет муштры и слез, лежала в коробочке в серванте. Ее доставали, когда от пыли протирали хрусталь, который никогда на стол не ставился.

— Всю жизнь так: пашешь, пашешь, а потом на тебя плюют и еще ножки вытирают. Вот заберут тебя в милицию!

— Мам, мне не семь лет, я не такой тупой, как ты думаешь.

— А для меня ты всегда будешь ребенком.

— Я пошел.

— Никуда ты не пойдешь! — Мама закрыла собой дверь из комнаты. — Эти сволочи вами манипулируют, им огромные деньги за это платят, а вы введетесь, как маленькие. А еще говоришь, что взрослый! Растила-растила и дурака вырастила...

Ты не выйдешь из моей комнаты — хотя какая это моя комната, — пока не оторвешь от меня кусок. Нужен ход конем.

— Вообще-то у меня встреча с девушкой, мы хотим погулять.

— Да? — Ты недоверчиво останавливаешь слезы. Не доверяешь? Я тоже бы не стал доверять — не могу представить, как и зачем я мог бы познакомиться с человеком другого пола, если воспитание мое шло в тесном кругу родных и учебников. — И как ее зовут?

— Как тебя.

— Да-а? Ну, покажи хоть фотографию.

Я открываю на компьютере фотографию девушки, которая оставалась главным магнитом грядущего митинга. Мы помолчали.

— Знаешь, у меня вся жизнь — один сплошной митинг. Ты же знаешь, я всё для тебя делаю. Думаешь, мне нравится, что в стране происходит? Лично всех передумала бы — не дают же. Кому мы нужны, кроме самих себя?

— Ну да, лучше дома сидеть.

— Знаешь, каждому свое. У них хватает наглости, чтобы быть такими. Я не такая. Но, между прочим, они как-то удерживают страну на плаву, причем нас во всём мире снова зауважали. А чтобы протестовать, нужно уметь договариваться.

— Я всё понимаю, но...

— Я тоже всё понимаю, но разве я плохого тебе когда-то желала?

— Ну...

— Спасибо на добром слове! Слушаю тебя и думаю: вот начну подышать, а рядом никого не будет, чтобы помочь.

Черт с ним, с замком на куртке. Я пытаюсь выйти, а ты оседаешь на пол перед дверью, закрывая собой выход.

— Никуда ты не пойдешь. Не пущу! Говно!

— Я не говно.

— Нет, ты именно мое говно. Я тебя высрала!

Когда я пытаюсь тебя перешагнуть, ты цепляешься за руки и бьешь меня по заднице, но едва ли от этого больно. Выскочив в коридор, я что-то надеваю и выхожу.

До митинга я не добираюсь — на улице холодно, накрапывает дождь, а куртка не застегивается. В подъезде тепло. Бутылка пива исчезает быстро и незаметно, потом еще одна, потом — еще одна, потом деньги, приготовленные на проезд до университета, заканчиваются. Я сижу в подъезде, читаю в телефоне вести с митинга вперемешку с какими-то глуповатыми шутками и цитатами великих людей. Кажется, так никого и не задержали.

Под ночь возвращаюсь домой. Пока я стягиваю ботинки, выходит мама и бросает на меня взгляд: живой? Я спяну не вижу в тебе ничего, кроме усталости. Как когда ты работала на заводе допоздна и потом учила со мной уроки. Я хочу спать.

Ты уходишь к себе в комнату, кажется, впервые не оставив за собой последнее слово. Или, может, я не слышал — в голове гудело от пролетавших вертолетов.

Пошатываясь, я иду в комнату, задеваю дверной косяк, ударившись о стол и шкаф. Великан в стране лилипутов, я раскладываюсь на диване. Стены слегка кружатся в танце и выглядят совершенно чужими. Вижу, как шальной комар — откуда они вылезают в это время года? — сидит в складках моей рубашки в области живота и целится, чтобы перекусить. А может, уже. Я подношу ладонь максимально близко и прижимаю ее к рубашке, инстинктивно скукоживаясь в надежде хотя бы случайно смять насекомое. Разжимаюсь — и не вижу тела поверженного врага. Оно слишком мелкое, а у меня — пестрая рубашка в клетку.

Игорь Савельев

Tolstoy

Последние несколько лет Gefesova перестала объяснять, чем занимается. То есть занималась-то она общей славистикой и преподаванием русской литературы, а на вопрос о диссертации и прочем годилось краткое Tolstoy: вопросов больше не было. Ну не будешь же объяснять каждому швейцарскому столбу, что Толстых много, все друг другу дальние родственники и «ее» Николай Толстой — тоже. Популярный в основном в самиздате, он эмигрировал из страны в аксеновском призыве, вернулся в солженицынском, в девяностые получил все причитающиеся букеры и несколько лет крепко держался в условном нобелевском шорте. Но где теперь те шорты.

Gefesova не раз общалась со своим героем во время международных книжных ярмарок, московских премиальных фуршетов, etc., и от нее не укрылось, конечно, что в последние несколько лет о нем мало было слышно, и общие знакомые коротко говорили: «Болеет», что в русском быте было только синонимом рака.

Новость о том, что Толстой умер, не то что оглушила ее (ему было 86), но она сочла, что нужно немедленно вылететь в Москву. (Она сохраняла двойное гражданство, в отличие от многих, гордо отказавшихся, а теперь кусающих локти со сложным российским визовым процессом.) Еще собираясь, она узнала, что Толстой умер в деревне где-то на Русском Севере, куда уехал на последние годы, окончательно отказавшись от лечения. Русский Север озадачил ее. В биографии Толстого не было никакого Русского Севера. Это, впрочем, не исключало приземленных вариантов, что уже в зрелом возрасте он купил там какой-нибудь дом, etc. Как назло, у Gefesовой не было никаких контактов его семьи, а издательство (чей элегичный пресс-релизный тон был в эти дни поставлен на поток) и прочие критики-в-теме разводили руками. Никто не собирался ехать на похороны хрен знает куда, хотя фейсбучек и модные сайты были полны прочувствованными некрологами. Три из которых она написала сама в перерывах между стыковками.

Она прилетела в хмурую ненужную Москву и не успевала обежать привычный круг. Из аэропорта она поехала на вокзал, оттуда — в пыльном поезде, в купе с унылым дядькой, хотя она читала, что в России ввели отдельные гендерные купе. Важный вопрос был — где купить цветы. Понятно, что в Москве логичнее всего достать приличные, но как они доедут. Гефесова сделала ставку на Архангельск и не прогадала. Там была она ранним утром и успела не только купить шикарный букет бордовых роз, но даже и прилично поесть. Она уже покойно знала, что не попадает на сами похороны, потому что будет в деревне Валентиновка не раньше обеда. Но это ужасное осознание (которое почему-то пришло к ней только на этапе стыковок) компенсировалось тем — компенсировалось уже из Москвы, которую она успела не обежать, но обзвонить, — что она будет первой, если не единственной, из коллег и вообще литературного круга. Гефесова везла зеркальную камеру и знала, что обснимет свежую могилу, поминки, родных, опишет это, и, в общем, эксклюзивность последнего поклона нивелировала (sic!) его запоздалость.

Погружение вглубь России, которую она покинула в 1989 году (и после бывала только в Питере и Москве), тоже будоражило ее. На удивление, электричка была приличной, европейского уровня, а вот автобус, который вез ее от станции к нужной деревеньке, был будто из запыленных восьмидесятых. Да почему «будто». Так сорок лет и качался утицей. Вообще Гефесова надеялась на катера, на светлые причалы, как в лубочном кино ее молодости, где патриархальность Русского Севера венчалась с ударностью комсомольских бригад.

Народу было немного, человек десять, и Гефесова, вооружившись техникой, уже опрашивала (народ): а вы знаете, что случилось? А вы знаете, что у вас тут умер Толстой?.. К ее удивлению, народ Толстого совсем не знал (в смысле Николая). Все будто оправдывались, что в последнее время столько москвичей накупили тут дома. Зато, узнав о цели ее путешествия, ее высадили не в самой Валентиновке, а прямо возле кладбища, что оказалось удобно, потому что от деревни до кладбища — с десяток километров. Ей успели даже рассказать историю, что, когда дорогу вконец замело, позапрошлой зимой, неким родным пришлось оставить в кювете гроб, чтобы потом, через день или два кто-то что-то трактором расчистил — и замороженного провезли.

И вот — кладбище. Садится солнце. Гефесова здесь одна. Ее будоражит сельский погост (хотя, судя по черногранитным новоделам, легенда о заповенении *nouveau riche* могла быть правдой). Но в основ-

ном — всё скромно. Кладбище вроде и маленькое — она четырежды выходила к его границам, особенно ее удивляла широкая поляна, пустая, но уже прирезанная в его ограду, в любом городе мертвые бы «съели» это за считанные дни, — но она никак не могла его найти! — как будто Толстой не хотел новой встречи. Но в итоге — вдруг некстати обернувшись, в самом неподходящем, неказистом месте, с видом на дальний дырявый элеватор; в самом несвежем месте — здесь не было новых могил, — она его нашла. (Перед этим ее очень смущал крест какой-то выблекшей старушки с датами жизни 1981 — 1891, она не раз перепроверила, не ошибается ли взгляд. Может, конечно, ошибся резальщик по дереву, но ей неприятно казалось, что с ней и здесь постмодернистски играют.)

У Толстого был стандартный крест светлого дерева, стандартная — как бланк — металлическая табличка, сегодняшняя могила, уложенная цветами, но не так чтобы ах. Что-то Гефесову здесь оскорбляло, хотя она щелкала и щелкала зеркалкой с разных ракурсов, в лучах заката, сначала избегая элеватора, а потом его подчеркивая. Понятно, что гравировщик был ограничен в ресурсах, но полное неразграничение великого россиянина с рядовыми валентиновцами, возможно, и незнание о его величии (ну а в конце концов, когда Толстой сюда уехал, что здесь — газеты читали?..), честно — выбесило Гефесову. Набор цветов также говорил о том, что великого писателя окружали люди, знающие его только как «бытового» 86-летнего. Ее плотный сноп бордовых роз лег тут самую пышною данью (да на него все пырились и в автобусе).

Когда церемония была исполнена и все фото сделаны, Гефесовой вдруг впервые трезво стало не по себе: она вспомнила о десяти километрах, которые разделяли ее и живых, тех, пусть немногих, близких Толстого (да не соседи ж хоронили его!!!), которые сидят сейчас где-то в Валентиновке, не зная о швейцарской гостье. Русский погост стал неприятен. Гефесова заторопилась. По счастью, почти в самом начале пути ее подобрал лесовоз. Подобрал, ни о чем не спрашивая. В благодарность и Гефесова не пыталась молодого парня, а знает ли он, кто такой Толстой.

Валентиновка оказалась на удивление большой, и к ужасу Гефесовой большой, потому что в патриархальной матрице трех с половиной домишек Русского Севера было бы просто понять, где поминают. Тут же были разъезженные улицы с магазином, даже супермаркетом (по устройству), который и в мерках Лозанны считался бы относительно крупным. Увы — кассирша не знала, кто такой Толстой, где тут

могут жить Толстые и не покупал ли кто-нибудь спиртное оптом для поминок. (По ее словам — «да тут каждый второй».) Зато кассирша направила ее в кафе. Это была здравая идея. По пути, уже в сумерках, Гефесова, ежась, прошла добрый десяток краснокирпичных особняков, в общих чертах конченых, но с заклеенными бумагой стеклами, etc., — то есть народ не врал.

Возле кафе было оживленно, и Гефесова кинулась туда. Увы. Гуляла свадьба. Не слишком людная-молодая — переженились вдовы, — но это и не значит, что не разухабистая. Так что появление Гефесовой на пороге и заметили, и не отпустили. Выслушали. Заставили рассказать. Кто-то ведь и слышал о Толстом, точнее, о том, что на Центральной у леса писатель живет. Пацаненка сразу и послали в этот край, но, вернувшись, он сказал, что никого не нашел, два дома там пустые. «Наверно, уехали в Москву». Гефесову и усадили за стол, и обещали, что разместят на ночь, потому что куда ей уже. Вдовица жалела, гладила ее.

Она, конечно, и билеты брала с расчетом, что переночует в Валентиновке, но не переставала дергаться: ей всё время казалось, что что-то с нею здесь произойдет — то ли «Овраг» Леонида Андреева, то ли «Юрьев день» Кирилла Серебренникова. Но ничего не произошло. Через день она была в гостинице в Москве, в той, в какой всегда оставалась, а через два обегала привычные московские редакции и места, где все целовали ее и говорили: какой ужас, умер Толстой.

Ухо Сноудена

Генерозова никого не ждала. На экране переговорного устройства она видела толстячка а-ля Дэнни Де Вито, плывущего и лучащегося, как будто техника столкнулась с НЛО.

— Здравствуйте! — прокричал Де Вито, наползая на камеру самыми зубами. — Мы с Первого канала! Вы можете открыть?..

Это было уже слишком! — он опять подослал к ней репортеров! Срываясь на фальцет, Генерозова в тираде своей и не вспомнила, что на самом деле это она втянула в дело журналистов, а передачу «Пусть

говорят», посвященную их разводу, и вовсе смаковала с удовольствием. Но с тех пор прошло два года. Дэнни Де Вито также убедил ее, что бывший муж здесь ни при чем. Генерозова нажала кнопку и сама (не без опаски) спустилась в сад.

Де Вито густо шутил, даже, кажется, флиртовал, и попросил показать кровать. «Мы тут в соседнем доме снимаем передачу, там не хватает аутентичной мебели». Робя от слова «аутентичной» и всё еще не понимая, что происходит, а также будто во сне, Генерозова проводила его в спальню. Перед гостем раскрылось арабское роскошество кровати 3х3 с наброшенной шкурою леопарда; «М-да», — протянул гость. Генерозовой стало неловко за табачный дух, впитавшийся в портьеры, и за нечистые бокалы на прикроватном столике, как будто здесь был целый фуршет. «Эта не подходит, а вот в той комнате, мы проходили, это было что?..» Он вернулся и указал на узкую тахту, которую Генерозова вообще-то давно хотела выбросить.

Пока молодчики несли кровать, а точнее, чесали затылки у каждого косяка, Де Вито принял приглашение на кофе. «С коньячком? А может, лучше коньячок без кофе?» — настойчиво шутил он, но Генерозова не решилась. За кофе гость раскрыл страшную тайну, что они снимают передачу про Сноудена: «Вы же слышали, что он скрывается тут, в Подмоскovie?» Вдруг Генерозова разволновалась. Она слышала только про Януковича, но тот пятиметровый забор вокруг бывшей виллы Усмановых вполне подходил для таких слухов, а домик, на который указал Де Вито, — нет. Скромный дом у леса, реликт цековских дач, стоял пустым; его пытался было кто-то снимать, но ТСЖ пресекло этот шалман. Сноуден — там?! Генерозова развеселилась от мысли, что могла так вот запросто столкнуться с американским щеголем: тот тип, который ей нравится, волнующийся девственник, но уже как бы и мужчина, почти как Бонд... Столкнуться, гуляя по дорожке; или, например, она выходит в неглиже на балкон, а он наблюдает из окна. Оттуда видно, нет?..

Де Вито уже ушел, похохатывая, что вот, мол, через три часа съемки, «какая работа без коньячка, заглядывайте», а мысль о Сноудене никак не оставляла Генерозову. Почитав интернет, она зачем-то даже пыталась прибраться, хотя Зайтуна должна была прийти через день; она впервые за долгое время ступила в гардеробную и встала у полок. Ближе к часу икс — сделала макияж и всё же немного выпила.

И вот тот дом; у входа — два минивена. Глупо волнуясь, Генерозова переступила порог. Всё было нараспашку, сновали какие-то парни, не обращая на нее внимания. Де Вито замахал из-за стеклянных две-

рей, мол, не входи. Генерозова могла разглядеть спящий юпитер, нацеленный в затылок молодому человеку, который сидел спиной, и снимали его со спины. Он что-то нервно говорил, подрагивая всем корпусом; видны были дужки от очков и рубиново просвеченное ухо. Худые длинные пальцы вертели зажигалку... или флешку? Генерозова замерла у стекла, прямо кожей ощутив: вот где вершится история, вот где настоящая личность, центр силы! — настоящий мужик, пусть и с внешностью лошары. Она прямо чувствовала флюиды!.. Сила — не у таких, как ее бывший, не у этих лощеных кабанов на бэхах. Сила — в этой флешке и в этом... хм. Попутно Генерозова узнавала свою кровать, придававшую логову шпиона вид монастырской кельи, и игровую консоль (которую она видела в детской у Мамутов), что сообщало логову мысль, что легкость и юность всё ж не забыты в умерщвлении плоти.

Генерозова следила за нервной жестикуляцией, за активностью мышц, вен и жил, как у породистого скакуна, и думала: нет!.. Она ведь тоже молода!.. Она ведь тоже может горы свернуть, оседлать этот мир — зачем она хоронит себя добровольно?! Она даже призвала всё свое знание английского (которым, кстати, когда-то владела лучше всех в экипаже, и именно ее ставили к микрофону, хотя она и не была старшим бортпроводником). Когда погас юпитер и Сноудена повели из кадра, она мобилизовала всю себя, и ринулась в слезах, и крикнула:

— I'm desperate! I'm vegetating in this world of mindless consumption! Call on me to follow you into battle! Together, we'll prove that a person is able to make history, and if there are two such people, and they are united by Love, then not just history but the very flow of time will run backward!¹

Сноуден обернулся, и она узнала актера.

Она часто смотрела ток-шоу, и многие, изображавшие массовку, примелькались. Да более того. На том самом «Пусть говорят» этому же (кажется) актеру досталась роль *vox populi* с темой «да-посмотрите-она-же-хочет-обобратить-богатого-мужика!». (Только прическа была другой.)

Всё опустилось в ней.

Дальше Генерозову ждала только старость.

¹ Я в отчаянии! Я прозябаю в этом мире бездумного потребления! Позовите меня с собой в бой! Вместе мы докажем, что человек способен творить историю, а два человека, соединенные к тому же любовью, могут заставить само время повернуть вспять!!! (англ.)

Татьяна Млынчик

Ледяная лошадь

— Как самочувствие? — Старший гид Гриша сверлил ее маленькими глазами. — Выглядишь как утопленница.

— Я в норме, — отрезала Юля. Хотя бы он перестал разглядывать ее: увидит Гарик, и начнется... Она обогнула Гришу и, втыкая перед собой палки для трекинга, продолжила движение вверх, стараясь напустить такой вид, будто ничего не произошло.

На самом деле в ее горле копошился зародыш плача. Дело было не в крутом уклоне горы Чегет, куда они взбирались второй час, не в горной болезни, из-за которой вчера прямо за столом на общем ужине плакала вторая девушка из группы Катя, и даже не в ноющих мышцах. Соль была в словах, которые десять минут назад во время привала произнес ее муж Гарик. После часа в пути, когда Гриша скомандовал: «На привал!» — вся группа плюхнулась на пластиковые сидушки-напопники и принялась раскручивать термосы, Гарик, скинув рюкзак, увлек ее подальше от ребят, за огромный, похожий на клинок камень. Юля достала телефон, чтобы сфотографироваться на фоне жгущей глаза зелени склонов, покрытых рододендронами, но Гарик взял ее за запястья.

— Если ты продолжишь... — он с дрожью в голосе сглотнул слюну, — если ты, сука, продолжишь тут выделяться перед Гришей и остальными мудаками...

Юля вздрогнула. Он уставился на мочку ее левого уха.

— ...то завтра останешься в гостинице! — И, тряхнув, кинул ее руки вниз, как грязную тряпку. — Услышала меня? — Повернулся и, спотыкаясь о кочки, покрытые горными травами, пошел прочь.

Она замерла за камнем. Пальцы на руках мелко дрожали. Стараясь глубоко дышать (дышать в горах надо было глубоко и часто), поплелась к остальным. Ребята фотографировались, со смехом обсуждали свои ощущения и слушали очередную байку Гриши. Гарик стоял на коленях рядом со своим рюкзаком и невозмутимо наливал чай в крышку термоса.

Тут-то Гриша и напал на нее с вопросом о самочувствии. За предыдущие три дня Гриша привык, что Юля идет во главе. Сам он бегал в конце колонны, чтобы подбадривать тех, кому было тяжелее других. В ряду гусениц совершенно неожиданно оказался Гарик.

Юля вышла замуж за Гарика пять лет назад. Гарик был ее первой любовью. Именно он потащил ее в поход. Хотел взойти на вершину Эльбруса, а Юле «показать реальную жизнь».

Гарик много и самозабвенно занимался спортом, готовился. С каждой зарплаты покупал что-то из экипировки, читал блоги.

— Вот это будет лето... — произносил он. — На Эльбрус легко зайти. Туда дети заходят и собаки. И даже лошади!

Юля потом посмотрела про этих лошадей. На фото упирающихся животных вели по снегу, с черными повязками на глазах, в рамках акции по сохранению породы. «Сохранение породы» — про себя повторила Юля и поскорее закрыла страницу.

Во время первого выхода к горной обсерватории Гарик встал за Гришей, а Юле покровительственно посоветовал не рвать. Но через час его обогнали сначала трое других парней, а потом и все остальные. Он всё не мог отдышаться. Лицо покрылось багровыми пятнами, а крылья носа воинственно вздымались. Юля протянула мужу бутылку воды.

— Тяжело?

— Пошла! — рявкнул он, и она подчинилась. Трогать его сейчас не стоило.

Иногда он таким приходил с работы. Запирался в ванной. Включал воду и черт знает, что там делал. На стук не отвечал. Как-то Юле из-за этого пришлось идти в туалет к соседям. Выходил и спрашивал: «Что на ужин?»

А она ставила на стол тарелку с котлетой или суп.

«Как дела?» — начинала она. «Ровно». — он ел, не отрывая глаз от телевизора.

И она шла в комнату под бра, читать. Нет, в большинстве случаев он был нормальным мужем: никогда не пропадал с выключенным телефоном, редко пил. Лежали вместе на диване, смотрели кино, и он обнимал ее большой рукой, а если она засыпала, переносил в кровать.

В первый день похода Юля поднялась к обсерватории раньше других. Держала крышку с чаем, как кубок победителя, пока ребята со столами сбрасывали рюкзаки. На нее косились с уважением. Гарика не было видно. Наконец его красная куртка показалась из-за холма.

— Ты как? — Она смотрела, как он отдирает от штанины шарик репейника. Ему протянули «Сникерс», но он жестом отмел подачку.

Вечером Юля опять заговорила, соврала, что еле поднялась, но он включил телевизор, а потом закрылся в ванной.

Утром поцеловал ее, на завтраке подсел к другим парням и принался энергично с ними болтать. На выходе она решила не нервировать его, пошла без спешки. И снова убедилась в том, что может многое: тело переключалось на какую-то особенную скорость и плавно несло ее выше и выше в горы. Она смотрела вниз, часто дышала, но не переставала улыбаться.

А потом вдруг эти его слова за камнем. Она подождала, когда Гарик пройдет вперед, и тихо пристроилась вслед за мужем. Решила не геройствовать. А потихоньку наладить отношения. И он оттаит. Всегда оттаивал.

Как назло, рядом возник Гриша.

— Гарик, а вы спортом занимаетесь?

— Угу.

— Зал?

— Борьба, — ответила за Гарика Юля. — Он на борьбу ходит.

Гарик смачно плюнул в траву.

На следующий день группа переехала в высотный лагерь. Во время шестичасового выхода на скалы Пастухова они отстали. На спуске Гарик без сил упал на снег. Она помогла ему подняться.

— Долго еще? — тихо, но требовательно прямо ей в ухо выдыхал Гарик. Дыхание у него было несвежим. От долгой физической нагрузки такое случалось, Юля это знала. Но сказать не смела. Юлино плечо ныло под тяжестью его тела. Мимо носились укутанные, как бедуины, снегоходчики. Один затормозил.

— Эй, красавицы, — крикнул он, — давай домчу!

Губы Гарика посинели.

— Гарь, давай, а? — ласково спросила она.

— Пошел на хер! — прохрипел Гарик, и Юля спешно махнула бедуину.

— Сука! — Гарик в который раз за сегодня обозвал ее. — Чего ж ты, догони его!

«Ничего, — думала Юля, — это всё горняшка».

Главное — довести его до теплого домика столовой. Отпить чаем. Но в столовую Гарик не пошел, а стянул с ног кошки, зашел в домик и залез в спальник.

— Гарь, давай я супу сюда принесу, а?

— Юля, можешь выйти вон?

В столовой группа обсуждала предстоящее восхождение.

— Где Гарик? — сразу спросил Гриша.

— Ему плохо.

Ребята наперебой загудели, тараторя, что нельзя лежать, надо поесть, стали сыпать советами новоявленных альпинистов. Юля оборвала их.

— Слушайте, ему худо. Правда. Не так, как вам. Больше морально. — Она взяла ложку и окунула в маслянистый суп. — Он долго готовился, тренировался.... Ему обидно... — Юле не хотелось оговаривать мужа в присутствии чужих людей, но огордить его от назойливых советчиков, которые готовы были сейчас же волочься в домик и уговаривать его есть суп, было необходимо.

— Можно тебя на пару слов? — сказал Гриша.

Они отошли к окну, через которое были видны обе вершины Эль-бруса.

— Гарик как, восхождение всё еще планирует?

— Я не знаю, Гриш...

— Пойду от своего опыта и скажу, что не рекомендую ему делать попытку. Он неважно переносит горную болезнь, и, боюсь, наверху ему может стать действительно паршиво.

— То есть то, что происходит сейчас, это еще не паршиво?

— Если у него начнется отек легких или что-то с головой там, выше... Вы же в отпуск сюда приехали, а не для того, чтобы заработать хронические болезни. Вы оговаривали восхождение?

— Ну как оговаривали... Он восходить приехал.

— А ты?

— А я что? Я как он.

— Вот ты к восхождению готова. Хочешь, я с ним поговорю? Вечером, когда отлежится?

— Лучше не надо. Мы сами...

Через два часа Гарик проснулся и вышел из домика. Он щурился на заходящее солнце. Юля сидела на ступеньках с книжкой.

— Юлька! — он улыбался. — А где суп?

— Гарь, надо поговорить.

— Ты о чем?

— О восхождении.

— А что с восхождением? Я начинаю из лагеря. Парни не поймут, если на ратраке поеду.

— Тебе ведь было не очень. Весь поход.

— К чему это?

— Может... — она запнулась, — может, не стоит в этот раз... Подниматься?

— Ты что, прикалываешься? По-твоему, я вбухал сотку в эту поездку и не пойду на вершину из-за тошноты? Да я туда на зубах поползу, если надо будет!

— Гиды сказали, что нам лучше остаться.

— Чего-о?

— Того. Гиды сказали, что нам не стоит рисковать, Гарь.

— Срать я хотел на риск! Тебе это кто сказал? Гриша? — Он пнул валяющуюся на снегу железную кошку и зашагал в сторону столовой. Через полчаса проследовал в домик мимо Юли, которая так и продолжала сидеть на ступеньках.

— Что он сказал?

— Завтра идем вместе со всеми. Что он еще мог сказать? Не знаю, что ты там напридумывала.

Вечером Гриша поймал ее у туалета.

— Юль, смотри. Спорить с Гариком я не стал. Всё покажет гора. Поидете сразу отсюда, старт в полночь. Я с группой тех, кто хочет начать выше, поеду на ратраке. В три часа буду ждать вас на пяти тысячах. У вас будет свой гид. Мой прогноз: около четырех, как и вчера, Гарик станет плохо и, скорее всего, надо будет разворачиваться. У него боевой настрой, и я не могу лишать его попытки. Тебе советую не бросать восхождение. У тебя есть потенциал. Но вначале главное — следить за мужем очень внимательно. И как только он поплывет, уговаривать разворачиваться. Постоянно на него смотреть. Поняла?

— Да.

— Наблюдай за ним!

Из лагеря Юля, Гарик и этот новый гид выходили в свете налобных фонариков, под ледяными звездами. Через четверть часа после старта небосвод стали заволакивать облака.

Юля пошла последней, непрерывно глядя на гамаша Гарика, шагавшие впереди. Сначала его ноги двигались смело, затем всё спокойнее и спокойнее, будто под водой. Гарик шумно дышал, а потом стал покрикивать от напряжения. Пошел снег. Юля натянула на глаза маску. Гид крикнул достать ледорубы. Гарик справился быстро, а Юля копошилась с ремешками рюкзака.

— Я догоню, — крикнула сквозь ревущий ветер, а они плавно развернулись и пошли. Ее рука, которую пришлось вынуть из перчаток, никак не хотела пролезать обратно. Еще ледоруб выпал и исчез внизу. Из-за пуховика быть ловкой не выходило. Шарила по снегу, как черепаха. Ледоруб нашелся под ногой, она подняла глаза. А вокруг...

Вокруг был сплошной белый шум. Выключила фонарик в надежде заметить светлячок Гарика, но во тьме не видела даже своих рук.

Она сделала несколько шагов в направлении, в котором они ушли. Так и надо подниматься, пока не нагонит. Видимость падала. Глаза словно закрашивали серым фломастером. По правилам нужно остаться на месте и ждать. Постояла с пять минут. Мороз коснулся ее взмокшего тела. Она вспомнила слова Гриши про потенциал и решила идти напрямик, без завихрений. Рано или поздно дойдет до ратраков.

Шла и шла, ее маска запотела. И вдруг шаг, другой, снег стал глубже, и ее потащило, она свалилась и заскользила вниз, быстро, очень быстро. Петли палок слетели, одна — вместе с варежкой. Потом грохнуло в спину, фонарь погас, а кошка на правой ноге вошла в узкую щель. Вторая нога зацепилась выше, и Юля знала, что начини она дергаться, вонзит кошку в себя. Рюкзак съехал и оказался над головой. Вокруг было так темно! Она крикнула, но вопль сожрала ледяная тьма, как если бы она орала в подушку. Трещина. Фонарь был на голове, и она включила свет.

И тут перед взором Юли раскрылось нечто, вмиг отрешившее ее от физического ужаса. Осталось только ее лицо, обращенное к освещенному ледяному чертогу, внутри которого парило нечто черное.

Гигантская лошадь с развевающейся гривой в окружении тысяч мерцающих былинки, разрозненных частиц огромной древней тайны, застывшая в глыбе льда прямо перед ее телом. Глаза лошади были блаженно прикрыты. Юля коснулась льда голой рукой. Он обжег ее. Она крикнула:

— Что это за херня? Где я?

Сунула руку в карман и поняла, что телефон на месте. И не разбит. Датчик связи показывал три палочки! Она набрала Гришу. Он ответил сразу. Выслушала, что он ей сказал. Потом зашла в сообщения и напечатала:

«Я ухожу от тебя, Гарик».

Нажала «отправить» и включила музыку. Моррисон стал баюкать ее, щеки остывали, и она проваливалась в тягучий сон.



За омываемым косыми лучами вечернего солнца столом, на фоне стеклянной стены с видом на скалы Пастухова невыносимо галдели несколько десятков школьников из туристического клуба. Юля держала в руках синюю плетеную веревку и, перекрикивая гомон,

объясняла детям, как вязать альпинистские узлы. Мяла веревку в руках, делала петли, восьмерки и хитрые витки. Неспешно прохаживалась вдоль ряда маленьких спин: где-то показывала, как поправить, кому-то благосклонно кивала.

— Утомились? — шепотом спросил симпатичный очкарик-учитель возле входа в гостиничный домик, когда после окончания урока она вышла, накинув на плечи огромный арктический пуховик. — Ребята у нас гиперактивные. Кричат, аж в ушах звенит.

— Бросьте, я с удовольствием... Сама от них зарядилась, — улыбнулась ему Юля.

— Ваши, наверное, уже взрослые, — парень силился поджечь сигарету.

— У меня нету своих.

— Серьезно? А я читал, что у вас несколько...

— Журналисты, — усмехнулась Юля. — Чего только не понаписали после Эвереста.

— Воображаю! — Он наконец прикурил, выпустил носом дым. Немного помолчал, а потом спросил: — А правда, что история ваших восхождений началась с падения в трещину?

— Правда. Это во-он там было, лет двадцать тому назад, — Юля указала на снежную долину километрах в пяти выше домика.

— И как там, в трещине?

— Что? — переспросила Юля. Обычно люди спрашивали, как ее искали, вытаскивали, реанимировали: о подобном.

— Увидели что-нибудь в глубине льдов? — Учитель раздавил бычок о край урны и поежился. Кончик его носа покраснел от мороза.

— Увидела, — в отражении Юлиных глаз мерцали сахарные горные пики.

С неба повалил мелкий снег, и Юля вдруг спросила у парня сигарету.

Георгий Панкратов

Ущерб

Вадим жил с гражданской женой Вероникой уже седьмой год. Не расписался — и так нормально. В последние месяцы всё больше сидел без дела — он был отделочником, но не котировался слишком высоко. Одна работа кончилась, другой не предлагали. На меньшие деньги идти не хотелось. Так, разве подхалтуривал иногда и листал газеты. Чем заняться еще, он не знал: в тридцать восемь поздно было искать что-то новое, как он говорил, рыпаться. В общем, жил в ожидании лучших времен.

Иногда что-то делал по дому, встречал, провожал жену. Та крутилась в офисе, «с бумажками», как объяснял мужикам Вадим. О работе жены он не знал ничего, и ему было неинтересно. Отношения с Вероникой были нормальными — не в том смысле, что без проблем, а в том, что без искорки: ну, не искрилось между ними после стольких лет. Но и Вадим, и Вероника поступили так, как поступают все: забили на это. Что же, расходиться теперь, если нет искорки?

Развлекаться Вадим не умел, а у жены не было времени. Иногда гуляли в ближайшем парке. Вадим стоял на балконе и докуривал, осматривая двор, Вероника осторожно открывала дверь и предлагала: «Пойдем?» — «Ну пошли, чё», — отвечал Вадим, и они выходили на улицу. Приближался Новый год — хоть и через месяц только, а думать уже надо: как отметить, где деньги брать, сколько... Да и просто можно было фантазировать, представляя, как на несколько долгих и сонных дней всё вокруг станет хорошо. Сказочно.

— А, вспомнила, — сказала Вероника по дороге. — Надо в офис смотреть за документами. Завтра ж к этой... — она выругалась, — через весь город переться. Вставать рано. А я их забыла, вот дура!

— Да езжай ты с утра, — вяло возразил Вадим. Он не любил, когда планы менялись и вместо приятной прогулки вырисовывалась какая-нибудь суета.

— Ну Вадим, ну чего ты... Это мне в пять утра вставать надо. Как маленький. На автобусе доедем — полчасика, и свободны.

— Ладно, поехали, — безучастно сказал Вадим, и они отправились на остановку автобуса.

Народу стояло немного, видно, недавно был, решил Вадим и закурил. Вероника закашлялась, и он отошел чуть подальше.

— Вот подарю тебе на Новый год никотиновый пластырь, — шутила Вероника.

— Не-не-не! — бурно возразил Вадим и пояснил, где он видел такие подарки.

— А тебе-то че подарить, а, любимая? — спросил он, изобразив задор.

— Платье бы, — раздумчиво сказала Вероника. — И сапоги хорошо б новые, этим капец уже.

Вадим промолчал, прикидывая.

— А вообще давай друг другу не дарить ничего, — предложила Вероника. — Сэкономим. Съездим к маме, погостим...

— Ой, нафиг надо, — скривился Вадим, — к маме твоей... Давай у нас лучше. Чего у нас, плохо? Фейерверки позапускаем.

— Ага. — Вероника поднесла руки к лицу и шумно выдохнула в них, а потом задумалась о чем-то и улыбнулась, взглянула на Вадима добрым взглядом. — Скорей бы.

— Скорей бы автобус, — буркнул Вадим и направился к урне. — Хабец выкину.

Подходя к урне, Вадим краем глаза заметил, как грузовик на противоположной стороне улицы стал разворачиваться — остановка находилась на перекрестке двухполосной улицы не с переулком даже, а с узенькой асфальтовой дорожкой, по которой завозили продукцию в ближайший универсам.

«Ну и как он тут проедет, дятел?» — подумал Вадим, и вдруг эту мысль перебила другая, шальная и страшная. Его обдало холодом, словно кто-то швырнул в лицо снега, и он обернулся. Пытаясь уйти от удара с «дятлом», прямо в остановку неслась черная иномарка. И в этот же миг всё вокруг стихло, только кружились в желтом свете фонаря снежинки.

Вадим повел себя странно: он не бросился к остановке сразу же, не закричал — он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, и долго стоял так, считал в уме. Когда наконец двинулся к месту происшествия, вокруг уже толпились люди, кто-то бестолково суетился и причитал, кто-то щупал пульс. Жена лежала как живая, только мертвая. Немного крови на висках — и всё. И в руках сумка.

Неподалеку остановилась разбитая иномарка. Один бок сильно помят, но другой, где находился водитель, остался невредим. За рулем сидел крупный человек в очках, бритый наголо, в сером пальто. Его лицо не выражало никаких эмоций: он смотрел прямо перед собой и не шевелился.

— Я убью тебя, сука! — заорал Вадим, бросившись к кабине. Стучал по стеклу кулаками, затем водитель опустил стекло. — Что ж ты сделал-то?! Что же ты сделал?..

Потом были похороны. Точнее, была кремация, но русский человек не скажет «был на кремации», он всё равно скажет «на похоронах». Вадим потратил все деньги, найденные в доме. Народу было немного — в основном девчонки с работы да ее родители. Они Вадима не любили. Жил он с женой, правда, в своей квартире, так что съезжать никуда не пришлось. Но, кроме этой квартирки, доставшейся от родных, у него ничего не осталось.

Началось долгое разбирательство. Вадим ходил в суд неохотно — для дачи показаний, пару раз. Уже в первый день мужчина из иномарки, всё в том же сером пальто, выказал желание поговорить. Они зашли в пустой зал и долго сидели, молчали. А потом водитель резко, безо всяких предисловий, предложил ему взять миллион рублей.

— Ты что же, сука, откупиться хочешь?! — взревел Вадим.

— Видишь, — спокойно сказал водитель, — я не то чтобы очень богат, но есть деньги. Пусть следствие покажет, виноват ли я был... там. Я не зверь, так вышло случайно. Если надо, то я присяду.

— Присядешь, гнида, еще как присядешь!

— Но перед Богом я всё равно виноват... Я просто хочу помочь. Это не то что моральный ущерб, как говорят... Да, никакими деньгами... Понимаю, что я сделал, натворил. Что это никак нельзя исправить, что мне теперь жить с этим... Это единственное, что я могу сделать. Не самому же под колеса...

— А не мешало бы! — крикнул Вадим, направляясь к выходу. — Пошел ты! Засунь себе в жопу, понял?

— Придешь в следующий раз, сообщи реквизиты банка, — устало сказал водитель.

«Ущерб! — думал Вадим дома. — Ишь ты, ущерб!» Ему не нравилось это слово: так его дразнили в школе. Кликуха такая была, у всех разные. У него вот — Ущерб. Вспоминать было неприятно.

Когда снова пришел в суд — дал номер счета, и в тот же день ему перевели миллион.

Потом он весь вечер тупо пялился в ящик. Думал мучительно: «Как потратить деньги, чтобы не оскорбить ее память, чтобы с умом, или вложить во что-то. Но во что?» И еще вдруг подумал с горечью: «Как она была бы рада! Перед самым Новым годом — миллион!»

Сразу postanовил для себя: не бухать. Ни в коем случае. Но в первый же вечер навалилась такая тяжесть, что оставаться трезвым было невыносимо. Он отправился в бар и пропил двенадцать тысяч рублей.

«Ничего, — думал, — скоро выйду на работу. Отработаю, доложу обратно. Буду считать, что свои пропил. Считаю, взял в кредит. Или в долг. У мертвой жены в долг...» От тоскливых мыслей хотелось напиться еще сильнее, чтобы забыть их.

Но наутро навалилось такое похмелье, что Вадим понял: он может банально сдохнуть. Не от горя, а просто башка разорвется на части.

Так он провел две недели. Иногда звал старых приятелей, знакомых с прошлых работ. Иногда ночевал дома, подолгу перед сном глядел на ее фото, что стояло в рамочке на подоконнике, возле тощего цветка. Было тошно.

Потом была Лига чемпионов. Однажды, смотря под пиво матч, Вадим увидел в кадре красивых болельщиц. Вдруг почувствовал сильное желание — и просто никак не смог справиться. Покопался на сайтах и вызвонил двух женщин — сорока двух и сорока шести лет. Две стоили как одна, если моложе. Но Вадиму нужны были две. Раздался звонок в дверь, и он выключил футбол. Полночи занимался непотребствами, пока хватало сил. Бросив распаленный страстью взгляд на подоконник, увидел ее фото. Подошел, отвернул.

Назавтра Вадим осознал, что пить больше нельзя. Весь день мучался, проклинал судьбу, вечером сел за стол и подсчитал деньги: семьсот тысяч, всё оказалось не так плохо.

Новый год был совсем скоро. Было ужасно встречать его без Вероники, но он решил сделать подарок себе — если больше всё равно некому. А заодно, значит, и ей: может, видит с небес, порадует. Купил новый диван, плазму, новый мощный компьютер, остеклил балкон — купил материалы, вызвал рабочих. Подключил наконец кабельное телевидение — Вероника давно хотела. Еще четыреста тысяч осталось.

После праздников приезжали ее родители, поразились переменам в квартире. Хотели забрать вещи дочери — что-то из одежды, белья, мелочевку какую-то, но Вадим пожал плечами. «А я всё выкинул», —

сказал он простодушно. Чтоб отстали, пошел в комнату, отсчитал сто... потом передумал — пятьдесят тысяч. Триста пятьдесят положил в ящик, рядом с паспортом и ИНН.

А потом Вадим обнаружил, что у него совсем нет одежды, обуви — и тут же отправился в магазин. По дороге обратно купил хороших продуктов — целую огромную тележку в гипермаркете. Еле дотащил. Пока тащил, подумал, что неплохо бы автомобиль. А что, вложение неплохое. Да только вот какой? На двести семьдесят тысяч особо не выбираешь...

Сговорился с мужиком на сайте «Авито». Мужик оказался ничего, работяга, поняли они друг друга быстро.

— Нормальная? — спросил Вадим, кивая на машину.

— Нормальная, — кивнул мужик.

После недолгого осмотра ударили по рукам. Осталось еще двадцать тысяч и несколько сотен, и, доехав на новом авто до дома, Вадим отправился в ночной ларек и взял пивка. Не торопясь зашел в подъезд, выругался — как всегда, там было темно. Вспомнил, как Вероника просила вставить лампочку. «Да чё ее ставить, — резко отвечал Вадим. — Сразу же упрут».

В темноте сверкнули огоньки сигарет — и пара быстрых ударов свалила его на пол. Вадим просто даже не успел ничего понять. Последнее, что слышал, — гнусавый голос:

— Двадцак и мелочь.

— Нормально! — ответил второй, такой же.

Очнувшись, побрел домой — умылся, упал на диван, отоспался.

Наступала весна. Деньги кончились, даже те, что удалось выручить с продажи плазмы и компа. Спустился к почтовым ящикам, достал газету, нашел номер. Позвонил.

— Ребят, отделочники нужны? Нормальный, много не пью.

На следующий день пришел на объект — просторную квартиру с множеством окон, большой кухней, несколькими комнатами и двумя — Вадим присвистнул — туалетами. Прораб коротко обрисовал задачу, познакомил его с другими работягами. Мужики вроде нормальные, подумал Вадим. Оставалось дожидаться босса, чтобы решить по деньгам.

Когда в квартиру вошел человек в сером пальто, бритый наголо, в аккуратных очках с золотистой оправой, Вадим уже не чувствовал ничего. Он не вскочил с места, не бросился с криком: «Ты, сука!» Нужны были деньги, нужно было работать, жить.

Они только обменялись взглядами — короткими, выразительными.

— Смотри сам, — выдохнул мужчина.

— Ничего, — шмыгнул Вадим. — Нормально.

— Ну ладно, — сказал мужчина. — Работай.

Прораб на будущей кухне уже дожидался его: нужно было решить по деньгам.

Антон Ратников

Оперативная съемка

Сижу в редакции. Никого не трогаю. Борюсь со сном.

Тут приходит редактор и всё портит своим занудством.

— Так, — говорит, — какие есть темы на сегодня? (Умник.)

— Никаких, — отвечаю честно.

Редактор ослабил узел галстука. Смотрит ехидно. Щурится.

— У меня тут бумажка из центра. Рекомендуют оптимизировать штат корреспондентов...

Знает, чем меня взять.

— Что-нибудь, — говорю, — нарою.

— То-то же.

И ушел. А я остался наедине со своими мыслями. Вылетать из издания что-то не хочется. Придется работать. Набрал телефон одного знакомого адвоката.

— Есть у вас что-то интересное? Хлесткое? Чтобы дух захватывало?

— Тут недавно следователи папку с делом клиента потеряли. Искали три дня. А оказалось, у следака в машине под сиденье завалилась.

— Забавно. Но в рай на дохлой кобыле не уедешь.

— При чем здесь кобыла?

— Так. К слову. Бывай.

Звоню другому. Он тренером в футбольной команде работает. Команда, правда, плохая. Из нижних дивизионов.

— У нас, — говорит, — был случай. Полкоманды чем-то отравилось на базе. С горшка сутки не вставали.

— Интересно. И кто виноват?

— Сами не знаем. Если б узнал, попросил бы еще раз наших отравить. После этого три игры подряд выиграла!

Наконец попал на третьего мастера. Работает в пресс-службе у силовиков. Уже и не помню, как его ведомство называется. Какое-то там управление.

— У нас работа сволочная, сам знаешь... Правда, вот сегодня вечером одно дело намечается... Будем шлюх гонять.

— Шлюх?

— Ну. Больно много борделей в городе трех революций открылось. Пора закрывать.

Я спросился с ними. Знакомый засомневался.

— Может, тебе лучше материалы потом скинуть?

— Ничто не заменит человеческие живые эмоции.

— Эмоции — это будут...

В общем, сговорились.

Вечером меня подобрали у метро. В небольшой «тойоте» поместилось двадцать пять человек. Ну ладно, чуть меньше.

— Мишаня, — протянул мне руку один оперативник, самый близкий. Он курил, орудуя лишь языком и губами. Сигарета так и плясала у него во рту.

— Стас, — сказал я почему-то.

— В первый раз?

— Да, — ответил я, хотя был не в первый раз.

— Баб не лапай, — дал Мишаня дельный совет.

— Само собой.

— Был тут у нас один журналист. То же самое говорил. А потом смотрю — зажимает уже одну в коридоре.

— Это каким же надо быть извращенцем!

— Почему извращенцем?.. Парня можно понять: жена, дети...

— Ну ладно.

Машину болтало на кочках. Мимо проносились дома, деревья и станции метро.

— Куда едем-то?

— Секрет.

Я решил воспользоваться болтливостью Мишани.

— А может, — спрашиваю, — у вас какие-то истории были? Ну, так сказать, из практики.

Мишаня ловко достал губами сигарету из нагрудного кармана.

— Конечно, были. Как же без них, без случаев...

— Расскажите.

— Не могу, тайна.

— Эх.

Но Мишаня не думал останавливаться.

— Вот, например, на прошлой неделе. Приехали один бордель закрывать. Там, значит, африканские были красотки. Приехали, а там,

оказывается, черный ход. Во всех смыслах, понимаешь, этого слова. Так оттуда все ломанулись. Без одежды, голышом, кто во что горазд. Так и бежали черные по снегу белому, — эту фразу он почти пропел. — Догнали мы их. Хотя не просто черных в ночи ловить...

— Да, — сказал я, — сложно...

Наконец приехали. Двор, каких сотни. Что-то пятиэтажное, за ним что-то девятиэтажное и так по нарастающей. Сугробы возвышались, как статуи в Летнем саду. Прыгала с ветки на ветку синица.

— Держись позади, — предупредили меня.

Я, честно, и не собирался лезть во фронт.

Поднялись на третий этаж. Позвонили в квартиру. Самую обычную с виду. Но какой ей еще быть? Реакции на звонок не было.

— Хорош! — крикнул Мишаня. — Если не откроете, вынесем дверь нафиг!

Дверь тут же открылась. Там стояла бабуля в замызганном костюме. Вид у нее тоже был замызганный. Больше всего она напоминала кухарку, из числа тех, что никогда не будут управлять государством.

— Принесло вас, касатики, — сказала она с осуждением.

Касатики отгеснили ее.

Я вошел последним. Квартира походила на обычную коммуналку. Пахло прокисшей едой. Везде на веревках висели какие-то вещи. В основном колготки и трусы — не очень сексуальные. Стены украшала коллекция тазов и тазиков. Всё походило на инсталляцию в музее. В углах стояли неразобранные чемоданы. А в прихожей, среди зимних сапог, попадались истоптанные, но милые девичьи туфельки.

Женщины уже сидели в одной комнате. Лица их выражали тоску. Вроде: ну опять. Я насчитал четырех. Одна — старая и полная, похожая на доярку, сидела в кресле в оранжевом халате. Рядом с баром, в котором хранились початые бутылки виски и мартини. Другая, самая симпатичная, рыженькая, стояла у окна, стряхивая пепел с сигареты в щель. Еще две сидели на диване и тоже курили. Выглядели они стремно. Одна совсем худая, с впалыми щеками, без косметики. Вторая наоборот — намалеванная, как клоун из фильма «Оно».

— Оперативная съемка! — сказали им, и женщины стали прятать лица.

— Будем протокол оформлять, — сказал Мишаня. — У нас, кстати, пресса. Так что не буяньте.

— Кто тут пресса? — вдруг стреманулась рыжая.

Я отчего-то испугался.

— Ну я...

— Вы напишите лучше, как снег в городе не убирают. Пройти невозможно. Свинство! Снегоступы все раскупили в аптеке. Я сегодня на работу шла — два раза грохнулась. Записываете?

Я поспешно достал блокнот.

— Так...

— Пишите-пишите. На коммуналку опять тарифы повысили. Так и тянут из нас все соки. Скоро проезд повысят. А всё знаете почему?

— Почему? — спросил вместо меня Мишаня.

— Потому что американцы всем заправляют. Американцы!

Она хотела еще что-то сказать, но ее отвлекли протоколом.

Дальше началась какая-то возня, которую обычно описывают словами «оперативные мероприятия».

Я подошел к знакомому из пресс-службы.

— Можно с кем-то поговорить?

— Нежелательно.

— А что?

— Нет, ты записывай. Но нежелательно.

— То есть записывать можно?

— Можно. Но нежелательно.

Я подошел к беленькой, сидевшей на диване. С ней вроде уже закончили.

— Кыш, — сказала она, отстраняясь.

— Пара вопросов... Я, собственно, о вас хочу написать. Вы мне интересны как личность.

— Пошел в жопу.

— Понял.

Вторая, худенькая, была какого-то непонятного цвета. Цвета отчаяния, что ли.

— Началось, — вздохнула она, закатывая глаза. Как будто она звезда, которая постоянно раздает интервью.

— Я надолго не отвлеку.

— Вас, мужиков, обычно надолго и не хватает.

— Вы откуда?

— От верблюда.

— Seriously. Откуда приехали в наш город?

— Сам ты приехал. Я петербурженка! — сказала она не без гордости, поднимая остренький свой подбородок.

— Здорово. Я тоже местный. Где росли?

— На Гражданке.

— Ого. И я...

Мы посмотрели друг на друга. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло во взгляде.

— С какой улицы? — спросил я.

— С Тимуры.

— Тимуры? Не в сто девяносто девятой школе училась?

— В сто девяносто девятой!

— Юля... Никифорова?

Она всмотрелась в меня так пристально, будто хотела дыру пробурить.

— Никитина вообще-то.

— Ну да. А я как сказал?

— А ты кто?

— Неужели не помнишь? Девятый класс. Огороды. Озеро. Катались на лодке в парке.

Юля задумалась.

— На лодке каталась. И не раз.

Я назвал свое имя и стал приводить ей общих друзей, знакомых, какие-то события... но она ничего не помнила. А ведь эта Юлька Никифорова, в смысле Никитина, у нас была чуть ли не звездой школы. Училась на класс старше. Все мальчишки были в нее влюблены. Заводная, красивая. Смеется, глазки блестят.

И я в нее влюбился. Но всё бесполезно. У нее оказались ухажеры поинтереснее. Антон Петров, скажем. Он притогровывал наркотой, гонял на тачке. Она с ним и гуляла. Потом ее пути как-то затерялись. Вроде она переехала. Или я?

Я вдруг осекся. Не будешь же спрашивать, как дела... И так понятно как.

С другой стороны, думаю, хорошо, что она меня не помнит.

— Может, скажешь чего-нибудь?

— Не помню, чтобы мы на «ты» переходили.

— Скажете...

— А что тут скажешь? Придется опять штраф платить.

— Дети есть? — спросил я почему-то.

— Двое. У бабки.

— Ясно.

— Ну пока.

Я отошел. Забился в угол. Вот, думаю, как бывает.

Мишаня хлопнул меня по плечу.

— Знакомая?

— Ага.

— А я в прошлом году одноклассницу сына так встретил. Смешно было...

— Смешно.

Я прогулялся немного по комнатам. Беспорядок страшный, какие-то носки кругом...

Через двадцать минут засобирались обратно.

Девушки одевались — их должны были доставить в участок. Я снова увидел Юлю. Куртка висела на ней какими-то лоскутами. Она напоминала брошенное кем-то пугало.

Я подошел к ней.

— Слушай, если тебе нужна какая-то помощь...

Она вдруг посмотрела на меня как-то иначе.

— Помню. Огород. Озеро. Ты бутылку вина припер. Хванчкара тульская. Хорошо покатались.

Она хлопнула меня по плечу, как Мишаня.

— Чао-какао, — говорит.

И пошла.

Домой ехали молча. Мишаня всё так же упорно курил.

— В следующий раз с нами? — спросил знакомый из пресс-службы.

— Посмотрим, — говорю, — вдруг еще кого-то из знакомых встречу...

И они все засмеялись.

Женя Декина

Фантомные боли

В школу его привела испуганная мама. Она жила в другом городе вместе с новой семьей, а Никиту воспитывала тетка, но по такому случаю мать взяла отпуск без содержания и приехала. Долго плакала у Софьи в учительской. Софье уже здесь следовало насторожиться: Никита сменил восемь школ, у него постоянно случались конфликты с одноклассниками.

Софья ждала подленького задиру, но Никита был на удивление неглуп, улыбчив, хорошо учился и легко находил общий язык с учителями. А через неделю его избили прямо на крыльце. Софья была поражена. Она постоянно держала руку на пульсе, знала все школьные секреты, контролировала все симпатии и антипатии и восприняла драку как личное оскорбление. Будто какой-то орган ее тела предал ее, выдал что-то неожиданное и непредсказуемое. Как если бы нога сама пошла не в ту сторону или рука сама кинула камень в окно.

Никита стучать не стал, и правильно сделал, но Софья уже через час знала все подробности. И не поверила.

Тихая Людочка клялась, что Никита нарвался сам, более того, сделал это специально. Толкнул курившего на крыльце Эдика прямо на урну. За что и получил. После долгой воспитательной беседы в присутствии Коляна Эдик пообещал не мстить. Через неделю Никиту избили снова. Теперь уже в столовой, где он, и Галочка клялась, что специально, пролил компот прямо Вору в кашу. В его любимую пшеничную кашу. И это Софья уладила. Но через пару недель Никиту избили посреди коридора парни из параллельного класса. Избили сильно, до больницы. Приехала мама, долго плакала в учительской и три дня не отходила от его постели. И только тогда Софья наконец поняла, что происходит.

Следующий урок обществознания был посвящен способам привлечения внимания. В том числе родительского. Углубляться в психологию Софья не стала, у большинства ее учеников и родителей-то не было, но Никите хватило. Вскочив с места, он с такой злобой посмот-

рел на Софью, что опешил даже Эдик, случайно уловивший этот взгляд. К Софье на уроки Никита больше не приходил. Зато в его отсутствие Софья успела накрепко внедрить классу мысль о том, что Никита — провокатор. Ему нужно, чтобы его били, потому что маму он видит только в больнице. И единственный способ избежать — не реагировать. Никита наглед, но больше его не трогали, улыбались в лицо на все его попытки поддеть или нарваться.

Теперь Никита не понимал, что ему делать. Слонялся по дому без дела, пробовал читать, учить уроки, помогал тетке с необычным рвением, но всё это было не то. Не было больше внутри какой-то надежды, радостной искры, которая вспыхивала внутри каждый раз, когда он думал о маме. Мама превратилась в недостижимую чужую женщину с фотокарточки на столе. Тетка каждый раз, прибирая, переставляла рамку на шкаф или вообще убирала в ящик стола, и Никита каждый раз пугался, что фотография пропала.

Решение пришло неожиданно. Как-то по пути из школы Никита заметил куривших у подъезда пареньков в трениках. Они пили пиво и сипло посмеивались. Никита посомневался, но всё же двинулся к ним:

— Есть закурить?

Парни опешили от такой дерзости, но закурить дали — подумали, что Никита какой-то положенец. Разве стал бы такой лошок в костюмчике подходить к «нормальным пацанам», да еще и спрашивать таким развязным тоном.

— И зажигалку, — сказал Никита, и стоявший рядом с ним протянул ему коробок спичек татуированной рукой.

Пришлось закурить. Никита закашлял от внезапно сдавившего горло дыма, пацаны переглянулись, посмеиваясь всё тем же крякающим смехом, но нападать не стали.

— Да ну нафиг, дебил какой-то, — услышал Никита, уже уходя.

Вечером Никита придумал кое-что посерьезнее. Подошел к пацанам посolidнее. Они ждали своей очереди в кафешке на заправке — за заправкой, в кустах, работали проститутки. Одна из них, старая и страшная, сидела тут же и нахально улыбалась пацанам. Но они не реагировали. Видимо, ждали очереди к другим, помоложе и приятнее. Никита подошел к самому крупному из парней и попросил телефон — мол, позвонить надо. Очень. Парень протянул ему дешевый «кирпичик», Никита кивнул рассеянно в знак благодарности и

тут же рванул из кафешки на улицу. Уже выбегая, он услышал, как раскатисто грянули смехом сидевшие пацаны. А на улице в окне он увидел, что тот, у которого он телефон украл, хохочет громче остальных и, смешно жестикулируя, пересказывает, что он в этот момент почувствовал. Смеялась даже официантка, а проститутка так и вовсе сползла под стул от хохота.

Никита ничего не понял. Он думал, что за ним побегут, будут бить, но они даже в его сторону не смотрели. Постояв на морозе, Никита сообразил, что теперь надо вернуться, причем без телефона, и тогда точно побьют. Он закинул телефон в сугроб и, вздохнув, вошел в кафе.

Парни встретили его новым приступом хохота, да таким громким, что Никите стало неловко.

— Я думал, ты слинял, — проговорил хозяин телефона. — Рванул, как на толчок. Клапан придавило, что ли?

Никита молчал. Парень протянул руку, но, окинув Никиту взглядом, понял, что телефона у него нет.

— Не, вы прикиньте! Он мой телефон в толчок уронил! Во рукожоп! — догадался парень, и все снова заржали.

Просмеявшись, парень снова повернулся к Никите и проговорил, улыбаясь:

— Иди, хрен с тобой. За такой ржач и телефона не жалко. Пацаны закивали.

Домой Никита пришел в растерянности. Тетка уже спала, оставив ему на столе ужин. И Никита жевал, пытаясь понять, что же ему теперь делать.

На следующий день вместо школы Никита отправился на рынок. По утрам там собирали дань фархатовские, и, по слухам, шутить они не любили.

Встав прямо перед ними, Никита протянул руку, чтобы украсть с лотка перец, но услышал за собой настолько суровый голос, что так и замер с перцем в руке:

— А ну!

За ним стоял бритый мужик в кожанке и сверлил его взглядом. Никита положил перец на место и отошел. Надо было придумать, как половчее подставиться. На следующий день Никита пришел на рынок снова и попытался украсть переспелую грушу. У него получилось. Потом он украл носки, ситечко для чая, крышки для закатывания

солений на зиму, кусок сала и моток бечевки. И не попался. Ни разу. На следующий день пришлось идти снова.

А еще через неделю Колян, к ужасу Галочки, опустил Никиту в туалете. На все расспросы Софьи Колян твердил, что ему приказал Фархат. Фархат отпираться не стал:

— Ему, тетя Сонь, опущенным лучше, хоть не прибьют случайно. Да и вам хлопот меньше.

В ответ на ее пламенную тираду, которая, в общем-то, теперь смысла уже не имела, Фархат пожал плечами:

— Каждому свое место.

Колян, в отличие от Фархата, поступка своего стыдился. Стал тише и перестал вмешиваться в школьные конфликты. Софья вызвала Никиту к себе, но разговаривать он не стал.

— Зачем ты это, а? — спрашивала она у него снова и снова, прохаживаясь по кабинету. Он молчал.

— Я хочу с ней быть. И всё.

Теперь шансов увидеть маму у него не было. Она жила там, своей чужой жизнью, улыбалась чужим людям, целовала других детей. Это было так обидно, что хотелось тут же что-то сделать. Только вот что, теперь непонятно. Тетке он пообещал себя не калечить еще в прошлом году, когда она застала его ковыряющим себе ногу перочинным ножом.

Приехать к маме тоже было нельзя. Ее муж в прошлый раз усадил его перед собой на кухне и проговорил сухо:

— С нами ты жить не будешь. Ты же псих. Детей мне поперекалечишь и меня ночью придушишь.

Никита уехал обратно, посмотрев на маму только издали, но зато он увидел, как она живет, вытер лицо ее полотенцем, пока мыл руки после туалета. И даже сунул себе в карман крохотный пробник от крема из какого-то журнала — мама такие пробники любила.

Дома он ожидал нагоняя от тетки, но та почему-то плакала.

Он подошел и встал в дверях растерянный. Хотелось спросить, что случилось, может, умер кто. Но он боялся, что тетка плачет из-за него и, если он подойдет, она раскричится. Он стоял и смотрел на маленькую сгорбленную фигурку у окна и удивился вдруг тому, какая тетка у него маленькая. Вытертая шаль, в которую она куталась, нелепо вздрагивала треугольными концами. И носки у нее дома всегда заштопанные и разные, потому что денег никогда нет. А из-под обод-

ка выбилась непослушная прядь тонких волос. И Никите так вдруг стало жалко эту крохотную женщину, несчастную, одинокую. И такая горячая волна стыда накатила на него за то, что она старается, работает изо всех сил ради сестры, чтобы у той жизнь сложилась. Чтобы хоть какие-то дети выросли нормальными, а не такими, как Никита. И сам-то Никита тоже хорош, нет чтобы пожалеть, помочь ей делать свое хорошее дело, слово доброе сказать, только огрызается постоянно и пакостит ей по-мелкому. И он подошел к ней и, нелепо раскинув руки, обнял, прижал и пригладил ее непослушную прядку, и она расплакалась совсем, и он уже сверху смотрел, как прыгают треугольные хвостики ее вытертой шали.

— Ну что мне еще сделать, а? Чем помочь тебе? — проговорила тетка и подняла на Никиту глаза.

И Никита почувствовал, как внутри у него всё обваливается, вся его нечеловеческая любовь к маме показалась таким выдуманым и нелепым туманным облаком, всё желание эту любовь заслужить — такой детской и наивной игрой, а одиночество его — непроходимым эгоизмом. Когда тут, рядом с ним, совсем под боком жила вот эта старенькая его тетя, которая, оказывается, не ради мамы старалась, а ради него. Его она любила, его принимала таким, каким он был: нелепым, мятущимся, глупым. И теперь даже, когда во всем мире не осталось ни единой души человеческой, которая не презирала бы его, она всё равно продолжала любить. И так горько и стыдно стало Никите, что и он разрыдался, уткнувшись в ее мягкую шаль, и тетка еще долго гладила его по голове.

Ирина Богатырёва

Там, за полем и за холмами

На следующий день, проснувшись, Любовь Сергеевна вышла на кухню и остановилась у большого окна. На улице было яркое, веселое, морозное утро, каких не случалось уже давно — весь декабрь стоял кислый, дождливый, бесснежный, и вот только к Новому году подморозило и выбелило, причем так, словно желало отыграть за весь прошедший втуне месяц и на месяц же вперед: пустырь и вся деревенская улица, крыши домов, так хорошо видные отсюда, со второго этажа, и деревья, поднимающиеся между ними, и лес, создающий линию горизонта, хотя не так-то уж он и далеко, этот лес, и песчаный яр, и дальше, всё спящее, замерзшее тело Волги, отсюда невидимой, но ощущаемой — или же Любовь Сергеевна просто знала, что она там, за темной полосой, так волнующе близко от ее нового дома, что по ночам, кажется, слышно, как она дышит, — всё это блистало и слепило белизной и чистотой, новым днем и новой жизнью, новыми надеждами, и Любовь Сергеевна с улыбкой смотрела на этот еще новый для нее вид из дома, о котором так долго мечталось, о котором так долго грезилось и к которому шли с мужем столько лет — и вот, наконец, построили и поселились, совсем недавно, буквально на днях, а потому и этот вид, и пока незнакомая, непривычная, а точнее — так крепко с юности забытая деревенская тишина, — всё это и радовало, и дразнило непременно обетованным счастьем. Любовь Сергеевна смотрела и улыбалась. Муж спал; спали и гости, разместившиеся так свободно в этом непривычно после городской квартиры просторном доме, что о них можно было невзначай и позабыть, — спали дети, и их супруги, и их дети, внуки Любове Сергеевны, и она, вдруг вспомнив о них, подумав о них, не поверила: откуда они взялись, из какого такого будущего, где она уже — и мать, и бабушка,

и хозяйка, и накануне отметила с мужем сорок пять лет свадьбы, пусть и некруглый, но всё же юбилей, где новый дом, большой и крепкий, пахнет свежей штукатуркой и магазинной мебелью, но сам по себе — как бы отражение, увеличенное годами и собственной фантазией, проекция другого, родительского дома, где она стоит у окна маленькой кухоньки, смотрит на морозную и заснеженную улицу и улыбается ей. Впереди жизнь, ей восемь или около того; семья ее давно проснулась — мать уже накормила скотину, папа уехал на работу в райцентр, сестра где-то на дворе, или, может, кормит кур, или, может, ушла к подружкам — а Любка одна в кухне, щурится на солнце и вытирает тряпочкой со стекла воду. В доме жарко натоплено, и двойные зимние рамы запотевают, и воду эту надо постоянно стирать, чтобы дерево не разбухло, а потом не потрескалось. Вот Любка и стирает, собирает тряпочкой, не зная, конечно же, еще ничего ни о пластиковых окнах, ни о досадной их «потливости», — дешевые стеклопакеты, самая невыверенная деталь в их современном и правильном доме, где всё подогнано, где всё просчитано, где всё так, как должно быть, и газовый котел сопит, разгоняя тепло, как кровь, по жилам дома, и вода, нагреваясь, течет из кранов в ванной и в душевой, а снизу, из подвала, из бани, поднимается труба, выводя наружу дым — дыхание дома, сны дома, — во всем этом стеклопакеты оказались самыми слабыми, выбранными впопыхах, без отдушки, они запотевают в морозный и солнечный день — «плачут», и влага стекает по стеклу на подоконник, и надо ее тряпочкой собирать, как когда-то, как раньше, подумала Любовь Сергеевна, и от этого вдруг зашлось сердце — а Любка тем временем еще ничего не знает ни о будущем этом доме, ни о семье и муже, ни о сыне, ни о дочери, ни даже об учебе в университете, ни о жизни в Прибалтике, ни о военном городке и скуке офицерских жен среди косых, исподлобья взглядов местных на них самих и на форму их мужей с советскими офицерскими погонами, ни о конце империи, ни о стоящем заводе, умершем, призрачном заводе, в котором так гулко идти, словно в брюхе погибшего, выброшенного на берег волною и сгнившего морского чудовища, а высоко под его ребрами вдруг взметнет крыльями стая голубей, разрезая луч света, и где бояться одичавших собак, по вечерам провожающих тебя по пустынной территории до самой проходной, как в детстве боишься волков, живущих за деревней и бредущих следом за тобой по заснеженному полю, когда бежишь к бабушке в другую деревню, которая там — за полем и за холмом.

Ты маленькая, идешь — черная точка на белом фоне, оглянешься — пустота, только солнце заливает снег, и вроде бы нет никого, но ты знаешь, что они есть, отец говорил, чтобы одна не ходила, он уже встречал в эту зиму волков, откуда взялись только, столько лет не было их у деревни, и вот появились, но он-то взрослый, его не тронут, а ты маленькая, ты не ходи.

Но Любка идет. Отважная Любка — у нее вся жизнь впереди, и она не боится волков. Оделась и идет себе, и ей весело в этот яркий, солнечный, морозный день, когда еще не надо в школу, и вообще еще ничего не надо ни ей от жизни, ни жизни от нее, — она выходит из родительского дома, маленького, крепкого, его строил до войны отец, построил, сходил на войну, отвоевал и вернулся, и потом всё еще что-то достраивал, чинил и пристраивал к дому, который стоит на холме — вся деревня на холмах, они растеклись, будто катили волны к Волге, но застыли, уснули, и теперь на них люди живут — на них Любка живет, и вот она вышла из дома, спускается с холма и идет по дороге к полю, через мосток и речку, где летом стирают белье, где вода быстрая и холодная, потому что совсем недалеко отсюда пробилась из-под земли и вот бежит и журчит — даже подо льдом слышно, и под обледенелыми досками мостика слышно, — журчит и бежит она к Волге, Любка знает, что все реки бегут к Волге, и она сама, кажется ей, к ней бежит и может до нее добежать, так весело ей, легко и морозно, так бы шла и шла до самой Волги, которая бесконечно отсюда далеко — от родительского дома далеко, но как же близко она будет потом от того, будущего, который предстоит построить с мужем, намечтать, замыслить и построить вместе, сбежав из городской квартиры, вернуться опять — в дом, где в морозное утро плачут окна, где печка и труба над крышей, и по трубе этой всегда ясно, жив ли дом, снится ли ему лето.

Но Любка об этом не знает; она спускается с холма, и переходит речку, и думает о Волге, и представляет ее берега так, как если бы глядела на них из окна, пусть даже не видно воды, но всё равно она есть, так близко, что слышно, как двигается подо льдом ее стылое тело, — и, думая так, Любка переходит мостик, а тут навстречу ей, вся в тумане морозного пара, в поседевшей от инея пушистой шали, сияющая морозным румянцем, — сама идет ее бабушка из той деревни, что за полем, холмом и волками, — идет навстречу и улыбается, еще радостная, еще такая живая. Здравствуй, говорит, Любунюшка, куда это ты одна пострекотала? — а Любовь

Сергеевна только улыбается ей, и слезы глотает, и молчит, и не знает, что ей отвечать.

Совсем не знает, что отвечать.

Игорь Масленников

Е. Г. путешествует

Птицы громко пели за окнами, хотя еще не рассвело. На тумбочке включился радиобудильник — сквозь сильные помехи зазвучала музыка. Е. Г. подскочил на кровати, нащупал будильник, выключил его.

Он встал заранее, чтобы подготовить нужные вещи. В верхнем ящичке тумбочки нащупал пластиковый пакет, не спеша сложил в него смену белья, складной ножик, упаковку таблеток, документы — и аккуратно перевязал пакет шнурком.

Е. Г. подложил под спину подушку, полулег на ней и стал ждать. В палате стоял сладковатый запах лекарств и нездоровых тел, но Е. Г. давно привык к нему и не замечал. На кроватях, расставленных вдоль стен, похрапывали шестеро его соседей. Из коридора и соседних палат раздавались неразборчивые ругательства.

Скрипнули двери. Кто-то зашел в палату, нажал выключатель на стене и вышел. Загудели лампы дневного освещения. Некоторые мужчины в палате проснулись.

Е. Г. умылся над тазом, не сходя с кровати. На завтрак он съел немного каши и половину яблока. Когда он отставлял тарелку, кто-то погладил его по плечу. Он обернулся и услышал улыбающийся голос Тани:

— Здравствуйте, Е. Г.

— Здравствуй, Таня.

— Как у вас дела?

— В порядке, более-менее. — Сиплый голос Е. Г. как будто застревал у него в груди и в горле.

— Хорошо, понятно. Вы уже подготовились?

— Вроде бы да.

— Давайте тогда собираться в дорогу. Я поставила кресло-каталку рядом с вашей кроватью.

— Хорошо... Покажи-ка мне, где поручень... Ага, понял... Спасибо, здесь я сам могу, вот так...

Пока он перелезал в кресло-каталку, Таня рассматривала открытку, приклеенную над кроватью соседа Е. Г. На ней было большое дерево,

из-за которого ярко светило солнце. За столиком под деревом сидели три ангела, с крыльями и свечением над головами. Они улыбались и, казалось, тихо разговаривали. Из-за дерева выглядывал испуганный мужчина и подслушивал их разговор.

— Это с неба... спустились апостолы... чтобы известить... о рождении Иисуса... А за деревом... стоит Иуда, — заикаясь объяснил сосед Е. Г. Рядом с его кроватью, словно сапоги, стояли два ножных протеза.

Таня приветливо улыбнулась ему, развернула кресло-каталку и повезла Е. Г. к выходу.

— Давай там, Е. Г., удачи тебе! — сказал мужчина, рассказавший сюжет открытки. Остальные мужчины в палате не понимали происходящего и молчали. Их лица были бледными, а глаза большими. Дедушка, живший в палате третий день и чьего имени никто не знал, лежал на спине и смотрел в потолок.

На улице дул ветер. Е. Г. забрался в автомобиль, а санитар помог Тане уложить каталку в багажник. В автомобиле Е. Г. почувствовал приятное смешение запахов — женские духи, бензин и пластик. Таня завела машину.

Рано утром на проселочной дороге почти не было движения. Они проезжали реки со спокойным течением, церкви, мосты, пустые поля с изрытой землей, затопленные низины в лесах. Женщина на обочине ворошила граблями тлеющее сено.

— Я и в армии, и после армии работал шофером грузовой техники, — сказал Е. Г.

— А где вы служили?

— В Казахстане, на Байконуре.

— Расскажите?

— Знаешь, там очень резко-континентальный климат. Днем светит солнце так, что сгоришь, а ночью замерзнуть можно... Весной цветут тюльпаны — желтые, красные, фиолетовые, синие. Всё-всё поле покрыто цветами... А так вокруг солончаки, колючки. Бегают песчаные змеи... Бывает, начнется песчаный дождь, и тогда конец. Лучше оставаться в казарме в такое время. Весь день вьюга — она накрутит песка до самых высоких небес. К вечеру ветер затихнет — песок потом долго сыпется с неба.

— Песчаная буря.

— Песчаный дождь мы называли... Это восемнадцать километров от Сырдарьи, но смотря какими дорогами.

— Это река?

— Да.

— Понятно.

— У нас Туркестанский военный округ был.

— Там уже был космодром в то время?

— Да, а как же. Когда ракеты запускали, нам говорили: «Рота, строиться на режим». И мы выходили в степь и делали оцепление. Если она неправильно пошла, то они дают ей уйти достаточно, чтобы на население не упала, и сбивают. Я видел два раза, как ночью сбивали. Бабах! — всё небо освещается, во все стороны разноцветный огонь, всех радужных цветов. А если сбивают днем, то в небе просто белая вспышка и горящие обломки падают на землю.

— Красиво.

— Да. Это так сгорает гептил, ракетное топливо. Он, наверное, создает какое-то излучение, когда сгорает. Но я точно не знаю.

— Интересно.

— Мы там строили крупнейшую дамбу для запаса воды. Огромную. До нас ее строили и после нас тоже. Потом водохранилище заполнили от Сырдарьи.

— Там, наверное, электростанция была.

— Нет, там не было.

Е. Г. думал: «Приятно находиться рядом с ней. Даже когда мы просто сидим, молчим, всё равно приятно. Не обязательно даже разговаривать...»

— Мы ведь сейчас проезжаем Феоктистово? — спросил Е. Г.

— Да, точно.

— Я понял по круговому движению, почувствовал. Я здесь жил раньше. Ты знаешь, здесь в лесах много орешника. И водоемов тоже много. Есть природные водоемы — плёсы, и есть противопожарные.

— Почему вы спросили про Феоктистово? У вас от этого поселка приятные воспоминания?

— Приятные воспоминания? — вдруг с раздражением ответил Е. Г. — Какие там воспоминания. Где калым, там вино и курево. Там и женщины. Там и смерть в итоге. Вот все мои воспоминания.

Е. Г. закрыл глаза. Черты его лица осунулись, между бровей появилась складка; глаза под веками быстро двигались из стороны в сторону. В руках он сжимал пластиковый пакет со своими вещами.

Таня припарковала автомобиль. Е. Г. забрался в кресло-каталку, и Таня завезла его в помещение.

Он услышал перед собой плач ребенка. Слева то возникал, то пропадал сквозняк, когда открывали дверь. «Справа, наверное, стена, потому что никаких звуков не слышно, — подумал Е. Г. — А Таня стоит сзади».

Загудел грузовой лифт, и с грохотом открылась металлическая дверь. Женщина прокривала из лифта:

— Иванова, Макаров, Сулова, Виноградов, Сафронов. Проходите!

Таня и Е. Г. спустились на подвальный этаж, и она повезла его по длинному коридору. Дул сильный сквозняк. Е. Г. поднял воротник куртки, опустил подбородок к груди, и его фигура на кресле-каталке стала совсем маленькой. Вдоль низкого потолка тянулись отопительные трубы, и Тане приходилось наклоняться. Несколько раз они поворачивали.

На другом лифте они поднялись на нужный этаж. Таня завезла Е. Г. в кабинет. С ними поздоровалась женщина с глубоким голосом, от которой пахло духами и сигаретным дымом. Е. Г. развязал шнурок на пластиковом пакете, нащупал бумаги, передал женщине. Она нашла нужную справку и сказала ему прижаться лбом к прибору.

— Сейчас глазки откройте. Вправо смотрите... Хорошо. Влево. Вниз... Еще раз... Вы вот так что-то видите? — Врач водила перед лицом Е. Г. фонариком.

— Абсолютно ничего не вижу.

— Ничего не мелькает?

— Ничего.

— Станислав Юрьевич, посмотрите?

— Давайте... Так, новообразованные сосуды. И на роговице... Да, понятно... Итак... Оба глаза у вас потеряны. К сожалению, слишком поздно приехали вы... Да, вы приехали, к сожалению, слишком поздно. Зрительный нерв умер, для операции никаких перспектив здесь нет. Сожалею.

— Что ж, понятно. — Е. Г. тихо и напряженно вздохнул, так чтобы никто этого не заметил. — Ну спасибо всё равно.

— К сожалению, так, — сказала женщина. — Я сейчас напишу, какие вам нужны лекарства, чтобы снижать внутриглазное давление. Подождите снаружи, пожалуйста.

Е. Г. сидел в коридоре, опустив голову и почесывая свой прямой, длинный нос.

— К сожалению, Е. Г., физиология наша такая, — сказала Таня. — Сейчас уже ничего не сделаешь.

— Ничего, я и без глаз перезимую, как говорится. Спасибо тебе, Танечка, всё равно за помощь.

Всё вокруг казалось Тане очень настоящим. По коридору проходили пациенты с ватными тампонами на глазах и здоровались с врачами. На стене висела картина в пышной раме — утес с березами в солнечный день, река, фамилия художника красной краской в углу. Таня вытерла слезы. Она видела вещи вокруг себя ясно и четко и одновременно как будто с безопасного расстояния, с другой стороны зеркала, из глубины.

Через несколько минут из кабинета вышла врач и отдала Тане справки.

Они ехали обратно засветло. Шел дождь.

— Какое у вас там расписание сейчас? — спросила Таня, чтобы не молчать.

— Расписание? В шесть утра подъем. Но его никто не соблюдает. Там ведь много придурков живет — ну ты и сама видела... Завтрак в девять, обед в половину второго, ужин в пять. В десять отбой... Я другой раз, если заснуть не могу, выпиваю таблетку феназепам.

— Вас там прилично кормят?

— Да, порядочно. На завтрак всегда каши: гречка, геркулес, пшенка, рис, картошка. На обед щи, борщ, суп вермишелевый, суп рыбный. Был суп гороховый, но его отменили. И второе.

— Понятно.

— Оттуда никуда не денешься, вот в чем дело, — сказал Е. Г. — Я понятия даже не имею, о чем речь вести. Абсолютно даже не имею понятия, о чем вести речь. У нас там одно и то же каждый день, — сказал Е. Г. и перечислил все виды выделений человеческого тела. — Там только это и ругань. Больше ничего там нету.

— Тяжело там живется.

— Устал я жить, абсолютно устал. И очень жалею — о прошлом.

Невидящие глаза Е. Г. округлились, и он вжался в сиденье. Таня свернула с трассы и остановилась на заправке. Она повернулась к Е. Г. и обняла его. Ему было хорошо и тепло от ее объятия, но одновременно он почему-то хотел отстраниться. Таня с усилием гладила его плечи, как будто растирая от мороза.

Таня вышла, дверь за ней захлопнулась. Е. Г. остался в автомобиле один. На его глазах появились слезы. Он расслабился и вдруг почувствовал счастье. Он чувствовал теперь, что его жизнь была грустной, горькой, но простой, понятной, бессмысленной. Когда загудел заправочный насос, он задремал.

Через минуту Таня села на водительское сиденье, и они поехали дальше. Когда они свернули на проселочную дорогу, Е.Г. попросил остановиться за Феоктистово, перед круговым движением. Таня остановила машину на обочине. Е. Г. пересел в кресло-каталку и поехал вперед по дорожке, ведущей в лес. Капли дождя ударились о его капшон. В детстве Е. Г. с другими мальчишками бегали по этому лесу, и он хорошо его помнил. Таня осталась в автомобиле.

Когда колеса кресла-каталки во что-то уперлись, он подтянулся на поручнях и опустился на землю. Штаны сразу намокли. Ладони погрузились в холодную, влажную глину. Хватаясь за ветки, Е. Г. сполз вниз по склону. Когда он переполз через ручей, его глаза снова видели. Он почему-то совсем не удивился этому, но удивился тому, что вдруг наступила ночь. Лунный свет подсвечивал темный, блестящий ручей, деревья и папоротники.

Е. Г. поднялся на ноги — его стопы были на месте. Хлюпая по глине, он дошел до большой сосны, зацепился рукой за сук, полез вверх, уселся на толстой ветви, обхватил ствол руками и почувствовал глубокий, неподвижный покой. Воспоминания пронеслись в его уме: послевоенные школьные годы, побеги в лес от родителей, его первая девушка, работа на автобазе в совхозе, пьяные компании, жена, рождение дочери, переезд в новую квартиру, там ссоры с женой, развод, зимняя ночь, когда он пьяный заснул на улице, две недели в больнице после ампутации стоп, дом престарелых, день, когда он полностью перестал видеть... Всё это, всё без исключения, было теперь не очень важно. Воспоминания не нарушали его глубокое счастье. Он смотрел на воспоминания с удивлением — как будто они касались какого-то другого человека, но не его. Затем воспоминания растворились совсем, и сам Е. Г. тоже как будто исчез — и осталась наполненная, счастливая тишина.

...Вдруг хлопнула дверь. Е. Г. вздрогнул и проснулся. Таня села на водительское сиденье, убрала со лба прядь мокрых волос и повернула ключ зажигания.

Тимур Валитов

Комната Якопо

Стало жарко, и Якопо проснулся. На секунду показалось, будто он дома, в милой комнате окнами на площадь, а рядом мама, бабушка и даже брат, — и всё желтеет на солнце, словно в меду, и мягкий колокольчик заливается птичкой. На одеяло, почти невесомая, ложится мамина рука — и неожиданно мир дрожит и пропадает: вместо книжных полок, вместо гераней на подоконнике — термозащитные стены жилблока, панели разноцветными сотами. Колокольчик всё громче, настойчивей; Якопо встал сквозь жаркую, почти невозможную усталость, нашел на рабочей поверхности коммуникатор, запустил сообщение. Гладкое, мерцающее голубым лицо, движения губ обрачиваются словами; Якопо знал, что так должно было кончиться, что совсем скоро... — и теперь вот лететь, спастись.

«Остался ли кто-нибудь, кроме меня?» — подумал он, и вдруг безжизненное голубое лицо напомнило мамино, и снова пришли на ум герани, фотографии в рамках.

Никого.

Ноги не слушались, коридор казался долгим, мучительным. Напротив кухни в алюминиевой нише мерцал голосовой автомат; проходя, Якопо схватил с фиксатора трубку, зачем-то крикнул в тишину на другом конце:

— Есть кто? Прием!

И спустя секунду:

— Я ухожу — уходите тоже!

Руки — такие холодные — осторожно отняли у него трубку; он зачем-то потянулся, попытался вырвать — трубка упала и мягко покапталась по ковру, запахло спиртом. Бог с ней, дальше по коридору — мимо дверей, открытых в пустоту, мимо запыленных капсулов со скафандрами — чьими? — Якопо не помнил. Его скафандр у выхода: он сам так придумал, чтобы не тащить на себе через весь жилблок двенадцать кило. Вот он, блестящий, из розоватого пористого металла,

похожего на пемзу, — взял в кольцо, будто свитер, что заставляла надевать мама при первых признаках простуды, и запах тот же: намокшая шерсть — черт, ну зачем так жарко? как не свариться внутри этой жестянки? Справа мелькнуло чистое, ясное — окно? — Якопо вернулся на полшага, нарисовав в уме колокольню, фонтан и далекий край неба над кипарисами... Над остовом из бледного кирпичика и вправду стоял кипарис, изломанный, растопыривший обожженные ветки, а за ним соляное болотце — и где-то вдалеке, у затянутого дымкой горизонта, разрасталось солнце — как же жарко, скорее!..

Якопо знал, что скафандр долго не выдержит — перепад температур, избыток щелочи в воздухе; он знал, что в баллоне осталось мало кислорода, что ракета — цела ли она? — в получасе от жилблоков и придется идти через пустоту, бывшую когда-то улицами, киосками, рекой — бывшую когда-то городом. Скрипнул внутренний люк, Якопо шагнул в промежуточный отсек; под потолком зашипел вакууматор, но быстро заглох, затем набрался сил и снова зашипел — и снова ненадолго; Якопо возился с внешним люком, который то ли заклинило, то ли уже не было сил... Вдалеке задрожал колокольчик, и металлический голос — о температурном максимуме, о соляных всплесках, — Якопо навалился на люк и почувствовал, как скафандр наконец обдало жаром, и желтые блики на одеяле, и болезненное чувство полета, и мамин плач вперемежку с собачьими вдохами. Якопо лежал на земле, шея ныла, сдавленная воротником шлема: видимо, лестницы не осталось — он пролетел с два метра на люке, будто на санках, — в детстве он мечтал прокатиться на санках, но снег видел лишь однажды — какой-то жидкий, жалкий снег. Якопо смотрел сквозь стекло шлема на пепел, густо лежавший вокруг его перчатки; он слегка пошевелил пальцами — под пеплом проступила земля, в черноте ее мерцали осколки ракушек. Якопо встал — лежать было жарко, всё было жарко, — сделал шаг, другой, вглядываясь в горизонт, — солнце ложилось красным отсветом по шлему. Он подумал, что месяцы, нет, уже, пожалуй, больше года не покидал жилблоков, что заперся в комнате с геранями задолго до того, как невозможным стало выйти или открыть окно, до того, как жизнь взялась медленно умирать, задыхаться и плавиться. Что он делал эти месяцы? — вспомнились макеты пирамид и контурная карта Италии, и прохожие внизу на площади, и далекие книжки: «Джерри-островитянин», «Витториозо», «Овод»... — те же, что и на любой мальчишечьей полке, теперь нет времени перечислять — то и дело слышится колокольчик и внутри шлема гулко множится: уходите тоже, уходите тоже...

Наконец Якопо разглядел ракету: выкрашенный черным нос устремлен к солнцу, серебристый корпус с четырьмя плавниками опирается на каркас, криво сколоченный из попавшегося под руку мусора — голых веток, погнутой подставки от глобуса, чугунных балясин. Опять люк — на этот раз прямоугольный, посеребривший от пепла, — три ступени вверх, рычаг, две кнопки — одна за другой. Люк повернулся, Якопо на секунду ослеп, затем в темноте проступили предметы: штурвал, капитанское кресло, приборы под толстым защитным стеклом — едва различимо, будто не отсюда. Почти на ощупь вперед — как же жарко! — и что-то шуршит над головой и стучит по шлему: кислородные маски, подвешенные к белому ящичку в потолке на гибких, полупрозрачных трубках. Якопо вспомнил, как просыпался среди ночи от удущья, как играл с бабушкой в космонавта, вдыхая лекарство через ингалятор, как по шнуру бежал воздух от генератора размером в два спичечных коробка — торопливые пузырьки. Кресло оказалось мягким, пахло стиральным порошком — только кренилось на одну сторону; Якопо скомандовал:

— Давай! — И экран перед ним зажегся, и стало светло, и откуда-то сбоку голосом брата спросили, печально и растерянно:

— И чего давать?

Аэропрограмма развернула модель пространства, прочертила ракете маршрут — Якопо поправил его в трех местах, огибая участки, которым не верил, которых не помнил. Мотор уже рычал; маечка под скафандром, намокнув, прилипла к телу. Якопо потянул за штурвал — кругом затряслось, панель уехала вбок, шлем ударился о спинку кровати — и тотчас наверху запылало желтым, словно не стало потолка, словно ракету разрезало надвое.

— Якопо, — заплакала рядом мама, — ты слышишь меня, Якопо? — и вдруг оторвало от подушки, и на мгновение воздух по спине, — и снова простыня, горячая, насквозь сырая, и решительно ясно, что ракета не взлетит. Колокольчик смеялся над Якопо, прохожие шумели за окном — в тени Святого Августина, в брызгах воды, поднимавшейся струями над площадью, — от воды не так жарко, легче дышать. Свет растекался от потолка по нутру ракеты, выхватывая из черноты подоконник, обшарпанный письменный стол, корешки книг, пятно спирта и крошки на ковре, карандашный рисунок на обоях, косматую голову брата, букетик сухоцветов, табуретку с микстурами — и еще склянки, флакончики по полу, опрокинутые, разбросанные в бреду, — и складки на пододеяльнике, паука в паутине, сизую тень между гор на полувыцветшей картинке, смятую вершину пирамиды, собачьи

слиюни, бабушкину клюшку, набитый невесть чем дорожный чемодан, умывальник в углу, атлас звездного неба, графин воды, тетрадку в розовой обложке — и мамино лицо, такое несчастное, такое измученное, что кажется, будто радость, неожиданная и неуверенная, попала в него по ошибке и незачем ей здесь быть, этой радости, а сколько впереди ночей без сна, сколько ненужного солнца, сколько птичьего крика, собачьего лая, сколько макетов и контурных карт — вся жизнь по контурной карте, — и Якопо задохнулся, откашлял рыжими стусками на подушку — всё, пора! — шагнул через тело, съжившееся в центре кровати, встал над приборами, микстурами, над перепуганными лицами, над площадью и людьми. От ракеты осталось всего ничего — трубки, ошметки, — Якопо расправил себя, обернул кверху, весь устремился — и ни к чему ракета, ни к чему, — как жарко, как же жарко! Якопо летел: через желтое, красное, через запах земли, через пальцы, двери, железо, обветренное до синевы, и полные светом комнаты, через ветки, обожженные, выкрашенные черным, легко, едва заметно, навстречу.

Орфеи

В час мы сели в Варне, в три подъехали к гостинице. Два трехэтажных ее корпуса стояли у самой воды: я спросил, нельзя ли окнами на море.

— У нас по списку, — ответила администраторша, показывая из-за стойки мятый лист. — Вы в триста семнадцатом, с вами Гомонов.

Гомонова я не знал: в Варну мы прилетели с Натальей Петровой и Стасей. Их, само собой, поселили вместе — в триста пятнадцатом.

— Что за название для гостиницы, — возмутилась Стася в лифте, — «Орфей»?

— В семидесятых называлась «Москвой», — сказала Наталья Петровна. — Я тут грязью лечилась. — Подумав, добавила: — А может, не тут.

Зашел к ним в триста пятнадцатый: две кровати, стол со стулом, шкаф. В окне никакого тебе моря — лес.

— Ну и ладно, — пожалала плечами Стася, — еще устанем от моря. — Потом поглядела на меня недовольно: — Вы идите. Наталье Петровне нужно в туалет: она при вас стесняется.

Триста семнадцатый оказался в другом крыле. Прежде чем войти, постучал; в ответ — ни звука. Гомонова в комнате не было, только лежал на одной из кроватей чемодан. Еще стоял резкий водочный запах и жужжала, запутавшись в занавеске, оса. За окном зеленело море.

Пришла Наталья Петровна, строго спросила:

— Почему ваш триста семнадцатый в другом крыле? Еле нашла.

Пожал плечами: будто я виноват.

Наталья Петровна разглядела за занавеской море. Продолжила еще строже:

— Пойдемте вниз: там на конференцию регистрируют.

Спустились, отыскиали в очереди Стасю. Через пятнадцать минут получили бейджики и брошюру — одну на троих. Расписываясь напротив своей фамилии, заметил строчкой выше Гомонова О., пока без подписи.

Снова зашел в триста пятнадцатый: хотелось есть, Стася предложила яблоки.

— Мама дала в дорогу, а я их не люблю, — объяснила она. — Слышали, ужин полвосьмого. Ресторан в другом корпусе.

Принес яблоки в номер, попробовал: кислятина. Потом два часа рассказывал зеркалу о монументальном искусстве советской Болгарии: ближе к семи, озверев от голода, зачеркнул полдоклада и отправился искать ресторан. Полчаса урчал животом перед стеклянной дверью, наблюдая, как официанты накрывают шведский стол.

Гомонов так и не появился: ни до ужина, ни на ужине, ни после ужина. В девять зашла Стася, предложила на дискотеку. Монументальное искусство осточертело, спать не хотелось: переобулся, спустился в бар. Играло что-то стремительное и невнятное; Наталья Петровна, танцует, раздвигала воздух руками, будто плавала брассом. Скоро осточертела и дискотека, захотелось выпить. Бармен объяснялся с женщиной в полосатом пиджаке, я решил подождать за стойкой. Минут через пять не выдержал, подошел, прислушался. Мужчина в пиджаке просил виски, в кулаке его трепыхалась бледно-зеленая тысяча. Бармен на усталом болгарском отказывался от рублей: кажется, мужчина понял, в чем дело, и спросил, нельзя ли записать на триста семнадцатый.

Я вмешался, взял у бармена виски — и еще бутылку пива для себя. Расплатился; пододвинув Гомонову стакан, представился. Гомонов представился в ответ:

— Олег. Это хорошо, что вы... — Не договорив, он полез в карман, достал деньги, начал отсчитывать. — Давай дам это, рублями. Сколько выходит?..

Рубли я не взял: объяснил, что соседи, сочтемся. Он не расслышал: динамик над нами вдруг заревел громче прежнего. Он махнул на дверь; мы вышли из корпуса, нашли скамейку. За это время он успел осушить стакан и забыть про рубли. Мы закурили, он спросил:

— Долго учить болгарский?

Я признался, что болгарского толком не знаю: виски с пивом — вот и весь болгарский. Сказал, что почти шесть лет прожил с болгаркой: она привела меня работать в институт, а потом конференции, монументальное искусство, вид на море. Точнее, про шесть лет только подумал сказать, но Гомонов перебил:

— Третий год перевожу: без подстрочника — пипец. Вроде буквы те же, иногда слова те же. А всё-таки глянешь на страницу — а там жопа, просто жопа. Какая мне конференция, чего я тут делаю...

Я спросил про тему его доклада. Вместо ответа получил:

— Слушай, дай еще раз займы. Как они живут с их деньгами и карт не принимают? У кого они вообще есть, эти их деньги?

У меня были, я дал. Гомонов вернулся с двойным виски и бутылкой пива, что было необязательно: от первой оставалось больше половины. Сдачу он не вернул.

Мы проговорили минут двадцать. Гомонов рассказал о переводах, о каких-то студентках, снабжающих его подстрочниками, о том, как напился в аэропорту и едва не прозевал рейс. Мне удалось вставить кое-что о монументальном искусстве, потом вышла Стася:

— Духота какая. Тут хорошо. Что вы пьете?

Гомонов взял у меня второе пиво, протянул ей. Потом сказал что-то возвышенное про птиц — за них и выпили. Стася смотрела в окно на Наталью Петровну, смеялась. Я вдруг вспомнил: а ведь год назад она мне нравилась — Стася, не Наталья Петровна. Когда было кого любить, когда рядом была Иванка, я днями напролет ходил за Стасей: то цветочки, то партерчик, то прянички. А сейчас Иванки нет, внутри всё пусто. Так пусто, что и сказать кому стыдно — и пустить кого-нибудь жутко. А Гомонову не жутко.

— Стася, — сказал он, — пойдёмте к морю. — Потом словно заметил меня и добавил: — Вдвоем.

Стася показала ему лицо: неприятное, тотчас напомнившее мне все цветочки и прянички, убежала. После этого «вдвоем» на Гомонова смотреть не хотелось. Стал разглядывать медальон на дне бассейна:

лицо, краешек лиры, лавры — всё из бледно-розовой плитки. Наконец повернулся к Гомонову.

— Знали, что Орфей родился под Пловдивом? Так, по крайней мере, болгары считают.

— Речь не об этом, — ответил Гомонов. И потом невпопад: — Послушайте, я ведь только развеялся.

Окна бара загорелись, я наконец разглядел его. Пиджак мятый, полосы на нем волнами, оттого что, когда говорит, водит по воздуху стаканом. Нагрудный карман под красным пятном: вино, что же еще. Мизинец на левой руке в пластыре. Особенно от полос, карманов и пластырей — его лицо: оно вдруг прояснилось, и дело было не в освещении. Рассказывая какой-то ужас, лицом он распрямлялся, разглаживался.

— Представь, — схватил он мой локоть, — за стеной подышает ее отец. А мы ссоримся, я решаю: а пошла она. Уже ботинки надел — она в меня кидает чем-то: вроде ложкой для обуви. И тут, — он закрывает глаза, — ее отец за стеной: то ли хрипит, то ли стонет. Я, конечно, остаюсь — отцу было недолго. Мать уже схоронили, мы вообще всю родню схоронили.

Свет в баре погас — так же внезапно, как и зажегся. В одном из окон мелькнула Стася: снова вспомнилось гомоновское «вдвоем», такое откровенное и бессовестное. А до этого кислые яблоки: ты ей — пряники, а она — пожалуйста. Видел же йогурт питьевой среди купальников, хотя зачем об этом. Она мне ничего не должна, мне вообще никто ничего не должен, я и не хочу ничего. И никого не хочу тоже. Была Иванка — хотел, а не стало — и черт с ним. Снова Стася в окне, а Гомонов — еще сильнее за локоть.

— Она, знаешь, беременной была, ждали девочку. Тогда брат мой умер — так она больше моего плакала. Доплакалась — положили на сохранение. Не сохранили, — он одним глотком допил виски, — не стало девочки.

Он снова взял займы, ушел. Вернулся с поллитровой и вторым стаканом. Пока его не было, решил сделать над собой усилие: заглянул в окно, сразу отыскал Наталью Петровну — плотный силуэт на танцполе. Стася рядом с ней: нет, не так. Стася рядом со мной: всегда поблизости — прячется за натальпетровнами, за дружбой с Иванкой. Вот возьму — и тотчас захочу ее...

Не хочу, ничего не хочу. И виски не хочу.

Гомонов говорил: эти умерли, те не родились. Потом вернулся к исходной: познакомились случайно, любви — ни хрена. Залетела.

Первый выкидыш. Мы решили закурить: он, уже пьяный, не справлялся с зажигалкой. Помог ему огоньком — и снова удивился, каким гладким, спокойным казалось его лицо: была в нем светлая печаль, а может, и не печаль вовсе — ностальгия.

— Она долго болела, я вел себя как дерьмо. Утром — с ней, вечером — с какой-нибудь шалавой;пил. Ей сказали, что ходить не может, а она встала. Ты чего ждешь? — показал он на мой бокал.

— Ничего, — ответил я и выпил.

Потом выпил еще, и Гомонов, разумеется, тоже. Бутылка пуста, всё пугалось; про развод Гомонов сказал в двух словах — он был очень пьян, завалился набок, ронял сигарету. Мне то и дело не хватало воздуха в этих его историях — в этих маточных трубках, пощечинах, поминках; я забывался, обращался к окну, надеялся, что мелькнет тонким плечиком Стася или Иванка улыбнется: обиженно, едва уловимо. Но окно оставалось пустым, и я, конечно, радовался этой пустоте и был даже счастлив ей, и лишь бы она не кончалась, моя пустота, лишь бы никто ее не потревожил.

В баре затихла музыка; бутылка, пустая, давно закатилась под скамейку. Помог Гомонову встать, дойти до лифта; на третьем этаже задумался: наш — пятнадцатый или семнадцатый? Потом опомнился, поглядел на брелок: все-таки семнадцатый. Гомонов сбросил чемодан с кровати, лег на спину и тут же уснул. Я стоял над ним, глядя в его лицо: безмятежное, брезжившее сквозь сон необъяснимой радостью. Потом погасил торшер, лег не раздеваясь поверх покрывала, и мне казалось, что тело на соседней кровати мерцает, наполняет розовым маревом пустоту. Я не выдержал, повернулся к нему: нет, просто уже светало.

Елена Шахновская

Вильма танцует твист

Самолет был только под утро, а из гостиницы давно уже выставили, поэтому я пошла в город, который распродавала.

Тогда еще были деньги — не у меня, но у многих, и люди хотели менять их на впечатления.

Я сочиняла маршруты.

Летом нужно писать, где полежать на пляже и как укрыться от солнца, по которому весь год так скучаешь. Зимой — куда ехать, чтобы вдохнуть Рождество: запах жареного миндаля, мандариновых долек, глинтвейна с корицей — чужого праздника, который, если на секунду забыть, покажется своим.

Всем нравилось, когда им говорили, что делать и сколько потратить: «Заходите в магазин (в витрине кивает олень), берете лакричных конфет (пятьдесят восемь крон), потом — в музей викингов (купите карту туриста), теперь идите пописать (бесплатно, если направо, и евро, если заблудитесь)».

Инструкции я не умела и потому рассказывала о бесполезном. О сидящем на камне лунном мальчике, которому местные жители связали шарфик и шапку, чтобы спасти от холода и прохожих. Туристы натрали мальчику голову, давно ставшую золотой от людских желаний, и наклонялись к нему, чтобы сфотографировать, а на самом деле шепнуть: «На удачу». О речном корабле, где надо сесть на корме и замерзнуть, во что ни оденешься, и смотреть на город снаружи, в сумерках, когда в домах, похожих на нарисованные, приходят с работы и — клик-клик в разных окнах — включают замерзшими пальцами свет (первым делом на кухне). О детской площадке с качелями в старом городе, куда поздно вечером можно прийти целоваться; мне было не с кем, и всё равно я сразу заметила. Практичней, конечно, дать адрес отеля на час, но про такое, вернувшись домой, никто почему-то не вспоминает.

Мои путеводители не читали, зато покупали в подарок.

В этом городе я уже однажды бывала, в том возрасте, когда еще смотришь глазами хозяйки или невесты: возьму его для себя или поищем получше?

Стокгольм нужно обойти за два дня и уложить в историю, но город мне не давался.

Первый раз он был игрушечный, с переулками и пряничными домиками, в которых я мысленно поселилась, а сейчас настоящий. В нем темнеет быстрее, чем успеваешь проснуться, цены такие, что приходится выбирать: чизбургер или картошка, а по улицам ходят самоубийцы — каждый десятый, а может быть, и каждый девятый.

Днем на ярмарочной площади продавали деревенскую колбасу, которую туристы покупали в подарок, крошечные шерстяные носочки, леденцы и вафли с карамельным мороженым. К рождественским вафлям готовились всю неделю: мороженое обжигало язык, на который попадали снежинки, а вафли нужно было успеть съесть быстрее, чем они остынут, то есть все сразу. «Мы водили детей есть горячие вафли», — говорили потом взрослые на работе, не решаясь признать, что мечтали об этом и сами.

Вечером прохожие заглядывали в прикрытые деревянные ставни ярмарочных домиков и ввали себе, что обязательно придут сюда завтра.

— Всё хорошо? — говорила я, возвращая фотоаппарат людям с чуть туманными лицами, видящим себя не здесь, на площади возле свечащейся елки, а сквозь будущую ностальгию. Меня останавливали туристы во всех городах, и каждый раз я искала тот самый ракурс, в котором они захотят себя помнить.

— И еще возле музея, — кивнула укутанная в шарф девочка, взбегая на скользкие ступеньки. Она притянула к себе замерзшего друга, отдавшего ей перчатки, и сказала: — Как будто мы Нобеля тут получаем.

— Нобель твой динамит изобрел, — сказал мальчик, и она рассмеялась — потому что привыкла смеяться над всем, что он говорит, и еще немножко от радости.

Следующий день был рабочим, и бары полночного города встречали замком, простодушно повешенным на украшенном входе.

Если свернуть направо и пройти вдоль улицы, где девушки, прямо как в старых фильмах, брали в любовники всех, кто мог заплатить за их ужин, можно выйти на набережную, к отблескам темной воды, откуда никто почему-то не знает дорогу обратно, сколько ни спрашивай. Там найти не похожий на остальные, казавшийся заброшенным

дом, потянуть за тяжелую дверь и спуститься в подвал, где время давно отменили — просто чтобы не отвлекало.

— Хей, — крикнула я, чтобы протиснуться к стойке, и постучала в высокие спины. Как многие застенчивые люди, я делала всё, чтобы этого моего свойства не замечали.

Девушка-бармен с бровями, увешанными серебряными колечками, налила мне что-то крепкое в рюмку. Она редко интересовалась желаниями посетителей и никогда не ошибалась.

Сюда приходили все те, кто не прижился в настоящем, в котором о самых невысказанных своих намерениях нужно сообщать до знакомства — трезвым, заранее, по интернету.

Вильма однажды попробовала (она рассказала), но там ей писали ровесники — старики. Вильме нравились помоложе.

Я вспомнила, как увидела ее первый раз. В стране, откуда я приезжала, веселые, крепкие, с морщинками возле глаз женщины не ходили по кабакам. Не закалывали честно седеющие волосы девчоночьими заколками, бесстыдно сверкающими фальшивыми бриллиантами. Не надевали коротких юбок со съезжающей молнией, которую приходится поправлять после каждого танца. Не показывали татуировок и не отбивали ритм мускулистыми от велосипедных прогулок ногами. А те, которые ходили, закалывали и надевали, не смеялись на пахнущей яичницей кухне у человека, которого вчера встретили.

В стране, откуда я приезжала, такие вообще никогда не смеялись. В кино их играли высокие, совсем молодые тридцатилетние женщины, просыпающиеся свеженакрашенными в чужих, похожих одна на другую квартирах.

Теперь Вильме было за пятьдесят, но я сразу ее узнала.

Она повернулась ко мне и что-то сказала по-шведски, расхохотавшись так громко, что я услышала ее сквозь вечную Дженис Джоплин. Я переспросила.

— Откуда ты? — сказала Вильма так, чтобы я поняла.

— Из Литвы, — соврала я. Когда говорю правду, мне приходится обещать, что я передам всё, что мне скажут в следующие полчаса, русскому президенту.

— Юльтомтен, — она кивнула на сидевшего рядом человека. У него была серая борода и красная шапка, которую он натягивал ближе к носу. — И он еще думает, почему с ним никто не уходит!

Вильма говорила со мной как со старой знакомой, хотя, конечно, не помнила. Она со всеми так говорила.

— Это у нас как Санта Клаус, — сказала бармен и налила мне еще. — Только маленький.

Вильма снова засмеялась.

— Я ему говорю: нормальное имя возьми. Тогда и поговорим. — Вильма поправила блузку. — А он: как назвали, так и помру. Вот дурак.

Юльтомтен невидящим взглядом проводил ее рельефные икры, когда она вскочила, чтобы пойти танцевать поближе к мигающей сцене. Музыканты, рядом с которыми Вильма казалась моложе, настраивали инструменты.

— Не хочет жить со мной в лесу, — пожаловался он себе в бороду, но так, чтобы я могла тоже услышать. — Говорит, у меня эльфы.

— А ты переезжай в город, — посоветовала бармен.

— Без них не поеду, — сказал Юльтомтен.

Она украсила разноцветные напитки лимонными дольками, а в один положила бумажный зонтик. Открыла его так аккуратно, будто он настоящий и от чего-то спасает.

— Хочь твою работу, — сказала я, сама удивившись, что такое подумала.

— Нет, не хочешь, — дружелюбно сказала она.

На сцене заиграли что-то из «Битлз». Музыкант в джинсовой жилетке подтянул волосы, забранные в истончившийся хвост, обхватил сухими пальцами микрофон и, улыбнувшись друзьям, приходившим к нему на каждый концерт, вступил так, будто эта музыка уже при рождении стала ретро.

— Двадцать лет пытаюсь ее увезти, — Юльтомтен немного сползал со стула, — даже комнату ей построил. Со входом.

Вильма танцевала твист и никуда не собиралась ехать.

На набережной было еще темно, но окна на другом берегу уже багровели.

Юльтомтен запахнул зеленое пальто, вышедшее из моды еще в прошлом веке. Красная пуговица осталась одна, и он застегнул ее каким-то внезапно заботливым жестом.

— Послезавтра Рождество, — сказал он. — Пора паковать подарки.

Когда я обернулась, он шел вдоль реки, крошечный, в своей нелепой шапке похожий на гнома.

Путеводитель по нарядному северному городу я так никогда и не написала.

Алёна Бондарева

Female¹

*Брайану, Майклу, Яну
и той датчанке,
чьего имени я так и не узнала*

Дул ветер с залива, солоноватый и свежий. Обрывки *Por una cabeza*², визитная карточка слепого Аль Пачино и неловкой Габриель Анвар, то захлебывались в плеске волн, то, вырываясь, разносились по округе. Солнце, припекая, добросовестно белило песок и дощатую крышу пляжного бара, теперь приспособленную для танцев. Светлые юбки, легкие рукава, острые воротнички, воздушные шаровары трепетали и развевались, пока их разгоряченные обладатели вышагивали в такт и мимо такта. *Por una cabeza de un noble potrillo / que justo en la raya afloja al llegar...* — о лошади, отставшей от соперника всего лишь на голову и в итоге прокатившей своего беттора на кругленькую сумму...

Мария приехала на велосипеде. Рассекла теплый воздух от дома до пляжа, разогнала зазевавшихся пешеходов на всех велосипедных дорожках. От езды длинные волосы спутались, лицо пунцовело. Но было легко. Какое же это счастье — жить недалеко от океана. В выходной или после работы срываться на побережье, бродить по остывающему песку, танцевать у шумной воды, норовя с каждым шагом и вовсе оторваться от земли. А главное, питать, питать око небесными красками.

Пока спешила, пристегивала велосипед к столбу дорожного знака — что бы ни говорили, теперь даже в провинциальном Орхусе можно лишиться всего из-за невнимательности, — спиной почувствовала присутствие. Но тут же склеила сосредоточенную мину.

— Здравствуй.

Замок, как назло, не закрывался.

— Привет, Иерон. Как дела?

¹ Женское (*исп.*).

² *Por una cabeza* — «Из-за одной головы» (*исп.*). Известное во всем мире танго. Слова Альфредо Ле Пера, музыка Карлоса Гарделя (1935).

— Отлично. А у тебя?

Еще отстраненней:

— И у меня.

— Не передумала?

Замешкалась, ключ застрял в личинке. Щеки ошпарило, будем считать, от прилагаемых усилий, — дурацкая особенность.

— Может, сегодня?

Мария обернулась. Неизменный костюм из светлого льна, белые туфли (интересно, он поэтому не танцует с новичками?), солнцезащитные очки, легкий загар, чуть темнее на высоком лбу и острых скулах (поговаривали, будто его семья перебралась в Данию из Амстердама), лохматая соломенная шевелюра, насмешливое выражение чуть вытянутого лица.

— Так что насчет настоящего танго?

Показалось или действительно — испытывающий быстрый взгляд? Улыбнулась и покачала головой, как обычно, впрочем.

А он засмеялся добродушно и заразительно.

— Как знаешь, я не тороплю. Мы всё равно потанцуем! Я уверен! — И зашагал неспешно, насвистывая *Por una cabeza, metejón de un día, / de aquella coqueta y risueña mujer*. В сущности, красивую мелодию, приправленную пустяковыми словами, не о любви, как думают многие, но об игре-гуляке, поставившем последние деньги не на ту лошадь.

А на теплом ветру уже танцевал Брайан с новой ученицей. Она наступала ему на ноги и виновато бормотала извинения. Но тот, не обращая внимания, заставлял уходить в непрерывные очо, от чего ее болтало из стороны в сторону, как юнгу в шторм. Однако Брайан был невозмутим и настойчив.

Приехали и те странные ребята из западной части Орхуса — немолодая семейная пара, сегодня в костюмах морячков (очевидно, домашняя фишка, в прошлую субботу ее зеленое платье было в цвет его шаровар). Оба в тельняшках, темно-синих штанах, шейных платках и белых кепи с лакированными черными козырьками. Он излишне чувственно и медлительно (явно выпадая из ритма) вращал ее в мулинете, а она нарочито грациозно ему подчинялась, что производило впечатление скорее комичное.

Вообще в этот раз было на редкость многолюдно и шумно.

На противоположной стороне, у поручня, смеясь, пили лимонную воду со льдом знакомые ребята. Мария им кивнула, они заулыбались и приветственно замахали руками.

Неподалеку освободился столик. Заказала кофе. Пока официантка медлила, сменила мокасины на мужские туфли. Нога привычно ут-вердилась в мягком кожаном нутре. Что бы ни говорили итальянцы, аргентинская обувь самая удобная. Будто мастера той части света знают секрет: назови только размер, и пара сядет идеально. Каблук устойчивый, крепкий; носок не слишком длинный, но и не короткий; гибкая подошва, а сама выделка — почти как шкурка на щенячь-ем пузе. Брякнула чашка. Мария выпрямилась. Посмотрела по сторо-нам. Даже вытянула шею, чтобы разглядеть, кто там на другом кон-це танцпола. В гуще мелькнула плотно сбитая Марта. И-и-и... нет, обозналась.

Наверное, еще рано... Или она напутала? Хотя вторник... Да и сколько можно тянуть, откладывая, бояться?.. Por una cabeza / todas las locuras — из-за одной головы, как говорится, всё сумасшествие. Из-за одной головы.

Из общего движения вырвалась пара: Михаэль (для молодой рус-ской подруги — Майкл) вышагивал в близком объятии с Бенедикте, постоянной партнершей. Но танцевал невнимательно, машинально, то и дело оглядывался. Там, куда он бросал беспокойные взгляды, его русская перешептывалась с двумя немцами, приехавшими позавчера на ежегодный джазовый фестиваль. Невысокие, светловолосые муж-чины, чуть-чуть за сорок, не сводили с собеседницы глаз, синхрон-но скалили зубы и кивали ее шуткам. Наконец оба заржали в голос, перекрывая мелодию, Майкл сбился с такта, Бенедикте нахмурилась, русская отвернулась, но Мария заметила самодовольную ухмылку на аккуратном бледном личике.

Признаться, поначалу и Мария была заинтригована. Первую неде-лю смотрела, как Михаэль предупредительно водит русскую по танц-полу и отпускает, только когда сам устает. Не сказать чтобы та уж очень хорошо танцевала. Не так, как датчанки, — это верно, но и не лучше — определено. Молодая (на вид не больше двадцати пяти), она сразу выделялась из общей массы. Танго в Орхусе, как во всей Северной и Центральной Европе, rispetабельно и умудрено опы-том. К тому же было в ней что-то непонятное, отстраненное и, пожа-луй, слишком холодное даже для Дании. А маленькая точеная фигурка выгодно отличала ее от других партнерш. Местные женщины всегда были неспешны, тяжеловаты, и вид у них вечно такой, будто только проснулись. К их крупным спинам хочется припасть, как к лошадиной шее, чтобы почувствовать здоровое нутряное тепло. Ничего не поде-лаешь, тонкость черт в краю викингов — редкость.

Мария и сама была невысокого роста, широкой кости, хотя скулы ей достались прабабкины, резкие и тем изящные. Грива сильных, в прошлом белесых волос давно выцвела, поэтому уже несколько лет подряд красилась в благородный пепельный оттенок.

Неделю она наблюдала за русской, увлеклась, конечно, как и все в танго-сообществе. Даже хотела подойти познакомиться. Но вздернутый нос и насмешливая улыбка настораживали. Было совершенно непонятно, о чем и как с ней разговаривать. Да и неожиданно помолодевший Майкл-Михаэль неустойчивым мальчишкой крутился рядом. Мария осталась в стороне.

Приходили и уходили еще какие-то люди, многих она постоянно встречала на милонгах, других знала давно. Ян из-за диджейского пульта приветствовал смешным маршем и едва приподнятой шляпой, при этом вся его сутулая фигура потянулась за рукой, и он встал на цыпочки, чтобы не потерять равновесие.

Иерон уже танцевал (и давно растанцевался). Приглашая очередную партнершу, весело подмигнул Марии. Знал, что она против воли засматривалась на его безупречно прямую спину и легкие движения. А еще на то, как полы льняного пиджака даже не успевали шевельнуться, пока его ноги шагали вперед-назад, уходили в кресты, возвращались и делали четкие сакады; лишь редкое ганчо (стройная нога в сетчатом чулке и красной туфельке), мелькая между светлыми штанинами, напоминало о партнерше. Какой же он всё-таки пижон!

Сменилось несколько композиций. Пел Гардель, наигрывала скрипка, вступали клавишные, тянул бандонеон, и контрабас пробрасывал вкрадчивый мотивчик. Мария ждала, хотя нетерпение нарастало. Ветер дул и, кажется, усиливался, танцующие совсем распалились, оживление достигло предела, урывки фраз тонули в музыке, ноги чертили на полу воображаемые рондо, смех становился откровеннее, звенели стаканы, брякали бутылочки с водой, звякали кофейные кружки и ложки, оставляемые где придется. Люди окончательно расслабились и погрузились в веселье. Только раскрасневшаяся официантка озабоченно сновала с полным подносом.

На другой стороне Мария заметила освободившуюся Бенедикте. Та приветливо склонила рыженькую голову и с готовностью улыбнулась. Что ж, наверное, не сегодня. Мария уже вставала, как вдруг краем глаза у входа зацепила ту, ради которой пришла. Привычно перехватило дыхание и как-то заунывно засосало в животе.

Нескладеху Мария заметила давно. Не заметить ее было трудно. Высокая, бледная анорексичка. С вечно растрепанным жиденьким каре дыплячьего цвета, в учительских очках с толстыми стеклами (а без них слепуха слепухой), несуразная, сутулая. Постоянно путалась в движениях, топталась по ногам партнеров (недели две как начала ходить на милонги), отчего большую часть времени сидела, нахохлившись, одна.

Но, боже мой, Мария не могла слов подобрать, сколько в ней было красоты. Не такой, которая кричит всякому поперечному, но той, что таится, теплится, а потом обухом по голове всем знакомым. Неужели эти мужчины, насилиу терпевшие по три композиции приличия ради, действительно ничего не понимали? Верно, были слепы или вовсе безглазы, дурны, неотесанны, самодовольны...

Это же очевидно: когда Нескладеха научится держать спину, не вертеть во время поворотов головой, не останавливаться, намертво каменья после каждой ошибки, в ней будет столько стати, тонкости, изящества. А эти угловатые, боязливые движения — начало начал и «свет во тьме». Еще полгода, год — она вытянется, как восточная княжна на арабской гравюре. Научится подчеркивать свои выгодные стороны — длинные ноги, легкие кисти, станет красиво одеваться. Движения сделаются неспешными, плавными, тогда-то, чтобы потанцевать с ней, партнеры выстроятся в хвост. И больше не придется сидеть с затрапезным видом.

Мария была очарована, восхищена, переполнена... Ей хотелось подбежать к Яну, упросить выключить музыку, вывести Нескладеху на середину, чтобы в образовавшемся разрыве и тишине все-все-все убедились в ее правоте. И главное, поняли, что это она, она первая заметила и прикоснулась к бесценному как подобает.

Как же всё запутано! Страшно, хорошо и тайно! Сколько тревожных вечеров, бессонных ночей. Забудешь ли теперь?

Сначала она не хотела, потом боялась, стеснялась своей нелепости, возраста (хотя знала, что сорок семь ей ни за что не дашь), отговаривала себя, но не удержалась. Да и можно ли остановить человека, рвущегося к счастью?

Три дня назад, обнимая спокойную Бенедикте, исподтишка наблюдала, как Нескладеха мнетя с очередным недоучкой. А он еще выговаривает, поучает, куда ставить ноги, как держать руки. Естественно, настроение испортил и танца не получилось. Бенедикте только улыбнулась, когда они с Марией прошли, потом вернулись и еще два раза протанцевали вокруг этой неладной пары.

Мария долго думала, взвешивала, стоит ли и как сделать всё невзначай...

Представляла первый танец. Конечно, тяжелый. Нескладеха свое-нравная, раз не нашлось партнера, сумевшего без огрехов освоить хотя бы танду.

Можно и не надеяться танцевать с ней, как с Бенедикте, — уверенно, со взаимным доверием.

Вряд ли получится как с Мартой. Ведь именно она несколько лет назад предложила встать в близкое объятие. Мария, деревеня, вложила правую руку в Мартину ладонь, а левую уместила на широкой лопатке. И они со скрипом двинулись. Со стороны больше походило на схватку борцов в легком весе... Но после двадцати минут унылого колготчения Марта твердо сказала: «Теперь ты». И они застряли в танцевальном зале на несколько часов. Потом были так счастливы и взбудоражены, что, попрощавшись, Марта ушла в сторону дома Марии, Мария села на автобус Марты. А музыка всё звучала и звучала где-то внутри, кружа голову, подчиняя сознание.

Конечно, тогда было не до сложных элементов, Мария едва могла вывести партнершу на поворот, заставить сделать хотя бы шаг в сторону. Но как всё изменилось! Будто она обрела новое тело, стала решительной, смелой, способной отвечать за другого, а не просто следовать за партнером, лишь каблуком втискивая редкие маркады в танец. Тогда-то и появилась беззаботность мыслей, податливость движений. Легкость невероятная, с каждым шагом норовящая перейти в оглушительный восторг. Потому что стоять в объятии с женщиной — чувство ни с чем не сравнимое. Столько хрупкости (независимо от веса и возраста партнерши) и одновременно силы. Точно касаешься неведомого, сокровенного, но такого, что есть и в тебе самой. Ариадной плетешь тайную нить танца, которую не распустить, не распутать ни одному мужчине. Хотя бы потому, что мужчина и не поймет женщину так, как это делает другая. Даже обнимать девушку нужно с большой (большей?) осторожностью, но твердо, чтобы она чувствовала надежность, опору, могла успокоиться и быть откровенной.

Стольких спин, открытых и задрапированных чуть ли не до затылка, касалась ее рука. Одни нервно вздрагивали от уверенной сухой ладони, другие доверчиво расслаблялись, наполняя эту ладонь теплом и упругой силой.

У Марии всякий раз дыхание перехватывало, когда она думала о том, как хороша женщина, идущая в близком объятии! Сколько в ней энергии, скрытого ужаса, разрушения, хаоса и радости, рождающейся и

созидаемой в танце. Это незабываемое ощущение, когда ты ведешь на сложный элемент, а она поначалу раздумывает, медлит, потом, будто лениясь, повинуется. И если всё удастся, в награду ты чувствуешь себя поджарой, ловкой, живой, совершенной!

Духи — едва уловимые, платья или джинсы (датчанки демократичны), туфли на тонких шпильках, заколки в волосах — только прикрытие. Внешняя беззащитность, первая неловкость — видимость, нет, самый настоящий обман. Мария давно разгадала. За ширпотребом прячутся сильные, мускулистые тела, цепкие руки и невероятно устойчивые ноги. Природная сила неимоверного животного свойства. Нужно только правильно коснуться — освободить. Вовлечь в движение, сообщить скорость, задать ритм. И хлынет неудержимая мощь. Тогда главное не разрывать объятие, не выпускать импульс за пределы пары. А ловить и возвращать с новой силой. Быть заодно, шагать слаженно, чтобы сделаться единым пульсирующим существом...

Джеймс Браун хрипло выкрикнул: *I feel good*. Ян — еще тот шутник. Народ встрепенулся, воображалы даже начали танцевать. Особо одаренные несколько раз вывернулись в сальсе.

Ветер определенно усилился, волны полоскали бухту. Набегали, шипели, плескались. Шум стоял нестерпимый. Мелодия опять пропадала и с силой вырывалась, как на затертой грампластинке. *Por una cabeza*, но уже золотым голосом Гарделя. То, самое первое исполнение, когда он в своей доисторической шляпе в 1935 году беспечно распевал с парохода: *Que importa perderme, / mil veces la vida* — совсем уж в вольном переводе: «То и помереть раз под тысячу не жалко».

С дребезжающим сердцем, лавируя между парами, инстинктивно шагая в такт, но соблюдая линию танца, пробралась на другую сторону площадки. Туда, где в углу чинно сидела Нескладеха в очередном наряде вырви глаз: оранжевая юбка ниже колен и такая же ядреная кофта с бантом под горло.

На середине пути зацепила ее рассеянный близорукий взгляд. Он только мазнул Марию по макушке, но и этого было достаточно, чтобы в голове зашумело. Пальцы уже ощущали узкую ладонь и косточки позвоночника — это если встать в учебное объятие, но при первой же возможности сократить расстояние. Тогда Нескладеха с ее худобой облокотится на сгиб руки Марии и танцевать будет по-настоящему удобно.

Сколько мыслей, предчувствий, желаний.

Но всё должно быть отлично. Накануне во сне Мария видела рыб. Серебристым косяком они плыли в небе, над главным каналом Орху-

са, оставляя за собой легкую голубую рябь. Правда, в конце сна одна рыбешка соскользнула и шлепнулась в воду. Но так ли это важно, если тебе солнце застит серебристая чешуя? Только руку протяни — и ухватишь любую.

«Могу ли я?», «Вы не против?», «Если не возражаете», «С вашего позволения». Нет, нужно проще. К чему старомодность? Нескладеха лет на семнадцать моложе. Вряд ли знает все причуды и правила танго-салона. «Потанцуем?» — и точка. А уже потом вызнать: как зовут, откуда она и почему здесь.

Мария снова взглянула на оранжевое пятно. Все-таки время немилосердно. Казалось, только вчера Брайан открывал школу и зазывал знакомых «потоптаться на пирсе». Они пили шампанское, смеялись, махали руками рыбакам, свистели яхтсменам и действительно топтались, танцевать-то по-настоящему никто не умел. Наверное, и не верили, что смогут научиться. Кто бы тогда думал, что танго придется по вкусу медлительному нордическому характеру, повзрослеет вместе с ним и укоренится.

Это теперь они красивы, разборчивы, высокомерны. Танцуют только со своими (а свои всё чаще приходят с детьми, а то и с внуками). Реже приглашают тех, кто зарекомендовал себя на последних милонгах. Но прежде чем подойти, подолгу наблюдают, перекидываются улыбками, взглядами... Не старость ли это, маячащая на горизонте?

Самая большая несправедливость жизни. Мария особенно часто думала об этом в последние дни. Вот тебе за сорок, ближе к пятидесяти. Ты уверен, состоялся в карьере, нет проблем с деньгами. Многое пережил, укрепился во взглядах. Зрел, ловок, хорош. Танцуешь легко, четко чувствуешь ритм и делаешь паузы в нужных местах. Но... устает чуть сильнее, сложнее засыпаешь после, с трудом встаешь на службу... И самое обидное — чувствуешь себя лет на двадцать моложе.

Вот и Мария после всего, что с ней было, осталась прежней. Любила музыку, смех, ветер. Просто приходиться в этот бар у океана, поздороваться со знакомыми, потанцевать. На несколько часов выключиться из реальности. Проживать истории, про которые поется в песнях.

Нескладеха посмотрела ей прямо в глаза. Мария поймала взгляд. Он панически метнулся в сторону. Но было уже поздно.

— Потанцуем? — Она склонила голову набок, Гардель неестественно замедлился, будто рот ему набили булками, всё еще заставляя петь.

Нескладеха молчала, глядя куда-то в сторону. Демонстративно? Или показалось? Наверное, не расслышала в этом гаме ни звука. Ветер

с шумом трепал всё, что мог. Гардель продолжал жевать, похоже, уже саму запись. Секунда, другая...

Мария растерянно повторила:

— Потанцуем?

Недолгая пауза и...

— Чаво?! — честное слово, так и сказала.

Мария даже рот от удивления раскрыла. Но машинально спросила еще раз:

— Потанцуем?

Ветер с силой рванул, послышался грохот, звон, вскрики. Кажется, внизу разбилось одно из окон, может быть, стеклянная дверь бара. Гардель взвизгнул по-девчачьи и замолчал.

Минутная тишина, но и ее хватило, чтобы все услышали:

— Чаво, чаво?! Я, по-твоему, что ли, женолюбка?

И продолжение в том же духе. Мария уже не вникала. И так ясно — напоролась. Отпрянула (было бы места побольше — отскочила бы). Только заметила, как Ян растерянно замер за пультом; Майкл, русская и те, кто стояли поблизости, сочувственно закачали головами. С противоположного конца танцпола на помощь спешила раскрасневшаяся Марта (непонятно, что она собиралась предпринять, но лицо у нее было разъяренное и решительное). Впрочем, Мария тут же опустила глаза и метнулась к выходу. Уже у самых дверей наткнулась на расстроенную Бенедикте, всем своим видом говорившую: «Ох, Мария, Мария, мне очень жаль».

Пронеслась по лестнице, будто опаздывала на все поезда на свете, выскочила на пляж. Надо же! — прямо в танцевальных туфлях. Лицо солоно обдало сырым ветром, а спину — уже отлаженным: *Cuanto desengaños, por una cabeza* — столько разочарований из-за одной головы. Плевать на обувь, завтра же она закажет новую пару — Мария пошла к воде.

Бродила по щиколотку и изрядно намокла (отмахала метров двести по кромке), чувствовала, как от щек отлило и они повлажнели. Будем считать — брызги. В голове вертелось мерзкое слово и еще несколько подобных — надо же такое сказануть. Она-то и не думала, что они к ней применимы.

Просто двадцать лет назад, когда ее муж (они рано поженились по местным меркам) разбился на машине, Мария хотела навсегда изменить свою жизнь. Делать что-нибудь, на что прежде никогда бы не осмелилась. Вот пошла на танго. Хотя с детства была уверена:

ей медведь не только на ухо наступил, но и основательно оттоптал обе ноги.

Рьяно взялась за дело, часами вытанцовывала у зеркала, в итоге влет выучилась и ритм распознавать, и хорошо двигаться.

А замуж так и не вышла. Случались, конечно, романы, приятные и не очень, но одинаково проходящие и тем несерьезные. Большого не хотелось. Вся энергия уходила в танец. Потому что за эти несколько часов можно было прожить сотни историй. Веселых, грустных, трогательных. Провести время, поприкидываться, посмеяться. Ребята в танго-сообществе быстро к ней привыкли, приняли правила ее игры. За что им большое спасибо.

Кто бы знал, чем всё обернется...

— Эй, Мария... — знакомый голос оборвал на полуслове, она-то и забыла, что Иерон тоже видел эту маленькую вакханалию. От досады глаза снова защипало. Даже собиралась сказать, что это мерзкое слово и она... Но Иерон присвистнул: — Уж не собираешься ли ты топиться?

Мария вздохнула.

— Не обращай внимания. С ней теперь вряд ли будут танцевать, во всяком случае в Орхусе. — Он как-то особенно неловко похлопал ее по плечу — никогда бы не подумала, что ему свойственна такая сентиментальность.

— Жаль. — Мария опять вздохнула. — Я всё равно думаю, она научится и станет хорошей партнершей.

— Но не у Брайана.

Они помолчали.

— Может, вернемся?

Мария покачала головой. Иерон понимающе кивнул. Ветер парусом надувал его пиджак и ерошил волосы. Половинка солнца подглядывала за ними из-за горизонта.

Кстати, предложи он сейчас, она бы с ним потанцевала, не при всех, разумеется, а где-нибудь здесь, на пляже. Просто чтобы вспомнить, каково это — быть введомой. Но надо подойти поближе к музыке, чтобы эти лживые клятвы и обещания доносились получше: *Basta de Carrera, se acabo la timba* — хватит скачек, я больше не стану играть. Бессмысленно надеяться, будто этот мот несчастный сдержит хоть слово.

Однако Иерон молчал. Просто смотрел на Марию задумчиво, наверное, напевал про себя, как водится: *Por una cabeza*.

Поэтому вышло почти как в песне. Игрок хоть и сокрушался (больше из-за своего невезения, чем из-за того, что красотка-вертихвостка

бросит его без денег), божился на чем свет стоит, что больше не будет ставить и сегодня-завтра завяжет со скачками, направо и налево костерил своего благородного рысака, столь неблагородно его подставившего, а напоследок выпалил, мол, если он увидит хоть одну надежную лошадь, то обязательно поставит опять... Что ж, люди — такие люди...

Роман Гусев

Туристы

1

Владимир свесил голые ноги с мостков. Его стопы оказались в сантиметре от поверхности озера, затянутого красно-желтыми осенними листьями. Только в центре еще зияло окно, свободное до времени от листвы, в котором отражались макушки деревьев и кусок чистого неба. Сентябрьский лес вставал позади Владимира пестрой стеной, окружив озеро со всех сторон. Владимир коснулся воды ногой и тут же отдернул ее. Лес обдал его своим холодным дыханием. По голой спине побежали мурашки. Владимир сделал медленный и долгий выдох, чтобы расслабиться и унять дрожь. Он приподнялся на руках и, оттолкнувшись, соскользнул в воду. Яркие листья расступились, а потом вновь сомкнулись у него над головой. Озеро стихло, только на миг возмущенное случайным всплеском. Одинокая птица сорвалась с места и перелетела через озеро, держась у самой воды. Владимир вынырнул в центре озера, тряхнул мокрой головой, огляделся и не спеша поплыл к берегу. Его сильные мускулистые руки легко загребали тяжелую и холодную воду.

Ира открыла глаза, только когда услышала плеск воды. Она не спала давно, просто лежала в теплом спальнике и слушала лес, отделенный от нее желтым тентом палатки. Она дотянулась до молнии и расстегнула вход в палатку. Рядом тлел костер. От горстки пепла высоко в небо поднималась тонкая прозрачная лента дыма. Ира выползла наружу и сместила обугленные головешки ближе к центру костра. Босыми ногами она прошла по мокрой траве и поднялась на иссушенные теплые доски мостков. В руках она держала большое махровое полотенце. Она подошла к самому краю. Владимир подплыл к ней, высунулся из воды и поцеловал ее босую ногу. Ира положила полотенце на доски и медленно, не оборачиваясь, пошла обратно к разгоревшемуся костру. Она вытащила из палатки туристический коврик и расстелила

прямо возле огня. Оранжевые языки пламени извивались на ветру, венчая собой обугленные поленья. Владимир вылез из воды и обтерся полотенцем. Потом они завтракали, и жарили хлеб на тонких прутиках, и грели в маленьком котелке крепкий ароматный чай. Свернув палатку и собрав вещи, они направились через лес к своей машине. Ира шла впереди, держа перед собой скрученные в рулон коврики. Как маленький бульдозер, она прокладывала путь через ветки и кусты, если тропинка терялась в сухой листве. Владимир ковылял следом, то и дело цепляясь рюкзаком за высокие лапы елей.

Солнце уже достигло зенита и жарило нещадно, когда они наткнулись на незнакомую поляну. На примятой траве по всей поляне зияли желтые проплешины оголенной земли. В центре чернело кострище, посреди которого стояли два врытых в землю столба.

— Не ходи туда, — сказала Ира, но Владимир скинул рюкзак и приблизился к кострищу. Ира осталась стоять у края поляны. Столбы торчали выше человеческого роста, врытые в землю. Они истончились от огня и покрылись угольной коркой. От них всё еще шел тонкий запах гари, хотя дожди уже успели пропитать водой верхний слой обуглившейся древесины. У самого основания каждый из столбов был обхвачен металлическим тросом, свободные концы которого змеились по обугленной почве. Владимир попытался расшатать один из столбов. У него ничего не вышло, столб прочно сидел в земле. Владимир наклонился, вытер о траву испачканную сажей руку и вернулся к Ире.

Спустя четверть часа они дошли до трассы, совсем немного промахнувшись мимо места, где накануне оставили машину. Подержанная красная «хонда» ждала их на обочине. Крыша уже успела раскалиться на солнце. Владимир открыл дверь, и из салона вырвался едкий запах дешевой пластмассы от приборной панели.

Лента шоссе тихо шелестела под колесами «хонды». Новый асфальт еще не прожил своей первой зимы, двойная сплошная сияла свежей краской. Машина шла легко, упруго прижимаясь к трассе. Ира сидела спереди, неестественно изогнувшись и закинув длинные ноги на приборную доску. Она почти доставала пальцами ног до руля. В руках она крутила дорожную карту.

— Володя, а чего мы плетемся как черепахи в будний день? — спросила Ира, оторвавшись от изучения карты и посмотрев на трассу, свободную до самого горизонта. — Давай прибавь газу.

— На спидометр посмотри, — ответил Владимир. Костяшки на его руках, лежащих на руле, побелели. Ира сняла ноги с панели и отложила карту.

— Ого! — удивилась она, когда заглянула через локоть Владимира на светящиеся приборы. — О'кей, вопрос снят. Хотя мой бывший и двести семьдесят гонял. Ну, не суть. — Ира вернулась к изучению карты.

— Ты не в ту карту смотришь. — Владимир отвлекся от дороги. Он дотянулся до бардачка, оттолкнув Иру, и стал рыться, держа руль одной рукой. Наконец он нащупал толстый путеводитель и вытащил его. — На вот, тут поищи, — он швырнул путеводитель Ире в лицо.

— Ты совсем debil? — поинтересовалась она.

— Давай это проверим, — предложил Владимир.

— Чего уставился, за дорогой следи, — ответила Ира.

2

Ближе к полудню они свернули с трассы, заехали в поселок и затормозили перед магазином. Владимир вылез из машины, чтобы размяться. Белоснежная коробка магазина, воткнутая посреди покосившихся изб и сараев, смотрелась как инопланетный космический корабль, спустившийся на землю в поисках разумной жизни. Перед входом на ступеньках, уткнувшись в перила, дремал мужичок в засаленной рубашке. Ира тоже вылезла на свежий воздух. За спиной у нее болтался маленький рюкзачок от Louis Vuitton, с которым она не расставалась во время поездки. Они зашли в магазин. Владимир нес пластиковую корзинку, а Ира кидала в нее всё, на что падал взгляд. Потом Владимир зацепил свободной рукой упаковку с пивом и занял очередь на кассу, а Ира задержалась перед полкой с журналами.

— Ты идешь? — Владимир уже стоял на выходе с двумя пакетами и шестью банками пива под мышкой.

— Да иду-иду я, зануда, — ответила она.

— Куда дальше? — спросил Владимир, когда сели в машину.

— Гляди, что я сперла. — Ира открыла свой рюкзачок. — Самый приличный алкоголь в этой дыре. — Она показала ему бутылку виски.

— Вот зачем, объясни? Можно же было купить, — Владимир в отчаянии развел руками, как хороший трагик.

На площадку перед магазином заехал полицейский уазик. Владимир посмотрел в зеркало заднего вида, уазик перегородил им выезд.

— Ир, спрячь бутылку, — шепнул Владимир.

— Какое же ты все-таки ссыкло, — рассмеялась она, но бутылку тем не менее засунула под сиденье. Полицейская машина заглушила двигатель, но никто из нее не вышел. Ира обернулась назад. От стекол газика отражалось солнце, скрывая водителя. — Чего ему нужно-то,

чего он встал, а? — спросила она у Владимира и нажала на клаксон. Резкий сигнал больно ударил по ушам.

— Ты что творишь? — Владимир с трудом отодрал ее ладони с кнопки.

— Что, испугался? Сейчас тебя арестуют. — Ира залилась звонким смехом. В окно рядом с водителем постучали. Владимир опустил окно. Молодой сержант невнятно пробормотал свое имя и козырнул. Владимир полез в бардачок за правами.

— Да, еще паспорт достаньте, — попросил сержант. Владимир протянул в окно документы. — Далеко же вы забрались, — сказал полицейский, полистав паспорт Владимира. — Машина по доверенности?

— Мы путешествуем, исследуем родной край, — сказала Ира со своего места.

— Да, по доверенности. Сейчас найду, — ответил Владимир.

— Твоя жена всегда влезает в чужие разговоры? — спросил сержант. — Ладно, можешь не искать, я уже всё понял, — он вернул документы.

— Я смотрю, у вас тут до сих пор процветает домострой, — усмехнулся Владимир. Сержант испытующе вылупил на него, снял фуражку и пригладил челку.

— Вот что, мои хорошие, у меня будет к вам очень большая просьба, — начал сержант. — У нас тут есть агропромышленный комплекс, колхоз бывший. Это совсем рядом. Надо вам туда женщину одну отвезти, Ольгу Николаевну. Она там старший агроном. Я обычно сам ее отвожу, но сегодня не могу, начальство собирает. Ну так что, выручите?

— Вообще-то мы спешим, может, в другой раз? — Владимир постучал по стеклу своих наручных часов.

— Настоящие? — Сержант уставился на часы.

— Мы с радостью ее отвезем. Володя просто шутит, — влезла в разговор Ира. — Зовите своего агронома.

3

Либо сержант знал другой, короткий путь, либо просто наврал, но они минут сорок тряслись только по грунтовой дороге, пока не свернули под ржавую арку с уже не читаемым названием колхоза. А дальше потянулись бесчисленные поля. Одни стояли пустые, на других еще зрел урожай, ожидая сбора.

— Это что, ячмень? — спросил Владимир у Ольги Николаевны, сидевшей сзади.

— Да, вы почти угадали. Это гибрид, разработан специально для нашего агрокомплекса, — ответила старший агроном. — А вы, я вижу, разбираетесь. Вы случайно не ботаник? А то нам специалисты нужны, могу перед начальством похлопотать о месте.

— А Володька у нас во всех сферах специалист. И в биологии, и в экономике, и в астрофизике, — Ира загибала пальцы. — А что, Володь, работа на свежем воздухе, кругом природа, коровки пасутся, надо соглашаться. Ты же мечтал стать дауншифтером? Так вот он — твой шанс. Переезжай сюда, а уж за квартирой я как-нибудь посмотрю.

— Может, ты не будешь сейчас начинать? — попросил Владимир. Ира пожалала плечами и открыла окно, кондиционер в машине еле работал.

— Ольга Николаевна, вам не дует? — спросила она, обернувшись.

— Ой, Ира, называйте меня просто Ольга.

Ира смотрела на бескрайние поля, желтым ковром уходящие до горизонта. Ее непослушная челка дрожала на ветру. Вдали показались два знакомых силуэта, они стояли посреди поля, точно два фермера, обсуждающие предстоящую жатву. Ира не сразу сообразила, где уже видела их.

— Владимир, здесь налево, — Ольга Николаевна тронула его за плечо.

«Хонда» свернула, и силуэты фермеров скрылись за поворотом. Тут Ира вспомнила утреннюю поляну. Она резко обернулась, чтобы еще раз увидеть их через заднее стекло. Но фермеров уже не было видно.

— Ты чего? — спросил у нее Владимир.

— Помнишь, с утра? А там в поле такие же... те столбы с проволокой, ты же сам их...

— Вот мы и приехали. Владимир, видите белый павильон? Это и есть наш агрокомплекс, — перебила Иру Ольга Николаевна. — Езжайте прямо туда.

Из-за холма медленно вырастали белоснежные кубические ангары, по мере того как «хонда» приближалась к ферме. На ближайшем ангаре во всю высоту красовалась черная единица. Перед входом в первый корпус на корточках сидели мужчины. Завидев «хонду», они резко повскакивали и побросали бычки в урну, точно застуканные подростки. Ольга Николаевна закричала, высунувшись из окна:

— Твою мать, Василич, ты почему не в поле?! У тебя же сегодня семнадцатый сектор. Вот устрою я тебе премию в квартал!

— Здравсте, Ольга Николаевна! — хором проорали мужики. Потом Василич выступил вперед.

— У моей машины ось полетела. Нельзя работать, — сказал он.

— Я тебе эту ось знаешь куда засуну, — парировала Ольга Николаевна. — Немедленно дуй в ремонтный цех. И чтоб через два часа был в поле.

Мужики разошлись.

— Вы, должно быть, страшно голодны, — обратилась она к Ире и Владимиру. — Люди в вашем возрасте постоянно хотят есть, — Ольга Николаевна заглянула в пакеты с продуктами на заднем сиденье. — У нас тут отличная столовая, пойдемте, я вас накормлю. Нечего вам всякой гадостью питаться.

Владимир припарковался. Табличка с облупившейся надписью «Столовая» висела над входом в старое кирпичное здание, оставшееся нетронутым со времен колхоза. Снаружи кое-где еще держалась штукатурка, а стены были затянуты зеленой строительной сеткой. На одной стороне стены сохранилось мозаичное панно — женщина, взмывающая вверх к снопу пшеницы.

— Мы решили не сносить его, — сказала Ольга Николаевна. — Решили, пусть останется хоть какая-то память о колхозе.

Они вошли. Внутри здание оказалось отремонтированным. Ничего лишнего: белые гладкие стены, ровный бетонный пол, залитый прозрачным лаком с гранитной крошкой, на потолке яркие круглые плафоны. В воздухе не кружилось ни одной пылинки. Они поднялись на второй этаж. В длинном зале на каждом столе стояла хрустальная вазочка с искусственными цветами. На дальней стене над черной лентой конвейера, забирающего грязную посуду, висела огромная картина. Ира и Владимир не подавали виду, когда выставляли на свои подносы салаты, первые и вторые блюда, пирожки с фруктовой и мясной начинкой, стаканы с ледяным компотом. Но когда они расположились за столиком, потеряли самообладание и жадно набросились на еду. Они уже давно не ели нормальной пищи, их рацион за время поездки не отличался разнообразием. Питались по большей части в придорожных кафе либо грели на костре готовые замороженные блюда из супермаркетов. Ира управилась с обедом первая. Она вилок выгребла кусочки фруктов со дна стакана и понесла свой поднос на конвейер. Там она пригляделась к картине.

Картина была заключена в тяжелую золоченую раму. Художник явно подражал византийским образцам, когда живописцы еще не знали всех достоинств прямой перспективы. Картина представляла собой серию связанных сцен, происходящих одновременно и вместе с тем как бы растянутых хронологически. Вот дом с высоки-

ми окнами, похожий на ладью. Сквозь окна видно, что в доме полно людей. Их лица невозмутимы и умиротворенны. Из-под дома выбиваются оранжевые языки пламени. Слева от них обнаженный человек растянут на дыбе. Рядом ратник в кольчуге и коническом шлеме, в руке у него кинжал. Ратник уже занес кинжал над пленником, готовый распороть ему живот. Лица обоих сияют от счастья. Группа седовласых старцев в другой части картины стоит перед огромным зверем, то ли львом, то ли рыбой. Под лапой у зверя разорванное тело одного из старцев. Его кровь стекает в реку, протянувшуюся через всю картину. Старцы отрешенно ждут: кого следующим возьмет зверь.

Владимир подошел к Ире со своим подносом и тоже стал рассматривать картину из-за ее плеча. Ира вздрогнула.

— Вот здесь, — она показала Владимиру на одну из сцен.

К двум столбам привязаны люди: на одном мужчины, на другом женщины. Их так много, что они напоминают две грозди спелого винограда. Рядом юная девушка держит на раскрытых ладонях горящую вязанку хвороста. Вокруг нее пляшут в хороводе ряженые, на них маски животных: волка, медведя, лисы.

4

— Гляжу, вас заинтересовала наша картина? — К ним подошла Ольга Николаевна. — Гости в наших краях бывают редко, некому и показать.

— Ольга, а что это? — спросила Ира.

— Наш агрокомплекс поддерживает несколько церковных приходов в округе. Это вот нам они и подарили. — Ольга Николаевна надела очки и стала вместе со всеми рассматривать картину, точно видела ее впервые. — Я, честно говоря, в этом мало что смыслю. Возможно, это какие-то святые, — предположила Ольга Николаевна. — Нет, слушайте, это правда какой-то ужас, надо будет ее снять, — заключила она.

Ира и Владимир собрались ехать дальше, но Ольга Николаевна уговорила их остаться и посмотреть, как у них тут всё работает. Старший агроном устроила им полноценную экскурсию.

Изолированные от внешнего мира теплицы соединялись друг с другом сетью подземных переходов и туннелей. Чтобы попасть из одной в другую, даже не нужно было выходить на улицу. В каждой теплице ребята надевали бахилы, одноразовые хирургические халаты и шапочки. Под командованием Ольги Николаевны они тщательно мыли руки антисептическим раствором, загоняя его между пальцев и долго

втирая в кожу. Малейшая грязь, попавшая в идеальные климатические условия теплицы, грозила всему урожаю гибелью. Многие растения росли не в земле, а в жидком растворе из питательных веществ. Тонкие и длинные стебли были не в силах удержать гигантские плоды, поэтому каждый перец, помидор или баклажан с момента своего появления помещался в пластиковую растягивающуюся сетку, прикрепленную к каркасу. Ольга Николаевна очень много говорила, объясняла, показывала. Теплицы сменялись одна за другой, а это означало, что Иру и Владимира уже ждут новый халат и новая шапочка, а также очередная сессия мытья рук, хотя в ходе экскурсии они ни к чему не прикасались.

Под землей и в замкнутом пространстве расстояние давалось тяжело. У Иры гудели ноги, Владимир еще держался, но тоже давно не слушал затянувшуюся лекцию по ботанике. Наконец Ольга Николаевна вывела их на поверхность прямо к парковке. Возле их машины торчали какие-то парни. Один сидел прямо на капоте, свесив ноги, и оживленно рассказывал что-то товарищам. Завидев старшего агронома, он спрыгнул на землю, сплюнул и поплелся восвояси. Остальные тоже разбрелись кто куда.

— Ты даже ничего не скажешь? — тихо спросила Ира у Владимира.

— Поехали уже отсюда, — ответил он уставшим голосом.

Уже смеркалось. С полей дул холодный ветер. Ира поблагодарила Ольгу Николаевну, и пока Владимир заводил машину, они еще немного поговорили. Потом Владимир принес Ире из машины кофту. Ольга Николаевна объяснила, как добраться до трассы, и отпустила. По пути им всё время попадалась сельскохозяйственная техника. На узкой дороге Владимиру приходилось останавливаться в специальных карманах или просто съезжать под наклоном с обочины, чтобы пропустить трактор или комбайн, которые, проезжая мимо, поднимали тучу пыли. Ира лежала на заднем сиденье, вымотанная бестолковым днем, и клевала носом. Под размеренное дребезжание машины на грунтовой дороге она погрузилась в глубокий сон. Когда в очередной раз Владимир заехал в карман, чтобы пропустить трактор, Ира в панике подскочила. Она не поняла, где находится, и забила ладонями по стеклу, как задыхающаяся муха. Потом опустила окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Проехавший трактор поднял столп пыли, как раз когда Ира высунулась наружу. Она раскашлялась и окончательно проснулась. Они продолжили путь.

— Слушай, за нами кто-то едет, — сказала Ира. Она уже минут пятнадцать вглядывалась в темноту позади машины.

— Ладно тебе, не придумывай. Я никого не вижу. — Владимир посмотрел сначала в зеркало заднего вида, а потом и вовсе обернулся.

— Там точно какая-то машина с выключенными фарами. Володя, сверни на следующем повороте, — попросила Ира.

Владимир свернул. Фургон повернул следом и включил фары.

— Черт, ты права, — воскликнул Владимир, завидев в зеркале два огонька. — Как ты его разглядела? — Он прибавил газу, машина сзади отстала. Владимир погасил фары и поехал в темноте, а потом резко свернул в поле и заглушил двигатель.

— Что ты делаешь? — спросила Ира.

— Тихо, не шуми, пусть проедут.

— Ты меня еще затыкать будешь? — Ира не унималась.

— Да заткнись же ты! — выпалил Владимир, схватил ее за шиворот и зажал рукой рот. В этот момент фургон поравнялся с «хондой» и остановился. Из него вышли двое.

— Эй, есть кто?! — покричал один из них и осветил фонарем в сторону «хонды».

Владимир достал из-под сиденья монтировку.

— Сиди и не высовывайся, — шепнул он Ире и вышел из машины, прижав монтировку к бедру. Ему в лицо ударил свет фонаря.

— Вечер добрый, у вас всё в порядке? Помощь не нужна? — спросил водитель фургона. — А то мы увидели, что вы съехали с дороги.

— Нет, всё хорошо, спасибо. — Владимир закрылся свободной рукой от света. Водитель фургона убрал фонарь.

— Вы как ехать, знаете? — спросил он. — В полях легко заблудиться.

— Конечно, — ответил Владимир. — Не беспокойтесь, нам показали дорогу.

Мужики погасили фонарь, сели в кабину фургона и уехали. Владимир помахал им рукой, но они вряд ли смогли бы разглядели этот жест в темноте. Владимир запрокинул голову, над полями из конца в конец раскинулось звездное небо.

5

Водитель фургона был прав, найти дорогу в ночи оказалось непросто. Владимир поехал обратно в поисках нужного поворота, но так и не нашел его. Свернули куда-то не туда, но вскоре наткнулись на бетонную дорогу. Бетонка завела их в лес. В свете фар начали мелькать рыжие стволы сосен. Постепенно сквозь деревья проступили очертания старых дореволюционных дач. Владимир поехал совсем

медленно, из темноты прямо рядом с дорогой им навстречу выплыл двухэтажный дом с разъявленными оконными проемами, внутренности дома были выжжены давним пожаром. Владимир проехал еще немного и остановился перед участком, огороженным невысоким частоколом.

— Как думаешь, он пустой? — спросила Ира.

— Вот сейчас и проверим, — ответил Владимир.

Они перелезли через забор и пошли вглубь участка. Свет в доме не горел, кругом стояла кромешная тьма. Ира постучала в дверь и крикнула:

— Есть кто живой? Эй, люди!

Владимир просунул руку сквозь решетку на окне и забарабанил пальцами по стеклу. Окно отозвалось и громко задребезжало, весь дом пришел в движение. Но их крики остались без ответа. Они обошли дом, проверили окна. Весь первый этаж был надежно защищен железными решетками. Но на втором этаже решетки отсутствовали, и Ира заметила в мезонине открытую форточку. Она с легкостью вскарабкалась по решетке наверх и протиснулась в маленькое окошко. Пока она срывала присохшие на старой краске створки, Владимир вернулся к машине за продуктами. Он натянул ручки пакета на плечо, так чтобы он болтался за спиной, и полез со своей котомкой наверх. Пакет, нагруженный без меры еще и пивом, начал расплзаться по швам, Владимир еле успел залезть. Оказавшись в доме, они нашли лестницу и спустились на первый этаж, в большую гостиную. Ира пошарила по стенам, и в комнате вспыхнула люстра. Владимир тут же резко погасил свет.

— Ты что?! Соседи могут увидеть, — воскликнул он.

— Да никто не увидит, успокойся. Тут до ближайшего дома метров двести, лес кругом. Да и спят все уже, — ответила Ира и опять щелкнула выключателем. — А ты всё со своим пивом носишься? — усмехнулась она. — Ты что, забыл? — Ира победоносно помахала перед лицом Владимира бутылкой виски.

Стаканы нашлись на кухне. В гостиной стоял старый радиоприемник на длинных ножках, весь отделанный лакированной фанерой под красное дерево. Владимир поставил стакан на верхнюю крышку приемника и стал крутить ручки. Ему удалось поймать музыкальную волну. Ира плюхнулась в старое зеленое кресло с протертой спинкой и вальяжно расположилась в нем, закинув ногу на подлокотник. Когда бутылка опустела, а случилось это слишком быстро, Владимир предложил обойти дом. Сначала они исследовали первый этаж, здесь,

помимо гостиной и кухни, обнаружилась маленькая спальня. Потом поднялись на второй. Напротив мезонина находилась еще одна комната. Не найдя выключатель, Ира осветила себе телефоном. В большой спальне стояли двухместная кровать, платяной шкаф и комод, заставленный фотографиями и фарфоровыми статуэтками. Ира присела на край кровати, от выпитого она с трудом соображала, голова ее отяжелела и немного кружилась.

— Знаешь что, я, наверное, спать лягу прямо тут, — сказала она и повалилась на кровать. Левой рукой она задела что-то твердое.

— Что такое? — спросила сама себя Ира и еще раз ткнула в покрытие. Она осветила себе и стала разматывать в потемках плед, а потом одеяло под ним. Одеяло не поддавалось, оно точно застряло между матрасом и краем кровати. Ира со всей силы потащила одеяло на себя. — Может, ты сможешь? — оглянулась она в поисках Владимира. Его нигде не было. Тут одеяло выскочило, и в свете фонарика обнажились застывшие в оцепенении руки. Ира завизжала и выронила телефон. Она выбежала из комнаты и наткнулась в коридоре на Владимира.

— Ты чего? — спросил он.

— Надо отсюда убираться, черт, я оставила там телефон, Володя, я оставила там телефон, что нам делать?! — затараторила Ира.

Владимир зашел в комнату, бросив Иру за дверь. На кровати в складках одеяла всё еще светился экран телефона. Владимир потянулся за ним и замер над безжизненным телом. Он осторожно взял телефон и осветил труп. Пожилая женщина с ввалившимися щеками лежала, закрыв глаза, руки ее застыли в неестественном жесте, сведенные последней судорогой. Владимир дотронулся рукой до этого незнакомого лица. Оно было теплое и приятное на ощупь, чуть бархатистое. Владимир надавил на лицо пальцами, и оно вогнулось, как резиновый мячик, он отпустил, и лицо медленно восстановило форму. Владимир усмехнулся.

— Ты права, надо убираться отсюда, — сказал он, вернувшись к Ире. — Черт, зачем мы напились, башка раскалывается.

— Ты сможешь вести машину? — спросила Ира.

— А есть другие идеи? — огрызнулся Владимир.

Они вернулись в мезонин. Ира уже собралась вылезти через окно, но Владимир удержал ее за ремень.

— Внизу кто-то стоит, — прошептал он. Они сели на пол. — Наверное, соседи слышали твой крик, — предположил Владимир.

— Это не со мной, — ответила Ира. Она вся сжалась и закрыла лицо ладонями.

Сквозь пульсирующую глухоту в ушах Владимир расслышал далекую музыку. Она играла где-то глубоко внутри, рвалась из подсознания наружу. Владимир встал и осторожно выглянул на улицу, но никого не увидел. Музыка, точно... Владимир спустился на первый этаж. Ручка громкости на радиоприемнике была выкручена на максимум, всюду горел свет, на полу валялись пустые пивные банки, а стеклянная бутылка от виски закатилась под кресло. Владимир вырубил приемник и стал ползать, собирая мусор. Потом он выключил свет и замер.

Все звуки внутри дома стихли. Владимир задержал дыхание и прислушался. На улице треснула сухая ветка, потом еще раз, и опять тишина. Он подполз к зарешеченному окну и заглянул в щель между шторами. Сначала он не видел ничего, кроме темноты и очертаний решетки, но когда глаза привыкли, он различил, что среди деревьев и кустов мелькают силуэты людей. Владимиру показалось, что он даже слышит, как они переговариваются. Он осторожно отполз от окна, прихватил пакет с мусором и поднялся обратно к Ире на второй этаж. Дверь в злополучную комнату настежь распахнулась, перегородив ему путь. Владимир аккуратно прикрыл ее. Ира всё так же сидела под окном, закрыв лицо и не шевелясь.

— Вот что, я внизу всё убрал. Сейчас мы тихо слезем и уедем отсюда. Ты меня слышишь? — Владимир потряс Иру и стал отдиравать ее ладони от лица.

— Пусти! Я с тобой никуда не поеду, — ответила ему Ира. — Я ненавижу тебя.

— Я кого-то видел на улице через шторы. Нам нужно уходить, возьми себя в руки, — сказал Владимир.

— Ты так ничего и не понял, какой же ты идиот. — Ира оскалила рот в саркастической улыбке.

Тут на улице раздался глухой хлопок, и в небо взмыл столп огня, осветив на секунду весь второй этаж. Ира и Владимир резко поднялись. Огонь опустился к земле и замелькал оранжевым между деревьев.

— Машина! — воскликнул Владимир.

Ира распахнула створки и шагнула наружу, крепко держась за хлипкую деревянную раму.

— Стой! Давай назад! — скомандовал Владимир.

— Нет, я ухожу, — ответила Ира.

Она успела спуститься до середины и прочно стояла на верхних сплетениях решетки, когда из-за кустов в сторону дома полетели камни. Сначала камень ударился в стену рядом с головой Иры, потом

несколько камней попали ей по ногам. Ира вскрикнула, чуть не потеряв равновесие. Она посмотрела вниз, готовая спрыгнуть на землю.

— Обратно! — крикнул ей сверху Владимир. Ира начала карабкаться наверх. Тут камни полетели в нее нескончаемым градом. Они ударили по спине и по рукам или звонко отлетали от деревянной обшивки дома. Ира дотянулась до руки Владимира, и он рывком втащил ее в окно. Они упали на пол, и на них посыпались осколки стекла. Ползком они спустились на первый этаж в гостиную.

— Что происходит? Кто это? — Ира тяжело дышала, ее тело горело от боли.

— Тихо, отдышись, — посоветовал Владимир. — Я сейчас. — Он пошел на кухню, оставив Иру сидеть на полу, но скоро вернулся. — Вот, держи! — Он вложил ей в руку небольшой кухонный нож с деревянной ручкой. Себе он раздобыл молоток.

— Зачем это? Я не возьму. — Ира бросила нож. Владимир поднял его и сунул в карман.

— Твой пацифизм сейчас неуместен. Нам еще повезло, что здесь всюду решетки. Так им труднее будет попасть внутрь.

— Да кому — им?! Кто это вообще?! — заорала Ира.

Гостиная осветилась ярким светом, ударившим с улицы сквозь шторы. Теперь Владимир увидел, что Ира с ног до головы изуродована кровоподтеками и ссадинами, даже лицо ее покрылось сеткой мелких царапин. Яркость света нарастала, ослепляя их. Они зажмурились, закрылись руками, но свет пробивался даже сквозь ладони, плотно прижатые к глазам. Ира вжалась в пол, распласталась всем телом. Владимир продолжал сидеть, закрывшись руками, по его красным щекам потекли слезы.

По стеклу ударился камешек. Точно кто-то тихо просил выйти среди ночи на свидание. Потом ударился еще один, уже настойчивее. И еще. Камни летели всё чаще, но стекла держали удар. По окну пошла косая трещина, расколов гостиную надвое. Ира и Владимир очутились по разные стороны чернеющей пропасти. Свет резко потух, точно в голове лопнула струна. Всё погрузилось во тьму. Кругом затрещали сверчки и кузнечики. Вся комната наполнилась ночными звуками, насекомые беспокойно копошились в траве, пробивающейся через щели в полу. Владимир нащупал у себя в ногах рукоятку молотка и пополз вместе с ним к окну. Он коснулся края шторы и затаился.

Владимир услышал шаги нескольких человек. Они приблизились к дому и разделились. Все стекла на первом этаже одновременно разлетелись вдребезги, сметенные точно взрывной волной, но Владимир

не пошевелился, он только прикрыл лицо и шею краем шторы. Решетка закрипела, несколько рук вцепились и попытались вырвать ее. Владимир поднялся и наугад махнул молотком в проем окна, кто-то глухо охнул, и Владимир ударил еще раз, целясь на голос. Молоток отскочил от преграды, как от автомобильной крышишки, с точно таким же звуком. На крик сбежалось множество темных фигур, они заполнили всё пространство перед окном. Владимир не видел, куда целится, он еще раз ударил, но его крепко схватили за руку и стали вырывать молоток. Свободной рукой Владимир вытащил из кармана нож и ткнул им в темноту. Его тут же отпустили. Осаждающие отступили обратно к деревьям.

— Володя, дорогой мой, любимый. — Ира подползла к нему и обняла. — Давай отойдем от окон! — Она взяла Владимира под руку, и они перешли в маленькую комнату за лестницей. Здесь еще не разбили окна. Владимир придвинул к двери угол тяжелого комода. Он нашел тряпку, вытер лицо и руки. Посмотрел на свой телефон, но связи не было.

— Мы же выберемся? — спросила Ира.

— Побереги силы, — ответил Владимир. — Я их здорово разозлил. Так что будет неплохо, если ты встанешь у окна и понаблюдаешь за лужайкой перед домом.

В комнате запахло дымом. Потянуло из-под двери, Владимир отодвинул комод и выглянул в гостиную. Гостиная уже всю пылала. Он захлопнул дверь, вновь припер ее комодом. В комодѣ нашлись вещи, и Владимир заткнул ими щель под дверь. Он раскрыл настежь окна и попытался открыть решетку.

— Помоги, — попросил он Иру.

Ира встала на подоконник и принялась бить по решетке ногой, пока Владимир орудовал молотком. Они работали молча, подчинившись инстинкту самосохранения, синхронными ударами выламывали решетку. Комната тем временем наполнялась дымом. Владимир зажал рот тряпкой и бил по решетке только одной рукой. Ира слезла с подоконника и осела. Ее разрывал кашель. В дверь комнаты стукнули, да так, что комод, подпиравший ее, покачнулся. С той стороны навалились на дверь и попытались ее открыть. Владимир запер окно и из последних сил дернул за ножку комода. Дверь распахнулась, на пороге стоял человек с замотанной тряпками головой, точь-в-точь бедуин в пустыне. За спиной у незнакомца буйствовал пожар. Владимир всё еще сжимал в руке молоток, но нанести удар уже не мог. Человек поманил его, показал, чтобы тот следовал за ним. Владимир

уронил молоток, нашел на полу Иру и поднял ее на ноги. Они пошли за человеком сквозь горящий дом.

— Сейчас мы будем бежать! — прокричал их проводник, когда они дошли до прихожей. — Не теряйте меня из виду.

Он выбил входную дверь ногой, и они выскочили наружу. Свежий воздух ворвался в дом, небо озарилось яркой вспышкой огня, осветив путь беглецам. Ира бежала, ничего не видя перед собой, мокрая трава обжигала щиколотки. За ее спиной вспыхнул луч прожектора, и впереди заплясала длинная тень на тонких ножках.

— Только не оборачивайся, только не оборачивайся, — шептала она себе.

Впереди виднелся конец дачного участка. Прямо перед ней мелькнула фигура проводника в белой рубашке. Он ловко зацепился и перемахнул через забор. Ира обернулась через плечо, ожидая увидеть Владимира, но увидела человека с волчьей головой, бегущего за ней. Она бросилась к забору, но ее сбили с ног. Ей не хватило двух шагов, чтобы оказаться по ту сторону забора. Подбежал еще один в звериной маске. Вместе они потащили Иру за ноги обратно к дому. Ира билась, рычала, цеплялась за траву и вырывала комья земли в попытке освободиться. Внезапно кто-то набросился на человека в волчьей маске и повалил. Началась потасовка. Ира вырвалась и побежала. Сердце ее бешено стучало, пульс застрял в горле, она задыхалась.

— Стой, а где второй? — Иру остановил проводник. Ира бросилась на него с кулаками. — Это я вас вывел, успокойся, — сказал он и взял Иру за руки. — Давай сюда! — Он подтолкнул ее, и они соскользнули в холодную, склизкую канаву. — Говори тихо, — предупредил проводник. — Они всё еще рядом. Где твой друг? — повторил он вопрос. — Постой, они здесь, молчи.

Ира закрыла глаза. Пальцы ее медленно вошли в мягкую, ледяную грязь, она со всей силы сжала кулаки, и грязь прошла сквозь пальцы, по ее рукам поползли тонкие змейки. Ира разжала руки и спокойно произнесла:

— Его нет. Я ничего не смогла сделать.

— Надо идти, — помолчав, ответил проводник.

Они крались в темноте, прячась за деревьями, пока не добрались до машины проводника, спрятанной на одном из участков. Они залезли внутрь, незнакомец завел двигатель и осторожно поехал, стараясь не производить лишнего шума. Ира наконец узнала его. Это был тот молодой сержант, с которым они разговаривали днем, но сейчас он был без формы. Ира всё крутила головой и смотрела по сторонам,

а сержант молча вел машину и только время от времени стирал грязный пот с лица. Тут на дороге перед машиной мелькнула тень. Сержант затормозил и включил фары. Перед машиной стоял Владимир.

Ира и Владимир пересели назад и взялись за руки. Они молчали. Никто из них не решался задать сержанту вопрос. Когда машина выскочила на освещенную трассу, Ира отпустила руку Владимира.

— Я отвезу вас на автовокзал, оттуда доберетесь до города, — сказал сержант. — Деньги у вас есть?

Владимир проверил кошелек, улыбнулся и подмигнул сержанту через зеркало.

— Что это было? — выпалила Ира. — Кто они? Что они от нас хотели?

— Врать не буду, вы вляпались в очень плохую историю, — ответил сержант. — И чем раньше вы уберетесь отсюда, тем лучше. Я тоже виноват, но кто вас просил торчать на ферме так долго? У нас маленькая община, здесь не любят таких, как вы.

Машина подскочила на ухабе.

— Куда мы едем?! Стойте! — закричала Ира. Только сейчас она заметила, что сержант свернул с трассы.

Владимир обнял ее и зашептал:

— Не бойся, это лишь игра. Всё будет хорошо.

Борис Пономарев

Тоннель

Слава остановил автомобиль на обочине возле опушки леса и заглушил мотор.

— А теперь осталось пройти триста метров, — сказал он, вынимая ключ из замка зажигания.

Андрей вышел из машины и вдохнул ноябрьский воздух. Он ничем не пах, и это было приятно после неестественного ванильного ароматизатора, наполнявшего своими парами салон автомобиля. Поздняя осень была загадочна. Природа затихла; не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. На деревьях не оставалось уже ни одного листка. Серебристый «опель» выделялся светлым пятном на фоне темно-ржавой павшей листвы.

— Куда теперь? — спросил Саша, выходя из машины и придерживая дверь для Оли.

— Сюда, — сказал Слава, сверяясь с картой на телефоне. — Пойдемте.

Лес оказался совсем не густым; идти по нему напрямик, даже без тропинки, было несложно. Под ногами грустно и тихо шелестели листья, словно вздыхая о своей беззаботной, оставшейся позади летней жизни. Черные, обнаженные ноябрем ветви деревьев казались прожилками на серых облаках неба. Здесь, в лесу, начинал чувствоваться запах осени, пряный, густой аромат листвы, упавшей на влажную от дождей почву.

«Листва и почва, — подумал Андрей. — Листва падает на почву, и вот из увядания рождается странный запах мрачного калининградского ноября, месяца без солнца и снега. А затем листья смешаются с землей, станут перегноем, на котором появится что-то еще... Но пока — только этот запах...»

Эта поездка получилась совершенно неожиданно. Внезапно из Петербурга написал Саша: Андрей, привет, давно не виделись, мы с Олей прилетаем в Калининград на четыре дня, хорошо бы встретиться. Звонок: алло, Андрей, привет, вот, мы прилетели, уже побывали

на море и прошлись по музеям, у тебя нет возможности показать нам что-нибудь старое, немецкое и необычное? И вот рука уже набирает телефонный номер друга: Слава, здравствуй, ко мне тут друзья из Петербурга прилетели, у тебя никакой поездки в область на объекты не намечается?..

«Объекты» — так собирательно Слава называл всё то, что осталось здесь, в области, от прошлой, довоенной эпохи: немецкие дома, заброшенные усадьбы, полуразвалившиеся кирхи, закрывшиеся заводы, редкие остатки бетонных дотов и всё-всё остальное. Если Андрей был теоретиком калининградского краеведения, способным без малейшей запинки рассказать историю строительства мощной тевтонской крепости Бальга начиная с самого 1239 года, то Слава, в противоположность ему, являлся сугубо практиком, побывавшим почти на каждом заброшенном объекте области и знающим, что в лесок к югу от той же Бальги лучше не ходить (его знакомый, занимавшийся «черной археологией», как-то совершенно случайно прогулялся там с металлоискателем и лопатой, после чего заявил, что там старых мин больше, чем янтаря на пляже). Впрочем, сегодня до крепости путешественники могли и не успеть добраться: ноябрьское солнце рано уходит за горизонт.

Ушаково, небольшой поселок неподалеку от залива, Саше и Оле понравился, хотя к руинам замка Бранденбург пройти не удалось.

— Когда это так разрушили? — спросил Саша, глядя на могучие, толщиной в метр остатки крепостных стен, отгороженные неприступным забором из сине-белого гофрированного железа. — В войну?

— Нет, — ответил Андрей. — В восемнадцатом веке.

— ...а церковь? — спросила Оля, когда друзья поднялись на холм к руинам кирхи.

— А это уже в войну и после, — сказал Слава и, оглядев руины, добавил: — Да и сейчас местные на кирпичи помаленьку растаскивают.

Четверка вошла через бывшие ворота в башню кирхи — единственное, что от нее осталось. Несмотря на плачевное состояние, старая кирха всё еще наводила на мысли о вечном. В какой-то степени это было похоже на исполненную смирения христианскую притчу: от темных исписанных вандалами стен и грязного усыпанного мусором пола взгляд входящего поднимался вверх, по стенам, к квадратику серого осеннего неба над головами. В углу справа, подобно витражу, мелко блестело битое стекло пивных бутылок.

— Какая красота! — восхитилась Оля, фотографируя стену башни. — А почему здесь не сделают музей?

Андрей с грустью вздохнул: трудно было объяснить, за что так не повезло кирхе XIV века.

Выехав из Ушакова, Слава направил серебристый «опель» налево, на проселочную дорогу.

— Теперь к доту, — пояснил он, чуть притормаживая перед железнодорожным переездом. — Он тут неподалеку. Мои друзья-грибники рассказали, что недавно нашли в этих краях большой немецкий дот. Мол, побывай, не пожалеешь...

— ...видите, здесь крупных деревьев нет? — прервал Слава размышления Андрея, показывая ладонью на кроны. Под ногами всё так же, ровно и мягко, тихо шелестели павшие листья. — Вот здесь, по этой линии, где мы идем. Похоже, раньше тут проходила дорога к доту. Заросла немного за семьдесят лет.

Триста метров по лесу оказались чуть длиннее, чем ожидалось. Уже серебристый «опель» пропал из виду, уже Андрей начал приглядываться к ориентирам, чтобы в случае чего найти обратную дорогу, как вдруг впереди появился просвет. Слава, шедший первым, издал довольный возглас.

— А вот и дот! — сказал он, перешагивая упавшее дерево, поросшее мхом и опятами.

Лес здесь уже заканчивался. Четверо путешественников оказались на вершине холма, с которого открывался вид на долину с тихой, неторопливо текущей речушкой. Дот был почти незаметен со всех сторон — небольшой бугорок на холме, весь заросший травой и щедро усыпанный листьями. Единственное, что выдавало его, — это тыльная бетонная стенка и узкий коридор, уходящий внутрь, точно в погреб.

— Обзор хороший, — сказал, оглядевшись, Слава. — И маскировка что надо. Отличное место для дота подобрали, всю долину можно оборонять. Можно было...

Андрей огляделся еще раз. Вокруг царил странная, почти неземная тишина. Деревья уходили в небо. Неслышно текла речка. Казалось, что всё замерло в этот ноябрьский день. Здесь совершенно не чувствовалось время: вершина холма казалась местом вне эпохи. Наверное, подумал Андрей, точно так же на этом самом месте в сорок четвертом стоял такой же двадцатипятилетний, как и он сам, немецкий лейтенант и смотрел на эту реку и осенний лес. Потом, в сорок пятом, тут стоял двадцатипятилетний советский лейтенант. А теперь уже нет ни того ни другого лейтенанта, а всё так же замер в безмолвии ноябрьский лес с черными ветвями и несет свои воды мимо камышей речушка под серым небом...

С одного из деревьев тяжело сорвалась большая ворона. Она неторопливо облетела вокруг четверых пришельцев и, сев на бетонную стенку, требовательно, громко каркнула.

Андрей сунул руку в сумку и, отломив кусочек хлеба от бутерброда, кинул вороне.

— Будешь? — спросил он.

Ворона наклонила голову, внимательно глядя черным глазом-бусинкой прямо на Андрея. Подумав, птица подхватила хлеб клювом, взлетела и скрылась в лесу.

— Вороне как-то Бог послал кусочек хлеба, — сказал Саша, проводив ее взглядом.

— Упитанная, — добавила Оля.

Они стояли вместе, рука об руку. Андрей вдруг подумал, что Саша и Оля очень похожи друг на друга — серые глаза, почти одинаковых очертаний лица с острыми подбородками и даже почти одинаковый рыжий цвет волос, с той лишь разницей, что у Саши они были короткие и натуральные, а у Оли — длинные и крашенные. И куртки у них похожие: ярко-красные, финские, туристические, с броской эмблемой фирмы-изготовителя. Стоящий рядом Слава в своем практичном маскировочном костюме из военторга напоминал, в отличие от них, не то рыбака, не то партизана.

— Экипировка должна быть! — гордо сказал он, надевая черные вязаные перчатки и доставая фонарик. — Ну что же, посмотрим... На всякий случай предупреждаю сразу: все внимательно смотрим под ноги. Может быть провал. Может быть лестница. Может быть всё что угодно. Главное, чтобы не было мин...

Андрей зашел внутрь вслед за Сашей и Олей. Небольшой тесный коридор с бетонными, поросшими лишайником стенами заканчивался тупиком и амбразурой. Справа от нее была тяжелая металлическая дверь.

— Слава, — спросил он, — а твои грибники-то внутрь заходили?

— Почти нет! — жизнерадостно ответил впереди Слава.

Дверь открываться совершенно не хотела: Славе пришлось всем своим весом навалиться на большой рычаг, и только тогда внутри что-то скрежетнуло. Тяжелая железная дверь повернулась на петлях. За нею была непроницаемая темнота.

— Обратите внимание, — сказал Слава, проводя рукой по краю двери. — Аутентичная гермодверь и вентиляционный шлюз за ней. Редкость. Очень трудно встретить. В основном уже всё срезано на металл.

Он направил луч света в дверной проем и смело шагнул туда. За ним направился Саша, освещая себе путь мобильным телефоном.

— Оля, осторожно! — предупредил он изнутри. — Не запнись, тут порог!

Андрей оглянулся. Снаружи виднелся краешек ноябрьского неба, точно в уложенной горизонтально башне разрушенной кирпичи. Визит к Минотавру, почему-то подумалось ему. Кто, спускаясь в подземелье, знает, что он там обнаружит?..

Потолок в доте был низким, почти давящим на голову; Андрей пригнулся, проходя через шлюз. Фонарик в его руке почему-то совсем не давал света. Как быстро в нем сели батарейки, всего за год редкого использования, подумал Андрей, оглядываясь. Бетонные стены казались разлинованными: это оставили следы доски опалубки. Пахло характерной затхлостью немецкого подвала; Андрей внезапно вспомнил, как его дядя хранил велосипед в подвале старого довоенного дома на улице Павлика Морозова, и там был совершенно такой же запах былой эпохи, запах сырых кирпичей и плесени...

— Потрясающая сохранность! — восхищенно сказал Слава, оглядываясь и освещая фонариком всё вокруг. — Тут, похоже, с войны никого не было.

Он был прав: Андрей еще никогда не встречал в области столь хорошо сохранившегося — или, если сказать иначе, столь неразграбленного дота. Мысль о том, что они находятся в помещении, где семьдесят лет не ступала нога человека, вызвала в Андрее странное чувство. Оно было одновременно труднообъяснимым и приятным.

Андрей любил историю Кёнигсберга с детства. Еще в школе он читал книги по краеведению и истории. В свое время это позволило ему снискать славу знатока на местных сталкерских форумах, где он и познакомился со Славой. Вскоре после их знакомства Андрей перешел от чтения книг к практическим вылазкам. Ему такие экспедиции казались путешествиями во времени. Каждый раз у Андрея возникало необычное, удивительное чувство прикосновения к какому-то другому миру, закончившемуся в сорок пятом году; загадочной вселенной, возле которой живешь с рождения, но порой чувствуешь себя в ней пришельцем...

Андрей огляделся. Вдоль длинной стены каземата стояло несколько трехъярусных проржавелых металлических коек. Кое-где на них сохранилась вспучившаяся старая краска, цвет которой решительно нельзя было разобрать. В узкой стене располагались две металлические двери. Рядом с ними стоял какой-то непонятный агрегат, напо-

минавший ручную мясорубку с длинной ржавой ручкой. От него в потолок уходили две трубы.

— Я так же однажды уже видел, — сказал Слава, приглядевшись к «мясорубке». — Правда, только на фото. Электровентилятор с запасным ручным приводом и воздушные фильтры. Ну-ка, посмотрим...

Длинная ржавая ручка не поворачивалась. Слава еще раз с силой нажал на нее, потом отпустил.

— А что это? Печка? — спросил Саша, освещая телефоном стоящий неподалеку железный бак с трубой.

— Похоже...

Андрей шагнул в угол, где стоял стол. Над ним к стене крепился полевой телефон. Андрей взял в руки трубку (она была ужасно пыльной) и осторожно поднес к уху.

— Алло, — неожиданно для себя сказал он. Трубка не ответила. С таким же успехом можно было пытаться разговаривать с утюгом.

— Ну как, что слышно? — спросил сзади Саша.

Андрей пожал плечами и вернул трубку на место.

— Клондайк, — одобрительным тоном сказал Слава. Он огляделся и шагнул в сторону двух металлических дверей. Первая была даже не закрыта на замок. — Так, а здесь у нас, похоже, пулеметный каземат...

Пулеметный каземат был тесен: четверо едва поместились в нем. Под подошву кроссовка попало что-то неровное и круглое. Андрей направил луч фонарика вниз. Винтовочная гильза, стреляная, бурозеленая от времени. А рядом — еще такие же, рассыпью.

— Да тут весь пол в гильзах, — сказал Саша, поднимая одну с пола. — Это же немецкие, да?

Слава взял гильзу у него из рук, покрутил пальцами в перчатке, освещая фонариком.

— Они самые, — сказал он, возвращая гильзу Саше. — Немецкие, маузер семь девяносто два... Только не рекомендую брать с собой как сувенир. Вы же самолетом летите? Вас с нею даже в аэропорт не пустят, потому что считается как боеприпас. Возьмите лучше кирпич из кирпичи, что ли. С кирпичами в аэропорт пускают...

Луч фонаря скользнул по стене.

— А это задвижка амбразуры, — пояснил Слава, лязгая металлом. — Видите, ее можно открыть? Правда, снаружи уже всё заросло, ничего не видно. А сюда ставили пулемет...

— Мы были в Карелии, — сказал Саша, глядя на ржавую задвижку. Оля сфотографировала ее на телефон. Вспышка ударила по глазам,

отразившись от бело-серых бетонных стен. — Там тоже дотов много. А гильз мало.

Слава поддел носком армейского ботинка одну из гильз. Она с негромким «динь» ударилась об стену.

— Нам повезло, что этот дот так прекрасно сохранился, — сказал он. — Редкое счастье.

Андрей шагнул назад, в большое помещение дота, и потянул на себя вторую дверь. За ней был небольшой тамбур с еще одной дверью, непохожей на все предыдущие: квадратной формы, она запиралась круглым массивным вентиляем, похожим на задвижку трубы.

— Тут чем дальше, тем интереснее, — сказал Саша, пока Слава тщетно пытался повернуть круглый вентиль. — А что там будет впереди? Янтарная комната?

— Навряд ли, — бросил Слава, отпуская никак не желающую поддаваться рукоятку. — Намертво закрыто. Похоже, надо сходить за инструментами в машину...

Андрей прикоснулся к большой железной рукояти. Металл был тверд и шероховат от ржавчины, словно старая, полуосыпавшаяся наждачная бумага.

— Дельная мысль, — произнес он, осторожно пытаясь повернуть сопротивляющуюся рукоять. — За такой дверью просто должно быть что-то интересное. Наверное, так чувствовали себя археологи, раскопав гробницу Тутанхамона. Всё вокруг разграблено за века, а тут — нетронутая история. Хотел бы я так же...

На «так же» рукоять резко и совершенно неожиданно поддалась, будто внутри соскочил какой-то стопор. Внутри что-то глухо лязгнуло, словно затвор корабельного орудия.

— О! — воскликнул Андрей, потянув тяжелую дверь на себя. Она медленно приоткрылась.

Это была лестничная клетка — такой же каземат, как и остальные помещения дота. Вниз круто уходили бетонные ступени. На небольшой площадке, сразу напротив двери, располагалась ржавая лебедка с крупными зубчатыми колесами. Идущий от нее такой же буро-ржавый трос тянулся к шкиву посередине потолка и уходил вниз, в темноту проема между лестничными маршами.

— Вот это да! — восхищенно сказал Саша. Андрей и Слава на правах аборигенов молчали. Луч фонаря устремился вниз. Где-то там едва-едва можно было разглядеть дно шахты. Четверо путешественников переглянулись.

— А далеко идет, — почему-то шепотом сказал Андрей.

— Очень.

— Колоссально!

— А что это такое вообще?

— Спуск, — пожал плечами Слава. — Видимо, там что-то было... или даже есть.

Андрей и Слава снова переглянулись.

— Рискнем?

— Рискнем.

— Ну давайте, — сказал Саша.

Лестница была очень крутой и узкой, поэтому фонарик Андрею приходилось держать в левой руке, а правой — держаться за железные проржавевшие перила. Кроссовки не помещались на ступени, поэтому приходилось спускаться, ставя ноги боком. В проеме лестницы чернел неизвестный мрак.

— А вы такого раньше не видели? — спросил Саша где-то на пятом лестничном марше.

— Разве что на фотографиях, — честно ответил Слава. — Но у нас — ни разу... Я даже так скажу, если бы такое было у нас, я бы знал.

Андрей, снова замыкающий группу, направил фонарик вверх, потом вниз. Свет фонаря едва-едва высветил там что-то серое и бетонное.

— Какой-то бесконечный спуск, — сказал он в районе восьмого лестничного марша.

— Словно Алиса в кроличьей норе, — согласилась Оля.

Саша попытался осветить фонариком мобильного телефона в центральном пролет, но безуспешно.

— Это, конечно, глупый вопрос, — спросил он как бы в шутку, — но там точно никого нет?

Андрею подумалось, что это — совершенно не глупый вопрос. Да, разумеется, этот дот и эта лестница заброшены давным-давно и здесь, судя по всему, никого не было уже целых семьдесят лет, но какой-то затаенный страх подземелья не давал ему покоя. Это ощущение было намного старше, чем Андрей, старше, чем уходящая во тьму лестница. Наверное, это чувство было ровесником человечества — страх темноты, где кроется кто-то, кто умеет видеть лучше тебя; кто-то, у кого есть острые клыки и острое чувство голода, и неважно, кто это, саблезубый тигр или странное человекообразное существо с бледной кожей и незрячими глазами...

— Не должно быть, — не сразу ответил Слава. В его словах чувствовалась какая-то неполнота уверенности, хотя, возможно, Андрею это

показалось. — Так, вроде там уже виднеется конец спуска. Еще пара пролетов, и мы пришли.

Лестничная клетка внизу была больше верхней: бетонный вытянутый каземат со следами опалубки на стенах и ржавая клеть грузоподъемника, от которой вверх тянулся трос. Потолок каземата выгибался небольшой дугой, видимо, противодействуя давлению земной толщи. Посередине располагался плафон, затянутый железной сеткой. Вдоль стены тянулась круглая вентиляционная труба с зарешеченным торцом. В углу каземата стоял металлический шкафчик, из которого расходились по стенам несколько проводов. Большая металлическая дверь в дальней стене была слегка приотворена.

— А свет тут зажигается? — спросил Саша так буднично, будто Андрей и Слава бывали в этом подземелье уже раз двадцать и знали тут всё наизусть.

Слава осветил фонариком на плафон и присмотрелся к нему.

— Лампочка цела, — сказал он. — Черт его знает, может, и зажигается...

Он подошел к металлическому шкафу. На дверце был нарисован череп с молнией. Слава подергал ручку. Безрезультатно.

— Закрыто, — сказал он. — Ну да всё равно, откуда тут быть электричеству?

Сейчас друзья почему-то говорили вполголоса. Андрей осветил в полуоткрытый дверной проем. Там за небольшим шлюзом было какое-то помещение.

— Слава, глянь-ка, — сказал он, открывая туго поворачивающуюся на петлях массивную дверь. — Тут рельсы...

По всей видимости, это была подземная железная дорога. В обе стороны уходил тоннель с проложенными рельсами. Широкая дверь, из которой появился Андрей, вела на небольшую, высотой в полметра, платформу. Линзы старого светофора в свете фонарика выглядели такими же непроницаемо-черными, как и пластмасса висящего рядом настенного телефона. Стены тоннеля, изгибаясь, соединились на потолке, образуя прихотливой формы эллиптическую арку. В бесконечность шла цепочка плафонов и тянулись толстые, диаметром в руку, кабели в черной резине изоляции.

Друзья вышли на платформу. Она была очень маленькой; здесь могли бы уместиться еще буквально два-три человека.

— Слушайте, ну вы даете, — восхитился Саша, озираясь. — Я такого еще никогда не видел. Что это вообще у вас за подземная дорога такая? И тоннель яйцом?

Слава и Андрей переглянулись.

— Да мы сами первый раз видим что-то подобное, — признался Слава.

Андрей посмотрел вниз. Едва тронутые ржавчиной рельсы были утоплены в специальные пазы бетонного пола. Андрей знал, что это делается для того, чтобы в случае необходимости по тоннелю мог проехать автомобиль.

— Что-то узкоколейное, — сказал он, приглядевшись. — Это не метро, это скорее трамвай. Но, видимо, далеко идет.

— Слушайте, — решительно заявил Слава. — Я предлагаю пока никому не рассказывать про это подземелье. Я же знаю — сюда или закроют вход, или разграбят всё, что только можно, или и то и другое вместе. Ну а мы больше никогда сюда не попадем. Мне нужно будет приехать более подготовленным. Я сейчас почти ничего с собой не взял...

Он направил луч фонаря направо. Тоннелю не было видно конца; фонарик высветил первую сотню метров. То же самое было и слева: бесконечный, прямой как стрела бетонный коридор с уходящими во тьму рельсами, толстыми черными кабелями и плафонами давно погасших ламп.

— Кажется, там что-то виднеется, — сказал Слава, вглядываясь. — Давайте посмотрим?

Андрей направил луч своего фонаря вверх. Над дверью, ведущей назад, черной краской было написано «А-4212».

— Большое тут, похоже, подземелье, — произнес он.

Ширины тоннеля вполне хватало для того, чтобы все четверо путешественников могли идти в ряд. Когда небольшая станция осталась позади, к Андрею почему-то вернулись все ощущения, что были на лестнице. Возможно, страх будила атмосфера темного тоннеля, мрак впереди и мрак позади. Сам Андрей мог поклясться, что здесь кроется что-то еще, но много ли стоит клятва человека, идущего в темноте, где уже семь десятилетий не было ни единого луча света? Что останется от этой клятвы, когда он поднимется обратно, на поверхность земли?

Если поднимется, внезапно подумал Андрей. Он потряс головой и на всякий случай обернулся. За ним никого не было. Дверь в стене тоннеля уже нельзя было разглядеть. Андреем овладело странное беспокойство. Он внезапно почувствовал себя космонавтом, вышедшим погулять по Луне и обнаружившим, что его корабль скрылся за горизонтом.

— Похоже, там какой-то поезд, — внезапно сказал Саша, взглядев-шись вперед.

— Типа того, — согласился Слава.

Это и в самом деле был небольшой поезд, состоящий из мотодрезины и трех прицепленных к ней вагонеток. В двух из них лежали большие прямоугольные ящики, покрытые пылью, зеленые, с черными немецкими буквами и непонятными обозначениями; в последней вагонетке стояли две железные бочки. На крышке каждой из них выступало отштампованное WENRMASHT 1944.

— Наверное, горючее, — предположил Андрей. На закрытых сливных горловинах бочек виднелись маслянистые подтеки.

— Вот это да, — сказал Саша, жадно вглядываясь, пока Оля фотографировала поезд на телефон. Слава, пройдя мимо нее вперед, деловито и аккуратно открыл защелку одного из ящиков.

— Винтовочные патроны. Много, — присвистнул он. — Такие же, что и наверху.

Латунные гильзы тускло блеснули в свете фонариков.

— Как новые, — заметил Андрей.

— Это так кажется, — сказал Слава, прикасаясь к металлу. — Пыль тут все-таки есть. Видимо, ящик хорошо защищает от сырости, поэтому они и сохранились. Так, посмотрим, а что здесь...

В следующем ящике лежали ручные гранаты, похожие на толкушки для картофеля. Саша и Оля с восклицанием отшатнулись. Слава самым аккуратным образом опустил крышку.

— С годами взрывчатка становится всё более и более чувствительной, — с неохотой сказал он, оглядывая остальные ящики. — Видимо, там еще много интересного, но я загляну сюда как-нибудь в другой раз.

В мотодрезине позади водительского кресла стояли картонные коробки. Судя по надписям, там были консервы. Слава осторожно заглянул внутрь.

— И правда консервы, — сказал он, доставая большую банку. — Посмотрите, ее даже не раздуло.

— Вот это сохранность! — восхитился Саша.

Друзья переглянулись.

— Давайте еще пройдем, — предложил Слава. — Непонятно, как далеко идет этот тоннель, но, думаю, надо ковать железо, пока горячо.

— Надо, — согласился Саша. Андрей тем временем смотрел на мотодрезину.

— Почему ее здесь оставили? — спросил он.

— В смысле? — удивился Слава.

— Ну, почему ее бросили здесь, в тоннеле? Почему не доехали до следующей остановки? Почему бросили дрезину, отъехав метров двести от той станции, где мы появились? Если тут был бой... то где... трупы? — с неохотой произнес он последнее слово.

— Топливо? — предположил Саша. — Кончилось?

Андрей посветил фонариком на бочки в последней вагонетке и пожал плечами. Вряд ли мотодрезина остановилась из-за недостатка горючего.

— Всякое могло быть, — ответил Слава. — Думаю, об этом мы уже не узнаем. Или пройдем подальше и найдем ответ. Вдруг там обвал?

— Пойдемте посмотрим, — согласился Саша. — Главное, чтобы сейчас ничего не обвалилось.

В этот раз пришлось идти подольше. Дорога выглядела совершенно однообразной и бесконечной; Андрею казалось, что они попали в тоннель Мёбиуса и ходят в нем по замкнутому кругу. Ярче всего светил фонарик Славы, его хватало метров на сто. Мобильные телефоны Саши и Оли прекрасно освещали тоннель вблизи, но уже через десять-пятнадцать метров наступала тьма. Примерно на такое же расстояние хватало фонарика Андрея. Под выгнутым потолком с интервалом в десять метров шли плафоны; возле каждого был написан четырехзначный номер. А-4185. А-4184. А-4183.

— Какое огромное подземелье, — сказал Саша, дотрагиваясь до бетонной стены. — Как думаете, что это вообще такое? Зачем его построили?

— Я читал про что-то подобное, — сказал Андрей. — «Логово дождевого червя», укрепленный район возле Одера. Что-то вроде немецкой линии Мажино. Доты, сеть подземных тоннелей, склады... Похоже, здесь что-то в таком же духе.

— А тут вообще были бои? — спросил Саша, когда молчание затянулось на целых пять секунд. — В смысле, здесь, в этом районе.

— Еще какие, — ответил Андрей. — Хайлигенбайльский котел, весна сорок пятого. Сражения посильнее штурма Кёнигсберга. Может, немцы сражались за этот тоннель? Судя по всему, тут большое подземелье.

— Очень большое, — сказал Слава. — Слишком большое. Странно, что о нем никто не знает.

— Может, просто не говорят? — спросил Саша. — Как московское метро-два. Я как-то говорил с одним диггером, который пытался туда залезть лет двадцать назад...

— Наверяд ли, — возразил Слава, прерывая его. — Тогда бы тут всё было перекрыто и мы бы сюда не попали. Помню, ликвидировали у нас в двенадцатом году одну воинскую часть. Я хотел залезть там в бомбоубежище, но не получилось. Заделали все двери, без автогена не пройдешь...

— Тут слишком чисто, — сказал Андрей, внезапно поняв, что егостораживает вот уже минут двадцать.

— То есть?

Андрей пробежал лучом фонарика по стенам.

— Ну, чисто. Ничего не разломано, не исписано и не повреждено.

— Так если тут никого не было семьдесят лет, то здесь всё и должно сохраниться, — ответил Саша.

— Ну, должно-то должно... — с сомнением протянул Слава, понимая, о чем говорит его друг. — Но ты помнишь, в каком состоянии был дот наверху? Лишайник, сырость, ржавый металл. А тут всё как новое.

Четверка замолчала. В темноте тоннеля слышались только их шаги.

— Всё сохранено, но ничего не тронуто, — сказал Андрей. — Как в музее.

— Или на складе, — сказал Слава. Внезапно он замедлил шаг и повернулся к стене слева. — Посмотрите, здесь раньше был проход.

Действительно, в бетонном монолите явно просматривались контуры большой заплаты, закрывающей когда-то находившуюся здесь дверь. Сверху чернела надпись «А-4095», сбоку крепился телефонный аппарат.

— Зачем его заделали? — с интересом спросил Саша. Слава пожал плечами.

— Да кто его знает... По размерам похоже на дверь станции, только платформы нет. Может, там что-то ненужное. Вот, кстати, и ответ. Если все остальные выходы из этого тоннеля замурованы, то понятно, почему про него никто не знает. Ладно, пойдемте дальше.

Ноги Андрея уже начали слегка уставать. Саша рассказал, как они год назад с Олей совершили вылазку в строящуюся новую ветку петербургского метро и потом прятались там от охраны, но разговор скоро угас.

— Похоже, этот тоннель идет очень далеко, — сказал Саша, когда шагать в тишине сделалось совсем невмоготу. — Может быть, повернем назад?

Слава потер подбородок рукой в перчатке.

— Ну, думаю, можно. В принципе, мы тут уже всё посмотрели, так что... А, подождите, там что-то есть!

Это было небольшое ответвление. Линия рельсов отделялась и резко сворачивала в короткий коридор вправо, в какой-то просторный зал с настежь раскрытыми воротами. Возле развилки чернела большая надпись на немецком языке, с тремя восклицательными знаками в конце.

— Вот это да! — прокомментировал Слава, когда друзья зашли внутрь. Лучи фонариков скользнули по потолку и стенам. Судя по всему, это был какой-то склад. Потолок выгибался по дуге, точно в ангаре. Над рельсами свисали слегка заржавелые крюки погрузочных кранов; в свете фонариков это выглядело жутко. Пугающие тени падали на стоящие вокруг штабеля ящиков. Вдалеке виднелись железные бочки, уложенные в пирамиды.

— Склад боеприпасов? — спросил Саша. Судя по голосу, его не радовала мысль находиться в помещении, где, возможно, лежит столько взрывчатки.

— Не исключено, — предположил Андрей, подойдя к ближайшему штабелю и освещая фонариком буквы на ящиках. — Ничего не понятно, какие-то шифры...

Оля, снова вытащив телефон из куртки, сфотографировала склад. Слава оглянулся и шагнул в проход между двумя штабелями.

— Много тут всего, — сказал он, приглядываясь к ящикам. — Ладно, без инструментов я сюда не хочу лезть. Андрюх, видел надпись там, на входе? Можешь перевести, вдруг это пригодится? Я там смог разобрать только слово «Ахтунг».

Четверо друзей вернулись обратно в небольшой коридор, соединяющий главный тоннель со складом. Слева и справа, с каждой стороны, было по две закрытые двери. Андрей подошел к надписи возле перекрестка и пригляделся. В школе он учил немецкий, но одно дело — уметь сказать «Ихь хайсе Андрей», а другое — перевести надпись, состоящую наполовину из незнакомых слов.

— М-м-м, — сказал он, дважды пробежавшись глазами. — Что-то вроде «Внимание! Категорически запрещается»... как это... ну, осуществлять обход тоннелей... или путей... «в одиночку». Да, примерно так. Запрещается обходить тоннели в одиночку. «Минимум трое обходчиков», если я правильно перевел это слово.

— С чего бы это? — спросил Саша.

— Ну, нас как раз четверо, — одновременно с ним сказал Слава. — Так что всё нормально. Орднунг.

Андрей отошел в сторону, потому что Оля уже готовилась сфотографировать надпись.

— Что, интересно, за этими дверями? — спросил он, открывая первую. Рычаг подался совершенно беззвучно, и так же беззвучно открылась дверь.

Там оказалась большая казарма, похожая на ту, что была в доте: такие же трехъярусные железные койки, только аккуратно заправленные. Вдоль стены в ряд выстроились металлические шкафчики. Дверца одного из них была открыта настежь. Это мелкое проявление беспорядка почему-то показалось Андрею противоестественным, странным.

— Одежда даже не очень истлела, — сообщил Слава, щупая край одного из них. — Я бы даже сказал, совсем не истлела. Но возраст все-таки чувствуется.

«Есть ли у одежды возраст?» — подумал Андрей.

Комната за второй дверью напоминала диспетчерскую на вокзале. Небольшое помещение было почти полностью занято электрооборудованием крайне старомодного вида. Сбоку располагался какой-то пульт управления с длинными рядами лампочек и тумблеров. Стрелки измерительных приборов указывали на нули. У противоположной стены возвышались две металлические стойки с непонятными приборами и солидная аккумуляторная батарея. Провода соединялись в толстые пучки, уходя в закрытые короба под потолком, тянущиеся вдоль вентиляционной трубы.

— Видимо, путевое хозяйство, — сказал Слава. — Я видел такое на заброшенной жэ-дэ станции. Светофоры, семафоры...

Оля достала телефон и два раза сфотографировала диспетчерскую.

— Ого, уже три часа! — удивилась она. — Неожиданно.

— Да ну! — Андрей достал свой телефон. Батарея сильно разрядилась за время пребывания под землей. — А ты часы на калининградское время перевела?

Оля не ошибалась. Друзья провели под землей уже около часа.

Следующая дверь скрывала еще более интересную комнату.

— Штаб, — сразу и безошибочно заявил Слава, освещая фонариком интерьер.

Это действительно было штабное помещение, полностью и прекрасно сохранившееся. Если про бетонный подземный каземат можно сказать «уютный», то здесь отчасти даже было уютно. Прямо напротив двери, словно встречая гостей, висел портрет рейхсканцлера. Под портретом на побеленной стене чернел нарисованный немецкий орел. В свете фонариков из-за контраста двух красок казалось, что силуэт птицы прорезан в стене.

Шагнув вперед, Андрей огляделся. Железный сейф рядом с ним казался таким же незыблемым и несокрушимым, как и всё подземелье. На добротном столе из массивного дерева возвышалась стопка папок с бумагами. Стол в противоположном углу каземата был гораздо более аскетичным и напоминал школьную парту: на нем располагалась какая-то аппаратура связи.

Луч света остановился на огромной прикрепленной к стене карте местности. Андрей подошел ближе, чтобы рассмотреть ее. Западная часть Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Эльбинг и Алленштейн. Калининград, Эльблонг и Ольштын.

— Судя по всему, — сказал он, вглядываясь, — это схема нашего подземелья.

Поверх старых, довоенных названий в тридцатикилометровом пространстве между Цинтенем и Хайлигенбайлем, между Людвигсортм и Браунсбергом шли сразу несколько жирных ломаных линий. Линии пересекались, разделялись надвое, как жилки на листьях, уходя в разные стороны и снова разделяясь. В южной части схемы одна из линий, выделенная красным цветом, расходилась целой звездочкой лучей. На север, к Кёнигсбергу, тянулся тонкий зеленый пунктир.

— Какое оно большое! — с уважением сказал Слава. — Не понимаю, почему о нем никто не знал? Это же целый подземный город! Как его можно скрыть?

— Помните, я говорил про Хайлигенбайльский котел? — спросил Андрей. — Так это он практически и есть.

Он шагнул к карте и провел пальцем вокруг лабиринта из линий. На пальце осталось пятнышко пыли. Подумав, Андрей достал из кармана телефон и заснял висящую на стене схему.

— Хорошо бы найти подробную карту этого подземелья, — сказал Слава. — По логике вещей, здесь, в штабе, просто должен быть детальный план со всеми помещениями. Так, а что здесь... Похоже на связь. Наверное, радио... хотя какое радио под землей?

Андрей вгляделся в технику, лежащую на маленьком столе.

— Знаете, что это? — Он направил луч фонарика на агрегат, напоминавший портативную письменную машинку в чемоданчике. Над клавиатурой из корпуса выступали обода трех дисков с идущими по ним буквами.

— Что? — спросил Саша.

— «Энигма».

— Которая шифровальная машинка?

— Она самая.

Саша издал восхищенное восклицание. Андрей протянул палец и нерешительно нажал клавишу. Внутри что-то негромко щелкнуло; один из трех дисков сдвинулся на одно деление.

Саша попробовал приподнять «Энигму».

— Тяжелая, — недовольно заметил он. — Но какой аппарат! Нужно вытащить его наверх! Слушайте, с ним же в самолет пустят?

— Может, не стоит? — сказал Андрей.

— Лучше не надо, — согласился Слава. — Зачем она тебе-то?

— Ну а что, нельзя? — удивился Саша. — Я думаю, никто из хозяев этого помещения не будет против.

— Возьми лучше картину, — предложил Слава, направляя луч фонарика на портрет Гитлера. Андрею показалось, что при этих словах нордически строгий взгляд рейхсканцлера стал еще более грозным. — Хорошая картина. Холст. Масло. Дубовая рама... резная... с листьями и мечами. Правда, без бриллиантов. В аэропорту скажешь, что сувенир из Восточной Пруссии.

— Портрет — это несерьезно, — возразил Саша.

— Мне кажется, жители области имеют приоритетное право на немецкое наследие, — дипломатично, но настойчиво сказал Слава, подойдя к стоящей в углу металлической вешалке. — Вот, возьми офицерскую фуражку. Как новенькая. Очень хорошо сохранилась, даже почти не запылилась.

— Жалко как-то, — сказал Андрей. — Тут, по-хорошему, музей бы сделать.

Ему внезапно стало горько. Ну какой музей тут сделают? Скорее всего, все входы закроют, чтобы какие-нибудь искатели приключений не сломали себе ноги на лестницах и не подорвались на старинной гранате. В лучшем случае, даже если спустя годы в этом уникальном подземелье сделают музей, то от всего, здесь находящегося, — и от вагонеток с патронами, и от диспетчерской, заполненной оборудованием, и даже от этого штаба останутся только бетонные стены с изображением орла и предупреждающей надписью, — да и то лишь потому, что они не представляют собой никакой материальной ценности. А «Энигму» всё равно кто-нибудь утащит к себе домой. Если немецкой шифромашинке повезет — то ценитель, как он, Андрей. Если не повезет, то Слава, который продаст ее какому-нибудь коллекционеру. В этом подземелье, мирно дремавшем семьдесят лет, появились люди, и, похоже, самое гуманное по отношению к этому заповеднику — расхитить его самостоятельно, пока сюда не пришли

ни черные копатели, ни администрация. Какая-то неприятная тоска была в этом предельно жизненном и жестком размышлении.

За спинами что-то противно скрипнуло. Звук был негромкий, но на контрасте с полувековой тишиной он прозвучал крайне пронзительно.

— Что это? — резко обернулся Слава, делая шаг к двери.

Скрип доносился со склада. Один из крюков, свисавших над рельсами, слегка покачивался на железном тросе; металл издавал неприятное, царапающее слух и душу поскрипывание. Четверо путешественников остановились в воротах прямо напротив зловещего маятника.

— Какой-то полтергейст, — сказал Андрей. Эхо его голоса показалось слишком громким. Почему-то Андрею захотелось перейти на шепот.

Скрип. Саша фыркнул.

— Оберлейтенант Фриц Полтергейст любил скрипеть тросами даже после смерти.

Скрип. Андрею почему-то не понравилась эта шутка. Она была бы более уместна наверху, над поверхностью земли.

— Тогда уж Полтергайт, — сказал он, поправляя Сашино произношение.

Скрип.

— Сквозняк, что ли?

— Откуда тут быть сквозняку?

Крюк продолжал едва-едва раскачиваться, но противный звук больше не раздавался. Андрей выдохнул, ощущая смутное облегчение.

— Пойдемте дальше смотреть, — предложил Слава, возвращаясь в штаб. На этот раз его внимание привлек сейф. Тем временем Андрей подошел к большому столу. Тот, кто когда-то давно сидел за массивной столешницей, должно быть, очень любил порядок. Ровная стопка папок лежала точно в углу. Массивный чернильный письменный прибор располагался строго параллельно краю стола, так же, как и таблица с каким-то машинописным расписанием. Посреди этой канцелярской гармонии лежал недописанный лист бумаги. Некоторые строчки были зачеркнуты, а конец текста — равномерно закрашен чернилами.

Андрей взял в руки бумагу и взгляделся. Судя по всему, это был черновик какого-то донесения. Неизвестный, написавший эти строки, обладал аккуратным, ровным почерком с большим нажимом; с такой же аккуратностью он зачернил последние абзацы, почти процарапав

бумагу насквозь. В этой методичности, ощущаемой через десятилетия, было что-то, заставившее Андрея насторожиться.

— ...нет, зубилом тут бесполезно, — заявлял Слава, прикасаясь указательным пальцем к сейфу, — но, думаю, я смогу открыть его болгаркой. Правда, придется нести генератор...

— Слушайте, — сказал Андрей, прерывая друзей. — Эй! Послушайте!

— Что? — спросил Слава, подходя к нему.

— Тут, похоже, какая-то важная бумага. Вот, слушайте. Какое-то донесение. Судя по всему, что-то серьезное... непонятные происшествия... события...

Андрей путался, переводя строки. Казалось, что неизвестный автор специально хотел использовать в своем донесении наиболее сложные грамматические конструкции немецкого языка.

— В общем, вот тут дальше идет перечень происшествий. Восьмого января сорок пятого: при обходе тоннеля... то есть участка тоннеля «А двадцать два» бесследно пропали двое рядовых. Пятнадцатого января станционные смотрители... ну, тут куча фамилий... в общем, сразу на пяти станциях утверждали, что видели на участке «А шестнадцать» поезд-призрак... Восемнадцатого января на участке тоннеля «А сорок два» бесследно пропал поезд с амуницией и сопровождающими...

— А не тот ли это поезд, — внезапно перебил его Саша, глядя прямо в глаза, — мимо которого мы прошли?

— Очень может быть, — сказал Андрей, стараясь пока не обдумывать этот факт. Оставаться мыслями в немецком донесении было не так страшно. — Двадцать пятого января внезапно начала разрушаться стена... как это перевести... м-м-м... в общем, они зачем-то замуровали один боковой тоннель, а потом кто-то выломал изнутри кирпичную стену.

— Зачем им замурывать тоннель? — спросил Слава.

— Здесь не написано. Просто сказано, что вместо кирпичей они заделали вход армированным бетоном, но очень чего-то опасаются и усилили сопровождение поездов на этом участке. Второе февраля. Авария на понижающей подстанции номер два, обесточен завод тяжелой воды и тоннель «А десять». Путевые обходчики утверждают, что слышали на участке голоса русских солдат. Последующее патрулирование ничего не обнаружило. Седьмое февраля. Пропали два путевых обходчика на участке «А шестнадцать». Третий, бросив оружие, в панике добежал до станции. Утверждает, что оно набросилось сзади. Не может объяснить ничего. Госпитализирован в лазарет с нерв-

ным расстройством. Патрулирование ничего не обнаружило. Тринадцатого февраля. Я могу только разобрать «пожар на базе подводных лодок»...

— Какое большое подземелье, — вполголоса заметила Оля. Андрей продолжил:

— ... а дальше всё вычеркнуто. Посмотрите, строки даже специально залиты чернилами...

Четверо замолчали, переглядываясь. Свет фонариков, направленный в стороны, делал знакомые лица похожими на демонические маски.

— Куда это мы попали? — спросил Саша, перейдя на шепот.

— Наверное, отсюда надо уходить, — сказал Андрей. — Я не знаю, что тут происходило у немцев, но, наверное, об этом лучше думать наверху.

Слава издал неопределенное восклицание.

— Тогда уходим, — сказал он, потирая подбородок. Грязная перчатка, словно в школьной страшилке, оставила на коже черное пятно.

— Почему в чашке — кофе? — внезапно сказала Оля, светя своим телефоном сбоку от стола. В чашке, стоявшей на небольшой тумбочке, блеснула черная жидкость неприятного вида. — Почему он не высох за эти годы?

Слава взял в руку чашку и покачал ее. Непонятная черная жидкость вела себя так, как и положено жидкости. Поднеся чашку к лицу, Слава принюхался.

— Вроде и правда кофе.

— Хорошо, что он не горячий, — произнес Андрей. — Это было бы уже слишком. Мы заходим на заброшенную станцию, а там стоит чашка горячего кофе.

— И в двери появляется офицер, — продолжил Слава, ставя чашку на стол. — И спрашивает: кто выпил мой кофе?

— И трогал мою фуражку? — пошутил Саша.

— Да ну тебя, — сказала Оля. — Лучше пойдем отсюда.

— Может, посмотрим, что за последней дверью? — спросил Андрей. — Вдруг там выход на поверхность?

Эта дверь открылась так же легко, как и все остальные на этой станции. На петлях влажно блеснул солидол. Друзья оказались на площадке. За небольшой железной решеткой находилась лифтовая шахта с двумя стальными канатами, натянутыми, точно нервы у каждого из четверых. Шахта уходила вверх и вниз; в одну из ее стен были вмурованы железные скобы, выполнявшие роль запасной лестницы.

Слева обнаружилась еще одна дверь. Похоже, в ее механизме было что-то сломано: запирающая ручка свободно вращалась вокруг своей оси, но это не давало ни малейшего эффекта.

— А лестницы нет, — недовольным голосом констатировал Слава, оглядываясь. — Только такая.

Он отодвинул в сторону решетку и, осторожно перегнувшись, посмотрел фонариком во тьму шахты.

— Глубоко идет, — сказал Слава. Вытянув руку, он подергал одну из скоб и нахмурился. — Прочно сидят... Но что-то мне не хочется лезть вверх без страховки, да и вам лучше так не рисковать. Тут высоковато.

— Шестнадцать пролетов, — вспомнил Андрей. — На той лестнице было шестнадцать пролетов. Восемь этажей наверх.

— Мы столько не пролезем, — заявил Саша, крепко взяв Олю за руку.

Слава повернулся к стене, подергал два имеющихся там рубильника. Они неприятно клацнули, словно зубы скелетов в фильме ужасов.

— Нет тока — нет лифта... — протянул он. — Жаль. Но стоило проверить. Здесь наверняка должна быть еще одна нормальная лестница, но, похоже, она за сломанной дверью. Ладно, пойдете обратно.

Четверо путешественников вышли наружу, в тоннель. Андрей внезапно только сейчас понял, что продолжает сжимать немецкое донесение в руках. Он сложил лист вчетверо; бумага издала тихий, словно сожалеющий хруст, напомнивший Андрею об упавших листьях в лесу. Дома надо будет перевести, подумал он, убирая донесение во внутренний карман. Бравый разведчик спустился в немецкое подземелье и унес из штаба важный документ. Унесет ли он теперь ноги?..

Луч Славиного фонаря снова осветил предупреждающую надпись у поворота в главный тоннель.

— Патрулировать не меньше чем втроем, значит, — сказал он. — Ну что же...

Тишину подземелья разорвал резкий звук зуммера. Казалось, что внезапно зазвонил колокол громкого боя. Звук шел из штаба. Зуммер ударил по ушам, отразился от бетона и ушел затихать эхом в туннеле.

Андрей едва не подпрыгнул от страха. Впрочем, дернулись все четверо.

- Что за черт?
- Сигнализация?
- Откуда здесь?
- Ой!

Два калининградца, оставив в тоннеле Сашу с Олей, бросились обратно в штаб. Навстречу им снова раздался зуммер. Пронзительно и неприятно жужжал полевой телефон, стоящий на столе рядом с «Энигмой». Это был звук черно-белых фильмов о войне, звук, идущий в одном комплекте с воем пикирующих бомбардировщиков, рокотом танковых моторов и грохотом артиллерийских залпов. Слава и Андрей остолбенели.

— Это как? — донесся из-за их спин шепот Саши.

— Не может быть! — вторила ему Оля.

Телефон зазвонил в третий раз.

— Думаю, звонят явно не нам! — сказал Слава. Фонарик в его руке чуть подрагивал, однако в такой момент никто не обратил на это внимания.

— Может, какой-то пробой электричества? Ну, от тех рубильников? — спросила Оля.

Четвертый звонок.

— А если они удивятся, почему на звонок не отвечают? — спросил Саша.

— Кто — они? — сказал Слава.

— Ну, немцы...

— Какие еще немцы?

— Ну... эти... ваши...

— Какие еще «наши»?

Пятый звонок. Андрей, повинуясь какому-то странному полугипнотическому зову, шагнул вперед и, стиснув зубы, схватил черную пластмассовую трубку.

Речь человека на том конце была резкой, командной и безостановочной. В ухо Андрею ударила длинная цепь немецких слов, произнесенных на одном дыхании. Он еще пытался что-то осознать, как на том конце провода что-то щелкнуло. Сеанс связи закончился меньше чем за пять секунд.

— Что это вообще было? — спросила Оля.

— Что он хотел? — одновременно с ней спросил Слава.

Телефонная трубка в руках у Андрея молчала. Ни гудения, ни треска, ни помех, словом, ничего. Тишина в динамике была такой же абсолютной, как и мрак в тоннеле, по которому четверка пришла сюда. Андрей зачем-то подул в микрофон, постучал трубкой о ладонь. Эффекта не было. Он положил трубку полевого телефона обратно и только потом повернулся.

— Он говорил по-немецки, — произнес Андрей.

— Это мы поняли, — сказал Слава. — А что он говорил?

Андрей пожал плечами.

— Если бы он говорил помедленнее, то я бы успел что-нибудь понять. Судя по всему, он был очень сердит. Я разобрал только слова «заукопф», «гефар», «ферботен» и «вег». «Дурак», «опасность», «запрещено» и «прочь».

— «Дурак», «опасность» и «запрещено», — повторил Слава. — И еще «прочь». Ну, раз нам здесь не рады, думаю, пора и честь знать.

Один за другим друзья вернулись в главный тоннель. Лучи фонарей метнулись вдаль, пропадая во мраке.

— У меня хороший фонарик, я смотрю вперед, — инструктировал Слава. — Андрей, у тебя фонарик слабее, поэтому ты следишь за тем, чтобы к нам никто не подобрался с тыла. Как там было написано? «Оно напало сзади»?

Андрей, торопливо шагая по тоннелю, достал из кармана бумагу и, развернув, заглянул в нее еще раз.

— «Оно набросилось сзади», — прочитал он и торопливо перевел луч фонаря с бумаги на стены тоннеля позади, опасаясь высветить *то, что набросилось сзади*. К счастью, там никого не было. Стены уходили назад, стягиваясь в одну точку, до которой не добивал слабеющий свет фонаря.

Друзья шли быстро, тяжело дыша. Казалось, что они находятся внутри световой капсулы, движущейся в море мрака.

— Стойте! — внезапно крикнула Оля.

— Что? — резко и одновременно воскликнули Саша и Слава.

Оля ответила не сразу, прислушиваясь к чему-то.

— Какой-то звук шагов... Мне показалось, где-то далеко за нами слышны шаги.

Лучи фонарей метнулись назад, в сторону оставленного склада, где пять минут назад зуммировал телефон. Там было пусто.

— Никого нет, — сказал Слава. — Эхо, наверное.

Он приложил ладонь рупором ко рту и громко крикнул назад:

— Эй!

Крик унесся во мрак и бесследно затих. Андрею показалось, что тьма впитала его, словно губка воду. Эха не было.

— Пойдемте, нам нельзя медлить, — серьезно сказал Слава.

Компания снова отправилась в путь. Воображение постоянно сообщало Андрею, что там, позади, действительно слышны какие-то далекие звуки, похожие на смутное, едва различимое эхо их шагов. Избавиться от этой иллюзии на грани слышимости было невозможно.

— Я тут подумал, — сказал он, снова оглядываясь, — ведь там по телефону говорил немец...

— И что? — резко спросил Слава.

— Ну... в том плане, что это был человек, а не... ну, словом, не та чертовщина, о которой они тут писали...

— Мне кажется, что немец, звонящий тебе по этому телефону в восемнадцатом году, та еще чертовщина!

— Оно разломало кирпичную стену изнутри, — напомнил Саша. Оля издала какое-то восклицание.

— Этого не было написано! — поправил его Андрей. — Там было сказано: нашли разломанную стену.

— Может, они выкопали Балрога? — предположила Оля. — Вот, строили это метро и наткнулись. Потом пытались замуровать его, но не получилось.

— Очень может быть, — резко обычного ответил Слава.

Идеально прямой тоннель всё вел и вел вдаль. Над головами один за другим проплывали плафоны. Минут через пятнадцать друзья замедлили ход.

— Я ничего не хочу сказать, — тяжело дыша, произнес Саша, — но мне кажется, здесь уже должен быть тот поезд с гранатами. Сколько мы тогда шли от него до станции?

— Где-то столько же и шли. Только тогда мы так не боялись, — ответил Слава. Он был подготовлен физически и лучше переносил быструю ходьбу.

— Ну а где тогда он?

— Откуда я-то знаю? — неожиданно резко произнес Слава. — Здесь где-то должен быть.

— А мы точно в ту сторону пошли?

— Точно, точно.

— Ну, хорошо... А почему мы не видели замурованной двери?

— Потому что нам сейчас лучше смотреть вперед, чем по сторонам.

Андрей понял, что больше не слышит позади странного звука, похожего на эхо шагов, и на всякий случай снова посветил назад фонариком. Он делал это с интервалом в десять секунд, и каждый раз ему казалось, что в эти десять секунд темноты *что-то* подкрадывается всё ближе и ближе, сливаясь со стеной на то мгновение, когда слабый свет его фонарика устремляется назад. Сзади никого не было, но отделаться от этого неприятного ощущения не представлялось никакой возможности. Если ты не видишь позади себя чудовищ, сказал сам себе Андрей, это еще не значит, что их там нет.

— Вагонетка! — резко сказал Слава, вселяя в каждого из четверки второе дыхание.

— Наконец-то! — обрадовался Саша.

— А почему она перевернута? — спросил Андрей, вглядываясь в глубину тоннеля, туда, где виднелась вагонетка.

— Чего?

— Сам посмотри! Ее кто-то с рельс сбросил!

Компания ускорила шаг.

— Тут что, кто-то был? — шепотом спросил Саша. Вагонетка приближалась. — Кто мог ее перевернуть, пока нас не было?

— Не похоже, — так же шепотом ответил Андрей. — Это вообще не то. Мы шли мимо целого поезда, а тут всего лишь один вагончик...

Одинокая вагонетка была завалена набок. Колеса торчали в проход. Два небольших деревянных ящика, видимо, разбились при падении, и из них высыпались какие-то маленькие металлические цилиндрики.

— И замурованная дверь, — мрачно сказал Слава, направив луч чуть дальше.

Да, здесь, в пяти метрах от вагонетки, была небольшая платформа, похожая на ту, с которой началось их путешествие по подземному миру. Различие заключалось в том, что вместо двери была большая серая бетонная заплата, сверху над которой черными буквами значилось «А-3505». Чуть менее аккуратными, написанными не по трафарету буквами прямо поверх заплаты шла длинная надпись.

Слава прошелся лучом по периметру замурованной двери, после чего посветил вниз, на платформу.

— Гильзы, — сказал он отрывисто. — Пистолетные. Восемь штук. Ровно столько, сколько вмещает в себя магазин. Ах ты ж черт. Интересно, что же здесь было и почему мы тут оказались. Неужели мы перепутали стороны тоннеля?

— Хорошо если бы, — медленно сказал Андрей, глядя на гильзы, поблескивающие в свете фонарика.

— В смысле?

— Ну, в том плане, что это самый лучший вариант.

— А какой еще вариант?

— Да какой угодно! — неожиданно для себя рассердился Андрей. Страх, перетекший в его душу из темноты тоннеля, пытался превратиться в злобу.

— Так, без паники! — резко сказал Слава. — Без паники. Всё под контролем, никого тут нет. Или ты про эту надпись? Что здесь написано?

— Ничего полезного, — сказал Андрей, вглядевшись в немецкие буквы. — По крайней мере, ничего полезного для нас. «Категорически запрещается пытаться открыть. В случае малейших сомнений обращайтесь к гарнизонному врачу».

— Врачу, — повторила за ним Оля. — Почему к врачу?

— Может быть, они тут разрабатывали психотронное оружие? — сказал Саша.

— Судя по всему, оно им не особенно помогло, — протянул Андрей.

— Или наоборот, даже слишком помогло, — возразила Оля.

— Похоже, мы все-таки ошиблись направлением, — озабоченно сказал Слава. — Ума не приложу, как это возможно. Наверное, нам сейчас нужно возвращаться. Ничего не понимаю...

Все переглянулись. Происходящее начало откровенно давить на нервы. Саша шагнул назад, к опрокинутой вагонетке, и поднял один из металлических цилиндров.

— Что бы это могло такое быть? — спросил он, подкинув поднятое в ладони и постучав им об стену. — Тяжелый, прямо свинец... Пули, что ли? Какой-то большой у них калибр, да и форма совершенно неподходящая.

Андрей посмотрел на кусочек металла в Сашиных руках. Тусклый темно-серый металл.

— Саша, — осторожно сказал Андрей. — Я так понял, у них тут где-то был склад тяжелой воды, а где есть тяжелая вода, может быть и уран...

С гневным восклицанием Саша отбросил от себя цилиндр.

— Какая гадость! — брезгливо скривился он, вытянув руку с растопыренными пальцами. Оля протянула ему влажную салфетку.

— Быстро назад, — резко скомандовал Слава, поворачиваясь. — Думаю, я рискну и попробую полезть по тем скобам в шахте. Жаль, моя обвязка осталась в багажнике, с ней было бы проще...

— Надеюсь, я не слишком долго держал ее в руках, — обеспокоенно сказал Саша, тщательно вытирая пальцы о салфетку.

Андрей, Слава, Саша и Оля шли по тоннелю быстро, тяжело дыша, но не сбавляя хода. Во всех проснулась какая-то сила, такая же старая, как страх темноты. Это было непонятное желание действовать, делать что угодно перед лицом незримой угрозы. Андрей внезапно почувствовал, что даже если на них сзади (он всё так же исправно оглядывался каждые десять секунд) набросится непонятное чудовище, обитающее во мраке немецких катакомб, то он вступит с ним в бой, даже не имея под рукой никакого оружия.

— Жаль, нет гранат, — сказал он, вспоминая вагонетки с боеприпасами.

Слава что-то проворчал в темноте.

— Какие еще гранаты в тоннеле? — спросил он. — Тут замкнутое пространство. Нас же первыми положит.

— Что-то уж очень замкнутое...

— Да не говори...

— А это было, когда мы шли сюда? — внезапно спросил Саша. Его голос прозвучал неожиданно неуверенно.

Метрах в десяти впереди на стене тоннеля белели большие неровные буквы.

MCMLV
AUSGANG VERBOTEN
UNBEKANNTGE GEFAHR

И — грубо нарисованный, непропорциональный человеческий силуэт с кругами вместо глаз, безо рта, с длинными, до колен, руками, на каждой из которых было по четыре пальца. Рядом — неровная, вытянутая белая стрелка, указывающая вперед, в сторону штаба, туда, куда сейчас направлялись друзья.

— М-да, — сказал Слава. — Как будто веником рисовали.

Если все встреченные до этого момента надписи были выведены аккуратно, ровно и черным цветом, то неожиданно появившееся на стене послание представляло собой полную противоположность. Кривые белые буквы наклонялись в разные стороны; из-за подтеков краски они выглядели неровно и пугающе. Андрей вспомнил, что таким шрифтом — с «подтекающими» буквами — когда-то модно было оформлять комиксы ужасов. При взгляде же на непропорциональный человеческий силуэт по коже пробежал мороз. Почему-то воображение нарисовало Андрею картинку: неизвестное порождение тьмы, дождавшись, когда друзья пройдут по тоннелю, торопливо пишет на стенах предупреждающее послание; поскольку света нет, буквы и получаются такими неровными. Или же кто-то хочет предупредить о том, что ждет их впереди?

Он поддел ногтем одну из полосок белой краски, протянувшейся вниз от буквы «А»; та легко отскочила и упала на пол.

— Этой же надписи точно не было? Может, мы просто не заметили? — спросил Саша.

— Вроде не было, — сказал Андрей. Палец почему-то начал чесаться. — Но надпись очень старая. Явно сделана не сейчас. Краска шелушится.

— Как это переводится? — спросила Оля. — Это год? Сорок пятый?

— Нет, — сказал Андрей, вглядываясь в буквы. Палец всё еще чесался, и он его с силой потер. — Пятёрка после пятидесяти, а не перед. Если это год, то тысяча девятьсот пятьдесят пятый. «Выход запрещен. Неизвестная опасность».

— Очень обнадеживает, — сказал Саша. — А мы точно пошли назад от той вагонетки?

— Точно.

— Что будем делать? Не будем возвращаться?

— Куда, к урановым залежам и гильзам?

Снова молчание, продлившееся две секунды.

— Почему пятьдесят пятый? Они что, после войны тут еще десять лет сидели?

— Если у них тут такие склады, то небольшой гарнизон вполне может столько и продержаться, — сказал Слава.

— Если у них тут такое подземелье, то небольшим гарнизоном не обойтись, — возразил Андрей.

— И то верно. Ладно, давайте поспешим.

Андрей пытался представить, как могла возникнуть та надпись. Неизвестная опасность, неизвестный автор... Что он хотел сообщить? Кому? Ведь не им же? Почему она написана так криво? Может быть, ее выводили на стене последние люди в этом подземелье, зажатые между советскими войсками наверху и неизвестной опасностью внизу?

Задор и агрессия куда-то ушли, а проклятый коридор всё не кончался и не кончался. Только сейчас Андрей почти физически почувствовал, что они глубоко-глубоко под землей, там, где уже семьдесят лет не было света. Или не семьдесят? Они вошли в это подземелье, потревожили его покой, и теперь... Что теперь?

Андрей бросил взгляд на стену. Возле потолочного плафона чернело «А-2230». Спустя десять метров обнаружилась надпись «А-2217». Еще через такой же интервал — «А-2152». Надписи шли вразнобой. Ровный порядок, бывший в самом начале подземелья, почему-то сменился хаосом. Андрей подумал: будь он персонажем книги ужасов, можно было бы предположить, что пространство подземелья магическим образом превратилось в гармошку и они перенесутся из одной его части в другую, преодолевая вместо десяти метров полторы сотни. Оставалось лишь надеяться, что немцы, строя этот участок, решили по известной лишь им причине сменить систему обозначений.

«На участке А-22 бесследно пропали двое рядовых», — вспомнил он строчку из донесения, лежащего в кармане, и страх сжал его сердце. А на участке А-16 кто-то напал сзади... Они как раз приближаются к этому номеру. В верном ли направлении они идут после вагонетки? Почему номера убывают?

— Я читал историю о лифте, — сказал Саша, — в котором возле кнопки первого этажа кто-то написал «сброс лифта». Так вот, когда мы идем в направлении неизвестной опасности, я чувствую себя примерно так же, как будто еду в том лифте... Ух ты ж черт!..

Вдали в тоннеле что-то блеснуло. Саша и Оля вцепились друг в друга. Андрей сжал зубы. Друзья замерли на месте.

— Как будто зеркало, — произнес Слава спуская несколько бесконечных секунд. — Да, что-то отражает свет фонариков... Видите? Там блестит только тогда, когда мы туда светим...

Он поводит фонарем из стороны в сторону, подтверждая свои слова.

— Меня чуть инфаркт не хватил, — сказал Саша.

— Я тут поседею в этом подземелье, — сказала Оля.

— Главное выбраться, — сказал Андрей. Он не решился договорить вторую часть фразы. Мысль о том, что им в прямом смысле слова придется посидеть от старости (если они успеют это сделать) в этом подземелье, была просто физически неприятной. — Мне в первую секунду показалось, что это блестят чьи-то глаза...

— Если тут кто-то живет столько лет в темноте, то вряд ли у него блестят глаза, — сказал Слава. — Все пещерные создания плохо видят, поэтому у них почти нет глаз...

— Пожалуйста, не надо, — остановил его Саша.

— Но зато они хорошо слышат... Не знаю, что это там такое блестящее и почему мы его раньше не видели, но, думаю, надо спешить.

Тоннель всё шел и шел вдаль.

— Жаль, что мы не угнали тот поезд, — качнув головой, произнес Саша. — Сейчас бы прокатились по этому подземелью с ветерком. Да там и консервы были...

— Это опасные консервы, — возразил ему Слава. — Если им семьдесят лет, то человек, который их съест, имеет все шансы остаться здесь навсегда.

Станный блестящий предмет постепенно приближался.

— А что у нас с собой из еды? — спросила Оля у Саши.

— Ты проголодалась? Хочешь поесть?

— Нет, но мне кажется, что мы точно заблудились. Надпись, эта непонятная блестелка, ну и...

— Нет, Оль, как мы можем заблудиться в тоннеле? Он же тоннель! Мы всё время шли, никуда не сворачивая. Да тут и некуда сворачивать...

— Развилка, — ровным тоном сказал Андрей, не узнавая своего голоса.

Вдалеке и в самом деле показалась развилка.

— Это невозможно, — заявил Слава. — Здесь был резкий поворот вправо.

— А теперь развилка, — повторил Андрей.

Быстрым шагом четверка приблизилась к развилке. В этом месте вправо под острым углом ответвлялся еще один тоннель. Ближущим предметом оказался большой белый флажок-семафор железнодорожной стрелки, указывающий налево.

— Вот мы попали, — сказал Саша.

Дойдя до развилки, компания остановилась. Основной тоннель всё так же уходил дальше, чуть заворачивая налево; туда же указывал семафор. Боковой ход, ведущий направо, был коротким, не больше десяти метров. Дальше путь преграждали огромные наглухо закрытые металлические ворота с большой надписью «В-1». Слева от них чернел небольшой проход без двери.

— Этого не было, — сказал Слава.

— Может, мы все-таки опять перепутали направления? — сказал Саша. — Ну, возле вагонетки?

— Да не могло такого быть! Что, мы все перепутали одновременно?

— Куда теперь?

— Явно не вперед, — сказал Андрей. — Оттуда мы прийти не могли. Похоже, надо возвращаться.

Он открыл на телефоне фотографию карты из штаба. Слава взгляделся в сплетение линий.

— Такая же по форме развилка возле Браунсберга. Это Бранёво. Мы что, уже до Польши дошли?

— Мы уже столько идем, — пессимистично заметил Саша, — что не удивлюсь, если мы дойдем до Китая...

Судя по интонациям, он явно досадовал на тот момент, когда попросил Андрея показать ему что-нибудь экзотическое и немецкое.

Лучи фонариков метались то налево, то направо. Андрей направился к дверному проему возле ворот. Там оказалась небольшая, размером с кухню хрущевки, комната, служившая не то подстанцией, не то распределительным пунктом. На стене возле чернеющей надписи HOCHSPANNUNG — высокое напряжение — располагались в ряд

рубильники. Сбоку — очередной телефон. В нараспашку открытом железном шкафу тускло поблескивали пыльные фарфоровые головки предохранителей. Слева стоял непонятный большой агрегат, напомиравший масляный трансформатор. Сколько же тут всего, подумал Андрей. Сколько проводов, сколько электрики в этом огромном подземном мире, о котором никто не знает. Сколько здесь километров бетонных коридоров, сколько станций в этом колоссальном подземном комплексе? Сколько вагонеток и мотодрезин? Сколько ящиков с боеприпасами и консервами лежат здесь десятилетиями? Как бы нам не пришлось узнать это на своем опыте, подумал Андрей, и мороз пробежал по коже. Кто может жить здесь, в этом царстве вечного мрака?

Слава, вошедший вслед за Андреем, переключил один рубильник, затем второй. Ничего не изменилось.

— Жаль, что все эти чудеса плохо подсвечены, — недовольно прокомментировал он. — Ко всем этим лампочкам в тоннеле не помешало бы вольт двести двадцать. Если здесь всё так хорошо сохранилось, то почему бы нам не обнаружить хороший дизель-генератор и пару цистерн соляры к нему?

— Давайте сделаем небольшой перерыв, — устало сказал Саша. — Действительно есть хочется.

— Давайте, — согласился Андрей, садясь на бетонный пол и вытягивая уставшие от ходьбы ноги. Было не очень приятно располагать колени прямо поверх щели, в которой шел рельс (это будило в Андрее подсознательную тревогу, словно укладывание головы в неработающую гильотину), но другого выбора не имелось. Андрей вспомнил, что у него в сумке лежат бутылка воды и несколько бутербродов. Еду можно растянуть на пару дней, но на сколько хватит воды? Кто мог предположить, что они окажутся в этом странном подземном мире, в который непросто войти и еще сложнее выйти?

Саша достал из рюкзака термос, налил в крышку чай и передал Оле. Слава жевал большой самодельный сэндвич, завернутый в фольгу.

— Чай уже остыл, — сказала Оля, запивая пирог с мясом. — Сколько времени?

— Пять часов, — отозвался Андрей, посмотрев на телефон. Оставалось примерно десять процентов заряда батареи. Скоро они останутся без времени, а потом — и без света. На сколько хватит батарей в фонариках? Фонарь Андрея светил тускло, но, к счастью, хотя бы прекратил садиться, видимо, дойдя до какого-то предела. То же самое можно было сказать и про эмоциональное состояние Андрея.

— А у нас самолет завтра в девять, — грустно сказала Оля. — Должен был быть...

— Как думаете, нас будут искать? — спросил Саша, сделав глоток чая.

— Хотелось бы, — ответил Слава.

Подземный пикник был грустный, но какую-то пользу он принес. На сытый желудок, подумал Андрей, бродить по подземельям не так страшно. Слава убрал остатки сэндвича и встал на ноги, подошел к большим железным воротам.

— Гермозатвор, как в метро, — сказал он. — Видите, какие тут петли? Такого даже на том складе не было. Прямо как противоатомное убежище. Этот тоннель явно идет под уклон, на нижние ярусы. Если б не эта чертовщина, тут можно было бы очень долго лазить.

— Я боюсь, — мрачно заметил Андрей, — что мы можем лазить здесь всю жизнь.

Он не стал произносить слова «оставшуюся», но остальные прекрасно его поняли. Саша хотел что-то сказать, но Слава, подняв руку, предупреждающим жестом остановил его.

— Тихо, — прошептал он, прислоняясь к воротам.

— Что там? — так же шепотом спросил Андрей. Слава раздосадованно махнул рукой; Андрей посмотрел на друга и тоже приложил ухо к металлу ворот.

Металл оказался теплым, или, точнее, не таким холодным, как всё остальное подземелье; это было первым, что почувствовал Андрей. Затем ему показалось, что он начинает что-то слышать — какой-то очень далекий, монотонный, идущий волнами басовитый гул, становящийся то чуть тише, то чуть громче, словно работал огромный насос. Звук был невероятно далек, на пределе слышимости; воспринять его можно было только через металл и бетон, где он мог распространяться километрами.

Рядом с Андреем к большим воротам прислонились Саша и Оля.

— Слышите? — негромко спросил Слава. — А сейчас? Как будто молотом бьют?

Андрею показалось, что это похоже на звук забиваемой сваи, услышанный через подушку. Он повторился — пум! пум! — еще два или три раза. Затем басовитый гул стал чуть выше по тону.

— Турбина какая-то, — прошептал Саша.

— Что это может быть? — спросила Оля, тоже шепотом. — И почему дверь теплая?

— Не знаю, — тихо ответил Слава. — Там явно что-то работает. Может, насос или что-то такое...

— Ну и место, — сказал Андрей. — Надеюсь, за этой дверью у них не ядерный реактор. Давайте попробуем пойти от развилки назад?

— Да, думаю, это будет лучше всего. Может быть, мы вернемся к штабу, — согласился Слава. — Вдруг мы тогда просто во второй раз ошиблись с направлением?

Андрей уже хотел было что-то возразить по поводу возможной ошибки, как вдруг по бетонной стене главного туннеля метнулось световое пятно. Кто-то шел с фонариком.

— Свет!.. — не своим голосом выдохнул Саша, едва удерживаясь от крика.

— Гасим, гасим, — быстро и резко зашептал Слава, выключая свой фонарь. То же сделали и остальные.

— Кто-то там идет.

— С фонариком, значит, человек.

— И то хорошо.

— Да что-то не очень.

— Наверное, охрана. Ладно, нас хотя бы выведут...

Четверо путешественников напряженно замерли в темноте. Это не был тот крошечный мрак, в котором они пробирались уже несколько часов; ответ чужого фонаря отражался от серого бетона стен, проникал в боковое ответвление, падая на них.

— Тихо, — едва-едва слышно произнес Слава, раскрывая складной нож. — Посмотрим, кто это...

Уже можно было слышать шаги незнакомцев. Их явно было несколько. Они приближались со стороны тоннеля, противоположной той, откуда пришли друзья; ее было невозможно разглядеть, стоя в боковом ответвлении у герметичных ворот. Издалека послышалось несколько фраз.

— Ich glaube, ich habe Licht gesehen...¹

— Немцы, — тихо выдохнул Андрей.

— Прячемся туда! — так же тихо прошептал Слава, кивая в сторону подстанции. — Пришли электрики по нашу душу...

Едва слышно ступая, они прокрались туда. Как жаль, что здесь нет двери, подумал Андрей. Как жаль, что отсюда некуда бежать. Как жаль, что они сейчас находятся в маленькой бетонной клетушке, а шаги приближаются и немецкая речь всё слышнее — и, судя по всему, эти немцы могут быть совершенно не в курсе, что война уже давно закончилась. Да и закончилась ли? Можно ли быть в чем-то уверен-

¹ Мне кажется, я видел свет... (нем.)

ным, проведя несколько часов в этом бетонном лабиринте, состоящем из одного тоннеля, в котором каждый раз приходишь на новое место? Может быть, здесь всё еще идет сорок пятый год? Судя по датам в донесении, лежащем в кармане Андрея, это вполне возможно. С другой стороны, кривая надпись белой краской обнадеживает, что здесь уже наступил пятьдесят пятый...

Луч света от чужого фонарика пробежал по гермоворотам; значит, подумал Андрей, *они* уже достигли развилки. Шаги смолкли. Прошла бесконечно долгая секунда. Сердце Андрея замерло. Он мог поклясться, что слышит стук сердец своих друзей и тиканье часов на запястье Саши; а если слышит он, Андрей, то почему не могут услышать *и они*?

— ...Nein, ich habe wirklich Stimmen gehört.

— Dann lass uns schnell von hier weggehen.²

Шум шагов ударил по ушам так же, как зуммер полевого телефона два часа назад. У них что, подумал Андрей, сапоги специально сделаны так, чтобы внушать страх при ходьбе? Еще одна секунда показала вечностью, прежде чем он понял, что шаги удаляются. Ответ фонарика становился всё слабее. Только еще один раз он вернулся к воротам — сердце Андрея остановилось, и он услышал, как шелестит Сашина куртка, когда Оля сжимает его руку, — и затем ушел вдаль, угасая быстрее, чем должно бы.

Наступила невообразимая тьма, бесконечная, как вечность. До этой минуты Андрей никогда бы не мог подумать, что в мире бывает настолько темно. Наверное, показалось ему, именно такой была вселенная до Большого взрыва.

Могила, внезапно остро почувствовал он. Они в могиле. Они в подземном царстве Аида. Только пока еще живы.

— Они ушли? — едва-едва произнес невидимый Саша слева от Андрея.

— Не зажигайте свет, они могут увидеть, — так же тихо сказал Слава справа.

Все снова замолчали. Андрею стало страшно. Внезапно ему показалось, что он остался один в этом чудовищном бетонном мире нескончаемого извечного мрака.

— Вы хоть дышите громче, — тихо-тихо произнес он.

Там, где был Слава, что-то тихонько фыркнуло.

— О чем они говорили-то? — едва слышно произнесла тьма голосом Славы.

¹ Нет, но я же точно слышал голоса. — Тогда пойдем отсюда быстрее (нем.).

Андрей ответил не сразу. Он откинулся назад, к бетонной стене. Зашуршала во тьме куртка.

— Они сами чего-то очень боялись, — сказал он, пытаясь вспомнить хотя бы одну фразу. — Один заявил, что ему было лучше в окопах на передовой, чем здесь. А потом другой сказал, что нет тут никаких русских солдат, просто послышалось.

— Понятно, — ответил Саша.

— Значит, они нас слышали и видели. Почему они так быстро пропали? — спросил Слава. — Может, засада?

— Зачем им делать на нас засаду? — возразил Андрей. — Они бы просто зашли сюда и сказали «гутен таг». Я сейчас выгляну наружу.

Осторожно, стараясь производить как можно меньше звуков, Андрей прикоснулся рукой к стене — как же шероховат бетон, как шелестит об него рукав куртки — и, обретя точку отсчета, медленно по-тянулся к выходу. Вот и край дверного проема, вот выход в тоннель, а там мрак...

...а может быть, и тот, *кто нападает сзади...*

...может быть, он в паре сантиметров от лица Андрея...

...может быть, он так же затаил дыхание...

...а может быть, сейчас в метре от него вспыхнет, ослепляя, немецкий фонарь...

Андрей сделал шаг назад.

— Кажется, там никого нет, — еле слышно прошептал он. — Давайте я зажгу фонарик в кармане? Света будет мало, никто не заметит.

— Ну давай, только осторожно, — согласился Слава.

Андрей включил фонарик в кармане куртки. Даже ослабленный болоньей свет от полуразряженных батареек показался друзьям яркой вспышкой осветительной ракеты. Андрей выглянул обратно в тоннель и осторожно, опасаясь увидеть не то направленные на него из тьмы стволы немецких карабинов, не то глядящие на него же фасетчатые глаза странного человекоподобного чудовища (наверное, стволы карабинов были предпочтительнее), вытащил фонарь из кармана и направил луч вдаль. В тоннеле, сколько хватило света, не было никого.

— Пусто.

Они вышли из подстанции и прошли до развилки. Слава с громким щелчком закрыл складной нож и убрал в карман.

— Если мы пойдем обратно, то можем догнать немцев, — сказал он. — Но... как они могли так быстро уйти от развилки? Тоннель пуст! Мы бы увидели их фонарики!

В подтверждение своих слов Слава посветил в том направлении, куда пару минут назад удалились шаги. Там никого не было.

— Ону что, растворились в воздухе? — спросила Оля.

— Не исключено, — сказал Андрей, напряженно думая. — Странно, что они шли с фонариками. Это означает, что в тоннеле почему-то не было света...

Он внезапно вспомнил еще один пункт из немецкого донесения и сунул руку в карман.

— Вот. Второе февраля. Авария на подстанции. Тоннель обесточен. Обходчики слышали голоса русских солдат, — сказал Андрей, сверяясь с бумагой. — Уж не нас ли?

— Что будет дальше? — спросила Оля. — Каждый раз мы приходим куда-то в новое место. Телефонный звонок. Вагонетка с ураном и замурованный выход. Надпись на стене. Теперь патруль. А потом?

— Пойдемте обратно, — сказал Слава. — Может быть, мы снова куда-нибудь выйдем.

— Какая-то ловушка, — протянул Саша, еще раз оглядываясь по сторонам. — Мы вошли в подземелье, а теперь оно нас не отпускает.

Андрей снова посмотрел на лист бумаги в своих руках. Вот так вот, внезапно подумал он: ты прикасаешься к подземному миру, а он прикасается к тебе. Ты хочешь сохранить прошлое на память, а оно сохраняет на память тебя. В том положении, в каком они находились, следовало попробовать все варианты.

Сжимая в руках донесение, Андрей повернулся и направился в подстанцию. Положил его на шкаф с предохранителями. Затем, поколебавшись, взял в руки трубку телефона, подумав, что он делает это уже третий раз за сегодня. Мембраны безмолвствовали.

— Мы уходим, — негромко, чтобы не слышали друзья, сказал он в трубку. — Отпусти нас.

И вернулся обратно.

— Пойдемте, — сказал Слава...

...Мотодрезину вдаль они увидели одновременно, отойдя метров на сто от развилки.

— Ну наконец-то!

— Не может быть!

— Или это не она?

Да, это оказался тот самый поезд, мимо которого они проходили несколько часов назад: с коробками консервов, ящиками боеприпасов и бочками топлива. Сбоку на стене значилось «А-4192».

— Тогда мы пришли со стороны бочек! — торопливо произнес Слава, проходя сбоку от вагонеток. — Мы идем в правильном направлении!

И сразу же, через какие-то двести метров, обнаружилась та самая, с надписью «А-4212», гостеприимно открытая дверь станции. Не оглядываясь, друзья бросились к лестнице.

Андрей еще никогда так быстро не поднимался по лестницам, как сейчас. Впрочем, то же самое можно было сказать про каждого из четверых. Они буквально взлетели по ступеням. Подняться на восемь этажей за полторы минуты оказалось более простой задачей, чем часами идти по темному тоннелю, полному загадок.

...Снаружи было темно. На севере, в стороне Калининграда, над черным лесом тучи отсвечивали багровым, отражая свет городских улиц и домов. Где-то неподалеку протяжно каркнула ворона. Все четверо тяжело дышали.

— Ну... и... подземелье, — наконец выговорил Саша. — Что... это... вообще... было?

— Никогда такого... не видел... — ответил Слава, стягивая с головы вязаную шапку и вытирая ею лоб. — Может, там и правда... галлюциногенный газ?..

Андрей промолчал. Ему казалось ужасно глупым рассказывать то, о чем подумал он: их пустили в музей посмотреть, а они стали трогать экспонаты руками. Пока ты держишь прошлое своей ладонью, оно тебя не отпустит, оно тоже будет тебя держать; может ли быть так? Но, сказал он себе, ведь всё могло быть и гораздо проще — они захотели посмотреть, и их пустили внутрь, проведя экспресс-экскурсию по разным станциям подземелья. Они захотели выйти — и их тут же отпустили. А может быть, кто-то или что-то просто хотело поиграться с ними в странную и непонятную игру. Понимают ли пешки правила шахматной партии? Узнают ли они когда-нибудь, что направляет их путь по черно-белым клеткам? Что за сила заставляет их идти прямо, бить наискосок и на последней линии превращаться в ферзей?

— Слава, — сказал он, — дай на пять секунд фонарик, а то мой почти сел. Гляну одну вещь напоследок.

Слава с удивлением посмотрел на Андрея.

— Держи, — протянул он фонарь. — Ты что, еще не нагулялся там?

— Я недалеко, — сказал Андрей, направляясь в дот.

И вправду, идти далеко не пришлось: большой квадратной двери, ведущей в лестничную шахту, не было. Не было ни трехъярус-

ных коек, ни вентилятора с ручным приводом, ни калорифера, в общем, ничего того, что так поразило путешественников несколько часов назад. Всё это бесследно пропало, не оставив и следа. Андрей, хрустя бетонной крошкой, появившейся теперь под ногами, прошелся по опустевшему каземату. Он понял, что почему-то совершенно не испытывает ни малейшего удивления по этому поводу, и лишь горчила душу странная печаль от того, что врата в другой мир оказались закрытыми. На том месте, где всего несколько минут назад была дверь, сейчас находилась большая надпись:

UM ZU SIEGEN DU MUSS TAPFER UND FINDIG SEIN

Надпись была очень старая. Краска почти слезла со стены, но разобрав буквы еще было возможно.

— Для того чтобы победить, ты должен быть находчив и смел, — прочитал Андрей, прикасаясь к бетону; тот был холоден и монолитен. В нем не было ни единой трещины, ни единого следа, свидетельствующего о том, что здесь когда-то мог быть проход. Андрей приложился к стене ухом, пытаясь услышать хоть что-нибудь, но тщетно; он перевел взгляд вниз и увидел на полу, почти у себя под ногами, кусочек картона. Это оказалась новая, словно только что отпечатанная почтовая открытка с раскрашенной гравюрой Кёнигсбергского замка и надписью «GRUSS AUS KONIGSBERG». Андрей поднял ее. Открытка была оформлена в югендстиле; весь ее вид навевал мысли об эпохе *fin-de-siècle*, благополучных, мирных годах начала двадцатого века. Казалось совершенно непонятным, как она, вся такая мирная и изящная, с надписью «Привет из Кёнигсберга», могла оказаться здесь, на полу бетонного каземата, где когда-то стучали солдатские сапоги и трещали пулеметы, но Андрей не стал задаваться этим вопросом. В конце концов, сегодняшний день и без того был богат на необычные события. Убирая открытку во внутренний карман (Андрей внезапно совершенно отчетливо понял, что это можно и даже более того — нужно сделать), он наткнулся рукой на телефон, сохранивший последние проценты заряда. Фотографии карты подземелья там не оказалось; это было ожидаемо. Направляясь к выходу, Андрей мельком подумал, что та же судьба, должно быть, постигла и все многочисленные снимки Оли.

— Я уже боялся, что тебя придется идти искать, — сказал ему Слава. Свет падал из открытой двери автомобиля. Мотор тихо работал.

— Нет, всё в порядке, — ответил Андрей, возвращая ему фонарик и садясь рядом. — Чуть-чуть посмотрел напоследок. Когда еще такое увидишь?

Машина свернула с грунтовой дороги на асфальт. В свете фар вдали мелькнул дорожный знак, предупреждающий о железнодорожном переезде. Приближался поворот на Калининград.

Антон Барышников

Война

Шампанское

Грузчик никогда не пробовал настоящего французского шампанского. Он только разгружал коробки с бутылками. Водитель грузовика рассказывал, что это очень хорошее шампанское; сам он его не пил, но где-то читал, что лучше этого напитка еще ничего не придумали. Грузчик верил. Он уважал водителя, ведь тот давно возил еду для светских вечеринок. Поэтому он аккуратно переносил коробки из машины на кухню. Там кипела работа.

Редактор главной газеты страны очень любил шампанское. На многие приемы и фуршеты он ходил только из-за него. Слушать речи господ — глупо, улыбаться коллегам — противно; только шампанское может спасти такие вечера. Но сегодняшний фуршет был бы хорош и без напитков. На нем присутствовал самый богатый и могущественный человек в стране, управляющий сотней фабрик, тысячей магазинов и десятком нефтяных вышек.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек ненавидел шампанское. Стоило ему выпить бокал, и сразу начиналась изжога. Он старался не пить, а просто держать бокал в руках, но иногда забывался. За невнимательность приходилось платить плохим самочувствием. Сегодня владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек не совершал ошибки; шампанское в бокале оставалось нетронутым, пока он говорил.

Он говорил восхищенной публике, что слишком долго страну обижали недруги. Что нация в большой опасности. Что для спасения нужны решительные меры. Что надо быть готовым к некоторым ограничениям. Что нет ничего важнее единства. Что победа неизбежна.

Он говорил о том, что скоро начнется война. Потому что иначе нельзя.

Публика аплодировала и пела гимн. Потом опять аплодировала и вновь пела гимн, чтобы не утратить настрой.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек подошел к редактору и попросил его быть верным сыном отчизны. Редактор утер слезу. Он знал, что допьет шампанское и вернется в редакцию, где сам — такое нельзя доверить кому-то другому — напишет статью, которая сплотит нацию.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек поехал домой. Он был доволен собой: изжоги не будет.

Через неделю началась война.

Через две недели грузчик и водитель получили повестки.

Через три месяца они гнили на нейтральной полосе.

Первое наступление оказалось неудачным.

ДОМ

Когда объявили о начале войны, дом вздохнул с облегчением.

Кто-то кричал, что давно пора всыпать мерзавцам.

Кто-то считал штыки и пушки сторон.

Одни выражали надежду, что сражения будут большими, чтобы было о чем написать в учебниках по истории, а то учебники в последнее время измельчали, им не хватает серьезных событий.

Другие уверяли, что всё кончится быстро: враг труслив и подл, он умеет лишь бегать и прятаться, так что война будет лишь эпизодом в славной истории страны.

Покричав, все занялись делом.

Старухи тихо вязали носки для неминуемой победы.

Старики громко жалели, что слишком рано родились.

Рабочие предчувствовали двойную нагрузку.

Чиновники сочиняли новый закон о призыве.

Дети придумали новые игры: бомбардировку, расстрел и психическую атаку.

Один предложил поиграть в пацифистов, но не смог объяснить, в чем смысл игры.

Отцы наставляли своих сыновей, объясняя, где лучше служить — на кухне или в штабе. Сыновья были рассеянны: в головах играли марши.

Две матери из десяти (в квартирах № 6 и 20) плакали. Тайком, чтобы не опозорить себя перед людьми. Остальные матери радовались: детям шла форма.

Дом был доволен.
Наконец-то война. Наконец-то всё ясно.

Репортер

Когда началась война, я был репортером.
Говорили, что я неплохо пишу.
Но мне было скучно писать для газет.
После первых боев прислали повестку.
Я показал ее редактору.
Он вздохнул: ты не вернешься.
Я ответил: наверное.
В военкомате обрадовались: нам нужны журналисты.
Я удивился: зачем?
Они пояснили: войны выигрывают не дела, но слова.
Я сомневался.
Пропаганда и агитация важнее штыков, уверяли они.
Я признался, что утратил вдохновение.
Они вздохнули и покачали головами.
Я промолчал.
Пехота, сказали они.
В учебке мне дали автомат.
Сержант велел стрелять.
Я промахнулся.
В бою научишься, засмеялся он.
Я промолчал.
Утром все построились на плацу.
Я немного сутулился по старой привычке.
Майор сказал, что скоро будет бой.
Наш крик «ура!» был очень дружным.
Колонна ехала по тесной дороге, когда ее атаковали.
Я сразу же оглох.
Майор сгорел прямо в машине.
Мы выпрыгнули из грузовиков.
Все начали стрелять.
Я тоже попытался.
Рядом что-то грохнуло.
Я упал.
Сержанту оторвало голову.

Я попытался встать.
Небо было ярко-голубым.
Живот был разорван.
Всё вдруг затихло.
Ноги отнялись.
Кто-то быстро пробежал мимо.
Мне было больно.
Я умирал.
Всё было слишком быстро.
И слишком глупо.
Хорошо только, что живот.
Что лицо уцелело.
Меня хотя бы опознают.
Не то что сержанта.

НИКТО

Когда солдаты увидели перед собой город, никто не мог вспомнить, как он называется. К счастью, в штабе была карта.

Командиры посмотрели на нее и определили важные позиции.
На эти позиции поставили пушки и ракеты.
На этих позициях солдаты вырыли себе окопы.
Среди этих позиций замерли танки.
Никто не знал, что произойдет дальше.

Командиры сказали, что город скоро сдастся.
Нужно лишь отправить туда десяток танков.
Танки, урча, двинулись в путь.
В городе они встретили женщин и детей.
И нескольких стариков.
Танкисты удивились.
Никто из них не понял, где прячется враг.

Командиры сказали, что нужно провести зачистку.
В город отправились пехотинцы.
Они увидели детей и женщин.
И пару стариков.
По радио им приказали стрелять.
Они не поняли в кого.

Жители города смотрели на них с любопытством.
Никто не выстрелил.

Командиры сказали, что это измена.
Но наказание отложили.
Был отдан приказ артиллеристам:
Стрелять по южным кварталам.
Артиллеристы не видели ни женщин, ни стариков.
Они не заметили детей.
Их снаряды стерли в прах двадцать домов.
Никто там не выжил.

Командиры сказали, что нужно проверить, повержен ли враг.
В бой храбро отправилась танки с пехотой.
Их встретили женщины с причитаниями и старики с проклятиями.
Дети кидали в них камни.
Из одного дома даже выстрелили.
Ранили командира.
Войска вынужденно отступили.
Теперь никто не сомневался, что в городе враг.

Командиры сказали, что штурм нужно хорошо подготовить.
Артиллеристы пять дней стреляли по городу, пока не кончились снаряды.

Потом подвезли еще, и они продолжили.
Треть города была разрушена.
Треть — уничтожена.
Треть выстояла, превратившись в руины.
Неба не было видно из-за черного дыма.
Никто не сомневался, что победа близка.

Командиры сказали, что остался последний бой.
Вперед пошли пехота и танки.
Они не встретили никого, кроме матерей, плачущих над детьми.
Один пехотинец сказал, что это неправильно.
Он крикнул, что так нельзя.
Что в городе никогда не было врага.
Командиры сказали, что он сумасшедший.
Пехотинец крикнул товарищам, что нужно стрелять в командиров.
Он орал, что они — свиньи, дерьмо и убийцы детей.
Его поставили возле обгоревшей стены.

Командиры сказали, что он — предатель.
Никто не осмелился возразить.
Никто не посмел промахнуться.

Через неделю пришли наградные листы.
Взятие города — большой успех, написал генерал.
Вами гордится отчизна — передал на словах президент.
Все были рады.
Командиры получили ордена, солдаты — медали.
Никто не остался без награды.

Март

Пятый март войны был таким же грязным и утомительным, как третий.

Первый и второй март тоже не баловали погодой, но энтузиазм и готовность умереть за родину (ушедшие в историю под натиском усталости третьего марта) скрашивали сидение в сырых окопах.

Четвертый март был солнечным и сухим; воюющие стороны так обрадовались, что провели пару наступательных и оборонительных операций, оставив на полях сражений тысячи обожженных и растерзанных тел.

Бои за эти тела длились, пока не пришел пятый март. Пятый март войны оказался для нее последним. Все устали.

На заводах было некому работать. Поля было некому засеивать. Гражданские не могли больше прятаться по подвалам. Солдаты пустили в ход почти все боеприпасы. Генералы пали духом. Кончился запал у пропагандистов и агитаторов. Политики, вздохнув, сели договариваться. Пока они говорили, пятый март войны превращал мерзлую землю в еле теплую кашу.

В этой каше застревали танки.

В этой каше оставались пушки.

В этой каше пропадали мины и снаряды, изредка посылаемые противниками.

В этой каше разлагались погибшие от пуль и бомбежек.

Эта каша съедала войну, не выплевывая костей.

В середине марта, когда сил совсем не осталось, политики вышли к фотографам и, улыбнувшись, обняли друг друга. Наступил мир. Журналисты, вчера бывшие апологетами войны, бросились писать похвалы миру. Вести о мире полетели к передовым позициям.

Услышав о мире, солдат вытащил последний магазин из автомата. Он попрощался с товарищами и собрался домой. Командир сказал ему, что он дезертир. Солдат ответил, что его ждут дома. Командир заметил, что всех ждут дома. Солдат кивнул. Командир вздохнул и махнул рукой. Солдат пошел домой.

Он шел по раскисшей дороге.

Снаряды и март превратили ее в выгребную яму.

Он с трудом переставлял ноги.

Не от усталости, хотя за пять лет войны он очень устал.

Просто мартовская каша из глины, грязи и трупов мешала свободно ходить.

Но он шел и смотрел по сторонам.

Небо было серым. Деревья, пережившие огонь сражений, были черными. Трава еще не начала пробиваться наружу. В воздухе висела тяжелая тишина. Но солдату было хорошо. Он соскучился по миру. Он дышал миром.

Ему нравились облака, скрывшие солнце.

Ему казалось, что на темных ветвях появляется новая жизнь.

Ему чудилось, что вдалеке, у горизонта, растут цветы.

Ему слышалось щебетание птиц.

Он был счастлив миру.

Его застрелили в спину. Хватило короткой очереди. Разведчики противника сэкономили патроны. патронов в последнее время не хватало.

Они стояли над солдатом, разглядывая его улыбку и сбитые сапоги.

Они забрали его вещи и автомат.

Они сбросили его тело в придорожную яму.

Они двинулись дальше.

Они еще не слышали о том, что наступил мир.

Пятый март войны и первый март мира всасывали тело солдата в грязь. Он улыбался. Мир наступил.

Envoi

Когда война ушла, горожане взялись за уничтожение ее следов. Они разбирали завалы, строили стены, чинили трубы, хоронили тела. Уже через год от войны осталось лишь одно напоминание — сгоревший вражеский танк на городской площади.

Черное пятно ржавчины. Мертвая машина смерти.

Солнечным летним днем около танка остановился мужчина. Во время войны он был далеко; вернувшись, он знакомился с городом заново.

Он с любопытством рассматривал вывернутую наизнанку машину.

— Дядь, а ты знаешь, кто в нем был?

Он обернулся. Рядом стояла маленькая девочка с потрепанным медведем под мышкой. В другой жизни у нее был бы тихий час; но детские сады были разрушены войной, и тихих часов больше не было.

— Не знаю.

— А я знаю.

— Откуда?

— Мне папа сказал. Они там сгелели, а он потом сказал, кто они были.

— Кто же?

— Папа сказал, что это сиклет. — Девочка перестала улыбаться.

— Я никому не скажу.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Калалевская печать?

— Королевская печать.

— Халасо! — Она важно кивнула. — На ушко скажу.

Он наклонился.

— Пидалы, — шепнула она. — Папа сказал, в нем были какие-то пидалы.

Он кивнул и снова посмотрел на мертвый танк.

Владислав Городецкий

Только мы с Захаркой

Сегодня я унес папу в сарай. Свинюшек мы больше не держим, и там только цыплята и куры. Если бы там были свинюшки, я бы не унес туда папу. Наши свинюшки были чистыми, не в этом дело. Просто они могли спутать папу с едой. Я унес папу в сарай, потому что от него уже очень сильно пахло, а нам с Захаром нельзя, чтобы что-то так сильно пахло. Нам еще охотиться надо. Надо держать носы в тонусе. А Захарка не понял, что я делаю, и стал приставать ко мне. Выдвинул свою красную помадку и пристроился сзади. Я его поэтому ударил. Он ведь не понимает, что это папа и что мне и так не до смеха. Я его ударил локтем в бочину, и он взвизгнул. Мне самому сделалось больно от этого на сердце. Просто я очень разозлился, что он не понимает, что мне и так не до смеха. Но он ведь пес, он много чего не понимает, я знаю, и ему тяжело держать себя в руках, потому что он просто не знает, что так нужно. Я извинился потом перед Захаром, хотя он тоже виноват. Но он не обиделся.

Я покормил курей и цыплят и принес из сарая два яйца, потому что все вчерашние продал, а за ночь куры снесли только два яйца. Они что-то захирели. Несут мало. Но я так и думал, что яиц будет немного, я так и хотел взять только парочку нам с Захаркой на завтрак. Теперь можно не готовить два раза. Мы с Захаркой будем есть одинаковую еду. Папа этого не разрешал, и нам приходилось готовить две еды. Пока я готовил и пока мы ели еду, я думал, что теперь делать со вторым ружьем. Если его продать, будут хорошие деньги, но если его купит кто-то из поселка, то будет охотиться в нашем лесу. А Захар никогда не научится стрелять из ружья, потому что он собака и у него даже пальцев нету. Он многому никогда не научится; он старше меня на два года, а я уже очень сильно его обогнал во многом. Лучше меня он бегаёт, плавает, дерется и унюхивает всё лучше, но в остальном я его обогнал. Но даже в драке всё равно я его могу победить, потому что я могу схватить рукой, могу пнуть, могу взять палку, могу связать

его веревкой, могу много чего. Но мы по-настоящему с ним не деремся, потому что мы друзья, так что неизвестно до конца, кто сильнее. Но у меня очень хорошо работает голова. Я могу приготовить нам еду, а Захар нет. Если бы не я, он бы жрал помои. На самом деле для собаки он очень умный. Он хорошо понимает слова. Он даже знает, где лево, где право, а папа говорил, что обычно собаки не знают такого. А если я читаю ему рэп, он вообще не реагирует, как будто он тут ни при чем, как будто есть кто-то еще в нашей компании, кому я читаю свой рэп. Это умора.

Вот мы и поели, а я так и не придумал, что делать с ружьем. Ходить с двумя на охоту я не буду. Я же не дурак, это неудобно. Лучше продать и купить пистолет. Вообще папино ружье дороже моего, но хуже. Оно просто красивое, и там есть всякие штуки для красоты, но если продавать, то тем лучше, что дороже. Это вообще не вопрос, чье продавать, мое или папино. В этом я умнее. Я вообще умнее. Папа говорил: ты что такой умный? Я очень умный для ребенка. Рано или поздно я научусь читать, поэтому я не буду избавляться от папиных книг. Если это так же классно, как рэп и кино, я многое потеряю, если избавлюсь от них. А можно продать ружье и купить пистолет и несколько кассет. Вчера я купил эту штуку и два новых фильма, но пока не буду их смотреть, потому что не заслужил. Мне нравятся мои кассеты, но я знаю наизусть все песни и фильмы, а памяти еще много. Если я научусь читать, памяти станет меньше, потому что в книгах очень много слов. Папа говорил, что мне еще рано читать и что, если я втянусь, я буду плохо работать. Но мне кажется, что это неправильно, потому что рэп очень помогает мне работать. *А голова — чтобы думать, ноги — чтобы ходить, никто-о не сможет меня остановить!*

Пока еще солнце не слишком поднялось, мы вышли по грибы. Хорошо, что ночью шел дождь, но, поскольку сейчас погода хорошая, в лес могут прийти люди. Нам это не страшно, потому что люди не знают наших мест. Да и вообще не так важно собрать сегодня много грибов. Если бы нам очень нужны были грибы, мы бы вышли до рассвета. Идем больше в удовольствие. Ну, и разузнать, что у нас сегодня. Могут прикатиться грибники, потому что был дождь, но и люди могут прийти. Грибники людей не трогают, и они плохо собирают грузди, всё больше маслята да сыроежки. Я вообще сыроежки не трогаю, плевал я на них. Ну это пока, я знаю. Будет голодный век, и коровники в ход пойдут, но сейчас, слава богу, всё хорошо и спокойно. Не всё, конечно, спокойно. Месяц назад мы с Захаркой притащили одного грибника домой — по просьбе папы. Он его собирался перепаять и сделать

из него водонагреватель. Мы любим горячую воду. Но у папы не получилось ничего сделать с грибником, он его просто сломал и спрятал в погреб. А потом сказал, чтобы я никому об этом не говорил, даже дяде Мутею. Нельзя просто так взять грибника и присвоить его. Из-за этого были проблемы. Мы тоже потом прятались в погребе. Но грибники людей не трогают, им нечем трогать, а вот охотники — это плохо. И от них сильно пахнет, как от машин, а от грибников совсем не пахнет. Зато грибников слышно за километр, а охотников нет. Папа говорил, что из-за таких, как я, появились охотники. Это он мой нюх имел в виду. Он и сам раньше много спрашивал про нюх, про то, как я чувствую запахи. А я говорил, что запах — это тоже место. И всё. Не знал, как объяснить по-другому. Вот это было очень интересно папе. Даже не место, а я не знаю, как объяснить в словах, это глубина. Когда я был еще совсем маленьким, я очень удивлялся, почему папа так подолгу смотрит в книгу — про нее же всё становится понятно за несколько секунд, но оказалось, что в самой книге есть глубина, поэтому в нее нужно смотреть долго. Вот точно так же и с запахами. Когда мы узнали, что появились охотники, папа перестал расспрашивать меня о нюхе. Это из-за таких, как я, появились охотники. Но сегодня их нет. По ходу я собираю ягоды в набедренный стакан. Но я кладу каждую третью ягоду в рот. Костянику я всю съедаю разом и не несу домой, а землянику и клубнику собираю. Захар — балбес и ягоду не любит. Ему даже интереснее голую траву жрать, чем ягоды. Но это только в сыром виде. Если сделать пирог из ягод, он сожрет за милую душу. Очень любит пироги, да вообще любую выпечку. Забывает о гордости, когда есть что-нибудь печное на столе. Грибников сегодня не было, я это быстро понял. Люди из поселка хорошо знают, что грибников не надо бояться. Но всё равно могут быть проблемы, потому что у грибников появились глаза. Точнее, они и так были, но теперь грибки могут рассказать, что люди тоже ходят в лесу, и этих людей потом найдут и оштрафуют. А нам собирать грибы можно, потому что мы охраняем лес. Один раз олень запутался в проволоке, и я его сам спас. А папа постоянно спасал оленей и косуль, когда их сбивали машины. Я очень хочу увидеть рысь, но их не бывает в нашем лесу. Папа показывал карточки с рысьями. Они очень красивые! Это большие кошки с кисточками на ушах. Если у меня будет много денег, я куплю много рысей и привезу к нам, чтобы они размножились.

Грибки совершенно не умеют собирать грузди. Вместе с грибницей рвут. Но сегодня их не было — это сразу видно. А вот люди побывали. Деревенские знают нас с Захаром и могут поздороваться. Надо

многие они часто шутят. Случайные люди меня побаиваются, но их уже почти не бывает здесь. Мы добрались до Семеновской поляны. Любимое место для привала. Я осмотрел морду и уши Захара, клещей не было. Он высунул язык и улыбается. Счастливый. Браслет считает мое сердце. Девяносто один удар. Ошейник считает сердце Захара. Семьдесят три удара. Он стареет. Многие думают, что он начал седеть, но это такой окрас. А когда он выдвигает свою помадку и лезет на суку, вообще не кажется старым. Дышит часто и высунул язык. Но воды я ему не дам, потому что скоро будем проходить речку, пусть там попьет. И искупается заодно. Мне сейчас лучше не купаться. Стреляет ухо. Мы вернулись в лес, и Захар тут же увидел зайца и побежал за ним. Сколько ни зови, слушать не будет. Прибежал горячий и плачет. Обвиняет меня, что я не взял с собой ружье. Мы пошли на стук дятла. Захар на дятла даже не смотрит. На дятла мы не охотимся. Бойко стучит, ужас! Как мозги не болят? Когда я много думал, папа спрашивал: мозги не болят? Но у меня болят мозги, если я ударяюсь головой. Один раз на бегу я врезался в дерево, потому что смотрел вбок. А надо смотреть прямо. Но я не ожидал, что врежусь в дерево, потому что наш лес я хорошо знаю. А поселок я знаю плохо. Только как добраться до дяди Мутея. Он стоит у рынка. В сам рынок его не пускают и выгоняют оттуда, потому что он ингуш. Папа называл его «ингушская мафия». А других с рынка называл «местная мордва». Я думаю, это от слова «морда». Хотя у людей лица, но иногда можно сказать «морда», если не боишься этого человека. Если он слабее или виноват. У Захарки настоящая морда. И у других зверей. А у меня, наверное, лицо. Но я не уверен. Куда он опять побежал? Вот балбес. Сел какать прямо на клубнику. Ему важно, чтобы место, где он какает, было особенным. Но не на клубнику же! Ладно, ее много. Дуралей, обоссал себе всё пузо. Он не понимает, что, если обоссыт пузо или лапы, сильнее пахнет собой. А если мы охотимся, это плохо. Нельзя пахнуть собой и надо замазаться другими запахами. Но это только когда охотимся. Этого тоже Захарка не понимает. Он может извращаться в гнили даже в грибной день. Зачем?

Всё, пошли груздочки. Первая компания вся червивая. Будет много червивых. Прячутся под холмиками. Чем незаметнее холмик, тем вкуснее грибок. Вот. Малютки какие красивые. Аккуратненько срезать и прикрыть остаток. Грузди стадные ребята. Их можно есть сырыми. Но я так не люблю. Больше всего люблю соленые грузди, но их много не съешь. Не люблю грузди-лопухи, они просто некрасивые. У них шляпка наружу, и поэтому они меньше защищены от червей.

И от земли тяжело пластинки отчищать. Нужно щеткой, но щеткой пластинки крошатся. Короче, с ними одни расстройства.

Захар скучает. Тихое место. Теперь у нас совсем нет волков. Уже давно. Когда я был маленьким, еще меньше, чем сейчас, Захар убежал на запах. На течку волчицы. Три дня его не было, и папа уже подумал, что Захар сдох. А я этого не помню почти, это всё папа рассказывал. Потом прибежал с порванной шеей. До кости. На волчицу замахнулся. Чуть не сдох, еле живой прибежал. Точнее, приковылял. И папа очень сильно испугался и думал, что всё, не выживет. Но он смог всё зашить и полечить. И Захар выжил. И больше не лез к волкам. И вообще тише стал. Но я сам не помню, я был еще маленьким. Хотя одна картинка есть в памяти. Черная шерсть, липкая и как будто синяя от крови, желто-красное мясо по бокам и посередине белый позвонок. Но, скорее всего, это не воспоминание, а придумка. Папа рассказал, а я представил, как если бы видел. Помнить-то я не могу, мне тогда года не было. А теперь волков нет. Их увезли из нашего леса. И теперь много всякой твари. Медведей не было никогда. Наверное. Я не видел, а папа не рассказывал. Но я видел их на карточках. Они бывают разные. Бывают даже белые, но они не только зимой белые. Не то что зайцы. Точнее, у них всегда зима, поэтому они белые. И у нас скоро зима. Очухаться не успеешь. К зиме надо готовиться. Вот, почти и ведроко насобирал.

Чем больше вспоминаешь, тем быстрее идет время. Но вспоминать мне особо нечего, потому что я мало еще живу. Мне так не кажется, я много чего интересного видел и могу долго вспоминать, но... если представить, сколько видел папа, понимаешь, что я видел еще мало. Но я стараюсь видеть интересное, потому что люблю фильмы. Когда я сижу без дела и смотрю кино, актерам приходится играть. А когда я не смотрю, а просто живу, они смотрят за мной. Поэтому я стараюсь жить интереснее, чтобы мой фильм чаще включали. А если я научусь хорошо говорить, будет приятно посмотреть мой фильм и его будут выбирать чаще. Но, может быть, за мной никто не смотрел, так дядя Мутей сказал. Он сказал, что за людьми никто не сможет посмотреть, если у них не будет специальной штуки. Поэтому я вчера купил эту штуку, чтобы меня точно смотрели. И еще целых два фильма! Это очень интересно — посмотреть, как они живут. Но я не понимаю, зачем фильмы делают на других языках. Это же двойная работа. Сначала сделать на чужом, потом добавить наш язык сверху... У меня есть классный фильм, в котором живут доктор Невилл и его собака Саманта. Вот так и мы теперь с Захаркой, вдвоем, одни на белом свете. Только Захарка никогда не умрет. Он еще молодой, это надо видеть,

как он лезет на суку! А охотники его не будут трогать, потому что знают, что он папин пес. Они могут спутать его с волком, поэтому мы стараемся быть аккуратнее, когда они приходят. Но когда мы прятались в подвале, мужики спрашивали и про меня, и про Захара. Они про нас знают, поэтому охотники не трогают нас. А когда я сам научусь вести дела с мужиками, вообще всё будет спокойно.

Мы важные персоны в лесу, без нас нельзя. Мы стараемся не наглет. Собираем и убиваем ровно сколько необходимо. Один раз зимой я словил зайца голыми руками, потому что тогда еще не было моего ружья. Я хотел тайно обрадовать папу. У него был день рождения, и я специально пошел вглубь, к голубой ели, потому что знал, что там есть зайцы. Я загонял зайца, а потом придавил всем телом, но так, чтобы не убить. Потому что ночью я не хотел его разделявать, хотел сделать папе сюрприз утром. Я запихал зайца в рукав и сам шел без курточки. Всю дорогу проверял, не выпал ли заяц, но он не выпал. Потом я поставил его в клетку под окном. Это не совсем клетка, там нет прутьев. Там сетка из проволоки. Заяц стоял и не шевелился. Утром я вышел к нему, чтобы подкормить, пока не проснулся папа, но заяц так и не пошевелился за ночь. Не было следов на снегу от лапок. Он так простоял всю ночь. Я подумал, это от расстройства. И глаза у него были печальные. А потом, не сразу, учуял мертвечину. Это из-за мороза я сразу не учуял. Но я не поверил себе, открыл сетку и толкнул зайца. Он как стоял, так и упал. А глаза открытые. Потом папа надо мной смеялся, но немного успокаивал. Я ему всё рассказал, и папа догадался, что заяц умер в рукаве, от нехватки воздуха. Есть мы его, конечно, не стали. Вот так я впервые охотился. Не совсем удачно. А вот охота с оружием мне понравилась сразу.

Птицу убивать хорошо. У меня есть крякалка, на которую летят утки и гуси. Она называется «манок». Захар поднимает лапку, если кого-то увидел, но я почти всегда замечаю первым. Но он сразу понимает по мне, если я кого-то заметил, и тоже находит, куда надо смотреть. Раз у меня ружье, я стреляю, а Захар бежит за добычей. Если бы он стрелял, то я бы бежал, я не гордый, но я уже говорил, что стрелять он не умеет. А на прошлой неделе я вышел на крик и не успел. Захар зачем-то задушил петуха. Наверное, они поссорились. Папа бы Захара прибил. Но у него такой был растерянный вид, что я не смог его отругать. Он и сам удивился, а в зубах повис петух. А челюсть не разжимает. Я не стал ругать, просто сделал суп. Папа бы не одобрил, чем я теперь кормлю Захара. Но я-то знаю, что он сильнее папы чувствует вкус, значит, правильнее было папе есть серую кашу, а нам с Захаром

вкусную еду. Всё, река. Побежал! Вот морда! Плывет и тут же пьёт. Ах-ха-ха! Умора! Поплыл за селезнем! Папа всегда шутил, что мы с Захаром должны ловить рыбу на хвосты. Ах-ха-ха! Вот балбес! Я не полезу, не смотри так! Уши! Фу-у-х! Счастливый... Захар, ну ума у тебя нуль. Пес! Это кто такой пес? Это кто такой бестолковый пес? Пе-е-ся! Ну всё, домой.

Трансляция приостановлена

Решено. Будем продавать ружье. А зачем оно мне? На стене висеть? Нужно будет найти дядю Мутея. Это несложно. Он всегда стоит в одном и том же месте. К тому же он почти всегда одинаково пахнет и в одинаковой одежде. Вчера он продал мне эту штуку и два фильма за две баночки меда. Мед очень ценный. Сегодня я принесу ему маринованных лисичек. Папа их очень любил. Тем более с водкой. А мы с Захаром водку не пьем и грибы не особо любим. Любим, конечно, но не особо. Поэтому продадим. Я вчера постеснялся спросить про кассеты с рэпом, а сегодня спрошу. Интересно, сколько рэп-песен я смогу купить за ружье? Но я не буду этого делать. Рэп меня греет, но без дров не обойтись. *Мил человек, подвинься, пусть погреться.* А потом нужно будет договориться, чтобы привезли наших пчел. Пусть уже у дома пасутся. Скоро им спать. Захар очень их боится. А я хожу к пчелам в костюме. Иначе они путаются у меня в шерсти. Страшнее всего, если укусят в ухо или в нос. Но я на них не обижаюсь. Мы ведь их грабим. Они боятся не пережить зиму. Но мы боимся того же. У пчел нет ума, их не так жалко. Хотя жалко. Кормилицы. Вот сегодняшние груздочки. Чистенькие, хрустящие. Три баночки. Через неделю можно продать. Можно оставить себе. Но с ними неудобно. Если открыл, надо быстро съесть. А то плесень. Она опасная. На наших груздях плесень бывает беленькая, бывает голубая. На хлебе бывает и черная. А в папиной кружке появилась оранжевая, от водки, которую принесли мужики. Бр-р-р.

Как хорошо, что ночью был дождь. Только покормлю цыплят. Гадены крысы воруют пшено из бочки. Уже не знаю, как прятать. Это что за дыра? Разве можно железку так разгрызть зубами? Надо выловить всех крыс и выломать им зубы. И курочек они пугают. И цыплят таскают. А папа говорил, что еще очень давно был кот и его тоже сожрали крысы. А сейчас и так цыплята дохленькие какие-то. Хоть бы несколько выжило. Ну вот. Серенький сдох. Так совсем без курей останемся. Не знаю, в чем дело. Как папа умер, куры совсем прихирели. Яиц

не несут. Плакать хочется. Про то, что у них нет ума, это я шучу всё. И у пчел, и у кур, и у Захара есть ум. Даже у крыс есть ум, только злой. У свиней тем более был ум, но у нас их забрали. У нас и пчел хотели забрать за то, что мы их не купили, а диких ловушками насобирали. Но они у нас такие кусачие, что нам разрешили их оставить себе. Хотя я и умный, но я бы никогда не догадался собрать пчел. Папа очень много чего знал и умел.

Как мы теперь? Как мы одни? Я не плачу. Я сильный. Ничего. *Господь с нами, кого нам бояться?* Папочка. Когда я называл его так, он говорил: вон твой папка. На Захара. Но нечасто. Только когда выпьет водку. Какой же Захар мне папка, раз он всего на два года старше? Весной сельские парни меня обидели, когда я покупал макароны. Они сказали, что макароны для людей и мне их нельзя. Потом один, который пах бараньей кровью, сказал, что мою мать наказал Бог. Я сказал, что у меня не было матери. А он сказал, что была, и что она отдалась животному, и за это ее наказал Бог. И потом он сказал, что я ребенок шайтана. Я не выдержал и откусил ему лицо. А его друзья убежали. У меня правда не было мамы, иначе папа бы про нее рассказал. И я бы ее запомнил. Может, я и не помню шею Захара, как его покушала волчица, но маму я бы запомнил. Я снова разозлился. Если еще раз увижу этого парня, я его застрелю из ружья. И Захар мне его прищипит за ногу. Я даже с места не сойду. У меня как раз с собой папино ружье. Жаль, нет патронов. Только две банки грибов.

Дядя Мутей. Где-то рядом. Захар тоже закрутился. Вон, смотри! Дядя Мутей! Где дядя Мутей? Иди, иди! Здравствуйте, дядя Мутей! «Захар! Привет, Захарчик! Ну слюня-я-явый!.. Малой, а чего ты зачистил? Ты чего с ружьем?» Продать. «А батя где?» Умер. «Нельзя так про отца! Ну, давай посмотрим». Дядя Мутей ел пирожки недавно. И был с тетей. У тети была течка, и от него теперь несет ее испорченной кровью. Фу, какая гадость! Зачем они это делают? «Хорошее ружье! Точно батя не против?» Не против, точно. Я же говорю... «Ну, не против так не против. А если местные попросят, давать?» А можно не давать? «Можно, но возьму комиссию». Хорошо. «Дровами хочешь?» Это сколько же дров получится? «Ты себе еще одну конуру из них построишь». Я живу в доме. «Ладно, шучу, Маугли. Зубки спрячь». А деньгами сколько будет? «Два миллиона, но я не смогу всё деньгами дать. Давай десять кубов неколотых и полтора миллиона?» Что-то вы меня дури-те. «Сам ты дурак! Ты как со взрослыми разговариваешь?.. Ладно, чего ты? Это колотых все пятнадцать будет. Хорошие дрова, без комлей». Я не хочу так много. Их еще колоть! «Так ты сразу не коли, зимой

поколешь. Места занимают меньше. Проверено». Дядя Мутей, отдайте мне ружье, возьмите грибы. «И грибы возьму!» У вас руки жирные, двумя держите. «На тогда, поддержи». Всё, ружье пусть у меня, за грибы хочу рэп. «Ха! Вроде хитрющий, а простой, как трусы по рубль двадцать!» А чего? «А кто тебе сказал, что я музыку достану?» Ну, фильмы вчера вы ведь быстро достали. И эту штуку. «Про эту штуку, кстати. Ты мозги-то включай. Что там у тебя про грибников сегодня было? Базар фильтруй». А вы что, смотрели? «Как раз это и посмотрел. Боюсь представить, что ты еще наговорил». Ничего! Сказал, что вы ингушская морда. «А ну иди сюда, сученыш!» Захар! «Ай!.. Убери его! Вот же всыплет тебе батя, допрыгался!» Не всыплет. Порох есть? Ко мне! Рядом. «Есть». На одну банку пороха, на другую рэпа. «Это полпесни, что ли?» Почему так дорого? Вы мне эту штуку вообще в подарок почти дали. «Ну и что тебе эта штука? Сам на себя шьешь дело. Ты принципа не понял. Тебя смотрело человек пять». А если пятьдесят, я смогу купить песню? «А что ты там слушаешь?» Рэп. «Какой рэп? Он разный бывает!» Не знаю. Я один знаю. «Ну напой, я шазамну». *Огонь! Очистит золото от примеси! Огонь! Кто верит в истину, выстоит! Огонь...* «Хваток! “Двадцать пять / семнадцать”?» Да! «Ну, поздравляю, их вообще не достать нигде. Если только на кассетах остались, как у твоего отца... На, вот это попробуй. Почти того же времени». *Пиромы-а-ан. Обезглавить, обоссать и сжечь, обоссать и сжечь!..* Я не понял ничего. Захар, ты понял? Захар тоже не понял. *Я бензином обливаю, жгу, обливаю, жгу...* Нет! «Ну, он из той же тусовки. На него нет блока. Хаски. Хе! Твоя родня почти!» Я не хочу такое. «А группу “Грот” слышал? Вот они точно подойдут. Давай так, я запишу тебе в кассетах всю их дискографию, это песен двести получится, десять литров пороха, восемь дров, дров, как договаривались, сахару, соли, конечно, картошки». Картошка у нас своя. «Да какая у вас картошка?! Я видел! Горох, а не картошка». Нормальная... «Ботинки эти нравятся? Их за грибы возьми. У тебя ведь ноги нормальные?» Нормальные у меня ноги! «Давай ружье». Вы сначала привезите мне дрова и всё остальное, тогда дам ружье. «Ну ушлый! Тогда завтра, ботинки на, держи». Нормальные хоть? «Да я тебе сейчас уши оборву! Ты с кем разговариваешь?» Так это же дырки! «Сам ты дырки! Для вентиляции! Держи, мне работать пора». Помойтесь, от вас тетей несет. Захар, пошли.

Дядя Мутей. Вот ведь, а! И что мы имеем? Грибы делим на ботинки, это чисто. За ружье, значит, двести песен, пороху... пороху десять или восемь? Дрови, кажется, восемь, пороху, значит, десять. Дров...

Пятнадцать? Вот козел! Запутал, ужас. Специально запутал. Ужас. А сахару сколько? А картошки! Ой, чувствую, облапошил. Молодец, всё понюхай, всё пометь. Захар, почему ты не пометил дядю Мутея? Надо было пометить, как тогда. Ну, иди попей, ладно. Речка. Надеюсь, он гильзы сам привезет. Это же понятно, иначе зачем мне дробы столько и пороху? Он ведь догадается? Или вернуться, сказать? А он ушел. Работать. А со мной что, не работал? Ну, дядя Мутей! Когда у него была шавка, было смешно. Она мелкая, на зубок. И у Захара между ног крутится. А он не видит ее, столб решил пометить. А она ему под хвост уже залезла, он не понял. Шавка чуть не захлебнулась, а Захар только чуть-чуть удивился, когда закончил. Это было очень смешно. Дядя Мутей был красный и запах от стыда. Потому что он любил ее и даже в кровать брал. А она растягвается, как нас увидит. Наступлю, и всё — нет ее. Но ее и так уже нет. Раздавила машина. Папа говорил, дядя Мутей добрый, но по привычке обманывает. Даже без причины. Поэтому с ним надо аккуратнее. Но он меня сейчас обманул. И еще про папу спрашивал опять. Я ему уже три раза говорил, что папа умер. Вот приедет с дровами, я его за руку в сарай отведу. Пусть сам увидит. Что бы я шутил так? Вообще уже с ума сошел.

Так. В лесу были... В лесу есть. Охотники. Больше пяти. Боже, уже времени-то сколько! Как идти теперь? Захар, пойдешь у меня на руках? Придется, наверное. Ладно, иди так. Рядом. Рядом! Возбуждился. Рядом, не беги! Тихонько. Вот, кусты подавили. Свежий надлом. И пахнет по всему лесу. Значит, стреляли. Вообще, правда, как это я не подумал? Их давно не было. Я думал, раз дождь, значит только грибники придут. А про охотников не подумал. Захар тоже охотник на самом деле. И немец. А я, наверное, русский. Но мы с ним друзья или братья. Я видел давно-давно собаку, как Захар. Той же породы. Когда еще люди к нам могли ездить на охоту. Очень похожая, но пахла по-другому. И дерьмо у нее было кашицей. Что-то специальное ела. А у Захара всегда разное. И у меня всегда разное. И по моче легко понять, что ел и пил. Если я попью лимонад, будет чувствоваться лимонад. [Выстрел!] Стреляют. Захар! Ближе! [Выстрел!] Не понял. [Выстрел!] По нам. Боже! Бежим. Сюда! Захар, быстрее! [Выстрел!] Пока один. Всё нормально. Он ошибся. [Выстрел!] Господи! [Выстрел!] Быстрее, Захар, сюда! Стой. Сидеть. Приближаются еще. Они что, сдурели? Суки. Вот суки! Тихо. Моим потом несет. Боюсь. Надо меньше бояться. Захар, не ной. Оба мокрые. Это какая-то ошибка. Думают, что волк. Тихо. Дом близко. Сюда. Не скули, пожалуйста. Сейчас. [Выстрел!] [Выстрел!] [Выстрел!] Домой! Домой! Бегом! [Выстрел!] Сам, сам!

Быстро! [Выстрел!] Бежит. Не подстрелят. У дома не подстрелят. Это наш лес. Почему?! Они ведь знают. Я сейчас встану. Тихонько. Тихо. Пойду шагом. Они не... [Выстрел!] Сука! А! А! Быс!.. Хо!.. Так! Эть! [Выстрел!] Кры... кры... вон, вот! Дверь! [Выстрел!] Сюда! Держу, держу. Домой! [Выстрел!] С-с-с-у-ки! Суки! Совсем уже! Это что такое?! Так. Я вам покажу. В моем лесу! Это наш лес. Ружье. Суки. Ну всё! Захар, сидеть! Не ной! Залез под стол. Сиди. Там и сиди. Боится. Не бойся. Я им покажу. Штаны. Моча. Ну их! Хвоста не видели?! Стреляют они! У меня в лесу! Восемь, десять. Патронташ. На пояс. Без штанов пойду. Сейчас они посмотрят! Н-н-н-у с-с-с-у-ки! Фух. Тише. Спокойно. Это машины. Тихо. Ошиблись. Тихо. Просто я их перестреляю. Тихо. Шесть, восемь, десять. Они ошиблись, а я нет. Я не ошибусь. Окно. Война, значит. *Господь с нами, кого нам бояться?* Тихонечко приоткроем. Так. Ти-и-и... [Выстрел!] Получи, консерва. Консерва вскрыта, да? Ти-и-и... [Выстрел!] Хо! Доложить. [Выстрел!] Минус. Было шесть. Сегодня было шесть. Не семь. Лишь бы не... Ви. Жу. [Выстрел!] Мимо. Ушел. Тихо! Сидеть! Место! Иди на место! Где место, я сказал?! Больше не вижу из окон. Черт! Почему я не купил пистолет? Почему я забыл о пистолете? Выйти? Или уйдут сами? Что это за охота у них такая? Они что, с ума сошли? У них нет ума. Они ни при чем. Я просто их застрелю. У них нет своего ума. Ботинки? Босой. Пойду босой. Только мешать будут. Хвоста не видели? Дверь. Спокойно. Спокойно. За сарай. В сарай. Курочки. Тише-тише. Тише! Ох! Черт, зачем я сюда... Заткнулись! Так. Угол. Вижу. Назад. Вижу. Ра-а-з... [Выстрел!] Минус. Суки! Держите! Половина. Осталось три. Ничего не чувствую. Порох. Один порох. Ти-и-хо. Как вам мой порох? Помните такой запах? Уж запомните. *Нам некуда бежать, сестры и братья...* Дерево. Бревно. Лежать. Тихо. Ничего не слышу. Ничего не слышу. Слышу. Сторона. Ка... Так. Спокойно. Дошлем. Не успеет. Где же он? Тихо. Слышу. Где-то. Оп. Бо-о-о... [Выстрел!] [Выстрел!] Два. Суки. Докла... Я вам дам. Нравится? В моем лесу! Это мой лес! *Нам есть что терять, братья и сестры...* [Выстрел!] *Просыпайтесь!* [Выстрел!] *Пока не поздно!* Сел. Последний отсюда. Первый отсюда. Всё хорошо. Хватает. Где же вы? Кружите? Домой не смогут. Ступеньки. Только троньте Захара. Я голыми зубами. Вышел. Вышел. Вперед. Прилег. Оба. Оба сразу. Как же? *Господь с нами...* Раз, два, три. [Выстрел!] Бы!.. [Выстрел!] Черт! Увидел. Услышал. [Выстрел!] Черт! Сарай! [Выстрел!] Тише. А! А! Тише! Я вас сейчас! Черт. В яму? В яму. Тихо. Вонь. Ну и вонь. Папа. Привет. Папа? Что у тебя? Черт, вот! [Выстрел!] Минус. Ружье. На пол. И я на пол. Ноги трясутся. Сердце трясется. Уши болят. Нос не чув-

ствует. Я сделал. Я сделал. Их нет. Тихо. Тихо. Папочка! Иди сюда. Что? Что они с тобой сделали?

Трансляция приостановлена

*Бейся, бейся, не ленись. Теплится, теплится в венах жизнь... Захар долго ныл. Скулил из-под стола. Страшнее, чем гроза, правда? Что же это такое? Я лег на пол, устал. Как будто три дня в один час прожил. Ужасно устал. Я заснул, даже не успев подумать о том, что видел в сарае. Курицы безмозглые. Поклевали папе глаза. Совсем уже того. Поклевали папочке глаза. Дуры тупые. Я застрелил шесть охотников. Вот так. Воняют на весь лес. Может, горят еще. Сколько я спал? Надо унести оттуда папу. Надо, чтобы его никто не ел, не клевал. Землей засыпать, что ли? Или закопать... Но если я закопаю, я больше никогда его не увижу. И это значит — всё. Теперь точно один. С Захаром. Но это правильно. Так и должно быть. Нет. Так не должно быть. Я не должен был видеть мертвого папу. Я никогда не видел мертвых людей. Почему он умер? Сидел себе в кресле. И перестал дышать. Болезнью от него не пахло. Ничем не пахло. Взял и умер. Я сразу понял, что он сейчас неживой, но не знал, что навсегда. Положил в кровать. Завернул в простыню. Потом в одеяло и еще в простыню, через два дня. И он лежал там до сегодняшнего утра. Он бы и дальше лежал, но уже становилось слишком. А нам нужно держать носы в тонусе. Я не мог оставить папу дома. Но я не знал, что куры его поклюют. Я думал, только свинюшки... Значит, закопать. Сейчас и закопаю. Захар! Кушать? Кушать хочешь? Морда. На. Вот тебе каша. Ее любил царь. Так говорил папа. Царская каша. Я совсем не могу сейчас есть. Захар тоже что-то не ест. Переволновались. Попей водички. На. Я тоже попью. Думаю, за охотников нам влетит. Это случайно или нет? Это ошибка? У них нет своего ума, нет души. Их нечего жалеть. Кто-то им сказал нас стрелять. Они ведь знали нас с Захаркой. Они знали, что мы папины. Уроды. Раз папы нет, то и мы не нужны? *Боль, ненависть, обида, злость. Мы или нас? Нет места усталости.* К нам придут. *Погибать еще рано.* Это да. Поставить воду. Враг пришел в наш лес и грабит его. Мы будем как кусачие пчелы. Это наш мед. Патронташ. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Второй. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Ружье. Надо почистить. Мы почистим. Ими охота не закончится. Ружью нужен уход. Оп, свинец посыпался. Снимем стволы. Ершик на шомпол. Первый ствол. *Когда беда придет, я помолюсь и за домом откопаю старый дедов обрез.* Так. Так. Второй. *Я здесь родился, живу, и пусть моя**

смерть найдет меня тоже здесь. Ага. Кипяток готов. Мыла. Хорошо... Тщательно. Насухо. Где масло? А куда я масло? Кто же знал, да, Захар, что сегодня будем стрелять? Кто знал? *Я здесь родился, живу, и пусть...* Готово. Спускайся вниз, дружочек. Посиди в погребке. Надо. Надо. Ну чего? Пойдем вместе. Пошли. Так. Так. Всё, будь тут. Тихо сиди. Я тут. Всё! Тихо. Не скули. Я к папе... [Машина.] Стоять. По лесу. За нами. Машина. За мной. Выключаю свет. Тихо. Рядом. Близко. Куда? Под кровать. Остановились. Ружье! Под кровать. Тихо. Тишина. Господи, спаси и сохрани. *Бейся, бейся.* Господи, прости. Я не хочу убивать. [Шаги.] «Это он их всех?» — «Отморозок!» [Стук в дверь.] Тихо. «Эй!» [Стук в дверь.] «Эй! Открой!» — «А он понимает?» — «Понимает, всё он понимает». — «Может, в сарае?» — «Сходи посмотри». Двое. Мужики. Их двое. Не успею выпрыгнуть. Не успею выстрелить. Сейчас? Шкаф? Нет. За диван? Нет. «Там только трупак!» — «Значит, тут!» — «Может, вообще не дома?» — «Дома, дома». — «А почему мы не взяли Грету?» — «Вдруг они бы ее подговорили. Слушай, хрен знает. Ломаем?» [Стук в дверь.] Тихо. «Эй, открывай, паскуда!»

Не уйдут. Стрелять по ногам? Я увижу только ноги. Они с оружием. Да. Они с оружием. Один уже был здесь, приходил к папе. Стрелять в дверь? Нет, конечно нет. [Грохот двери.] Ноги. Черт! Не стрелять. «Ну и где?» — «В манде! Я откуда знаю?» — «Эй, Шариков, а ну выходи!» — «Убивать тебя будем!» [Смех.] «Шутка. Не тронем. Просто объяснишь, почему пострелял охотников». — «Всего-то!» [Смех.] Ходят, осматриваются. Открыли холодильник. «Надо в погребке проверить, сказали, там может прятаться». — «Эй, Шариков, ты в погребке?» Сам ты Шариков. Дерьма кусок. Надушился-то как. Стрелял сегодня. Слышу, как стрелял. Второй потеет. Смотрит в окно. «А за какие заслуги этому доктору дали гомункула?» — «Ты думаешь, он очереди ждал?» — «А как?» — «Сам». — «Из кого?» — «А как ты, блин, думаешь?» — «Кабздец». — «Да отстрелять этих тварей, и дело с концом. Всё, прошло их время». — «А доктора самого кто снял?» — «Ну ты тупой?» — «А что такого?» — «Ты тупой». — «Что, думаешь, понял?» Не понял. Я не понял. Папу не стреляли. Я не понял. «Доктор себе на уме был, допрыгался». — «Ну, полезем в погреб?» — «Ты разрешения ждешь?» — «Ну ты ведь...» — «Ну тебе сказали?» — «Да». — «И в чем проблема?» — «А вдруг он там со стволом?» — «Не вдруг, а точно». — «И что делать?» — «А лимонку на кой брали?» — «А-а-а...» — «Вот тебе и а!» — «Она в машине». — «Сейчас, погоди. Алло? Где? Под... эм... откуда знаешь?» Наклоняется ко мне. [Выстрел!] Крик. Лай. Нет лица. Вспрыг. С кроватью. Кубарем. Крики. [Выстрел!] [Выстрел!] [Выстрел!]

Я цел. Не заде... Палит вслепую. Крик. Не вижу. Дым. Наугад. [Выстрел!] Не успе... Не доложу. Встает. Прыгает. Горло. Горло! Ещ. Ах. Гыр. Ах! Ащ. Ащ. Минус. Минус. Мертвы. Оба. Лай. Боже. Бо-о-оже! Прости! Суки! Кисло. Кровь. Нету. Нету. Нету. Я. Я убил. Я убил. Я. Живой. Ничего. Всё хорошо. Я должен был. Никак. Никак. Я живой. Захар. Он живой. Лицо. Болит лицо. Отда. Ча. Слишком. Вдруг. Не был го... Не взял по... Отдача. Ничего. Хорошо. Всё хорошо. Господи. Господи. Сколько кро-
ви. Лай. Бедный Захар. Захар! Я живой! Фуф. Не лежать. Сел. Лай. Захар, не плачь! Всё хорошо. Скребет. Сейчас. Сейчас. Ну, ай! Тихо, тихо, тихо, мой дорогой. Тихо. Всё размазал. Тихо. Иди сюда. Иди ко мне. Боже. Телевизор разбит. Сука. Доктор Невилл! Суки. Тихо. Что еще? Это ясно. Всё в крови. Это конечно. Окно. Нет окна. Стены всё. Это ясно. Ико... Бо... Божья Матерь! Мамочка. Это дробь? Это моя дробь. Божья Матерь! Прости! Ты плачешь? Это кровь? Божья Матерь, прости! Это я! Я тебя застрелил. Божья Матерь, прости! Это я. Я их убил. Но живой. Но живой. Закопать. Закопать. Большая яма. Будет большая яма. Штыковую. Тихо. Сюда. Тихонечко. По крылечку. Не больно? По травушке. У сарайчика. И второй. Где ты спрятался? Был лысый. Теперь какая-то каша. Простите меня. А что я мог сделать? А что я мог? Сюда. Полежи, дружок. За папочкой. Сарай. Ну-ка, тихо! Привет, папа. Папочка. Тебя обижали? А ну пошли отсюда! Угомонились! Сейчас, папа. Папа, прости. Папа, прости курочек. Что с курочками? Знаешь, они не несут. Петух им как-то помогал? А Захар его зубами. Ты бы прибил Захара. В петухе дело? Папа? А мы его съели. Папа, я ведь не знаю ничего. Ну. Папа, чего же ты так пахнешь ужасно? Чего же ты так выглядишь? Ложись. Это они тебя убили. Вот эти двое, да, папа? Ничего. Я вас закопаю. Никто не будет вас есть. Нужна большая яма. Э-э-эх! Раз. Раз. Раз. Раз. Э-эть, раз. Раз. Раз. Раз. Прости, Боже. Раз. Раз. Раз. *А голова — чтобы думать, губы — чтобы говорить. Никто-о-о не смо-о-ожет меня остановить...*

Трансляция прекращена.

Ваш эфир посмотрело 1478 человек. Так держать!

Георгий Гобаев

Рауль

С Раулем я познакомился случайно.

Обычным вечером я возвращался домой, пьяный и грустно-добрый. Накрапывал дождь, и было приятно ощущать капли воды на лице. Дождь как посланник весны. Очередная зима, казавшаяся бесконечной, закончилась. У подъезда я остановился покурить и услышал свист. Вполне себе босяцкий свист.

Так свистели пацанчики с районов моего детства. С лентой и скрытой угрозой, выходящей вместе с воздухом сквозь зубы. Услышав такой свист, ты сразу понимал, к кому он обращен, если к тебе — вечер переставал быть томным. Сейчас свистели именно мне. Но вокруг никого не было. Я докурил и собирался уже заходить, как свист повторился. Моя пьяная задумчивость сменилась раздражением.

— Где ты, свисток? — обратился я к темному двору.

В этот раз свист раздался гораздо ближе и ниже.

У моих ног сидел котенок, черный и такой маленький, что я разглядел его только по глазам, они сверкали, как звезды на мокром небе асфальта.

Я поднял его на руки. Мокрый и дрожащий комок помещался на ладони.

— Это ты, что ли, свистишь?

Котенок серьезно смотрел мне в глаза. В таких ситуациях у животного бывает совсем другой взгляд. Где страдание и тоска? Несмотря на телесную дрожь и общий неуклад жизни, кот смотрел на меня спокойным, слегка оценивающим взглядом.

На вопрос мой он ожидаемо не ответил. Дрожал, молчал и смотрел. Не свистел и не мяукал, голоса не подавал. Я обтер его платком, мы встали под козырек подъезда, покурить и подумать. Закутанный, как в простыню, в носовой платок, взъерошенный и большеглазый, кот напоминал домовенка.

Пока мы курили, никто не свистел, зато кто-то свернулся клубком на ладони и урчал. Запищала дверь подъезда. В открывшийся проем торпедой вылетело что-то светлое и мускулистое. Стаффордширский терьер. Приземистый и широкоплечий, как борец. Опыненный первыми глотками свободы после долгого дня в квартире, пес сначала не обратил на нас внимания. Огромными прыжками он исчез в темноте, но я знал, что среди букета ароматов, наполняющих наш двор, собака обязательно вычленил запах кота и подойдет поинтересоваться.

С момента, как запищала дверь, прошло не больше пяти секунд, а я уже успел подумать о взаимоотношениях кошек и собак, о нелюбви последних к пьяным людям и об особенностях психики бойцовских пород, выведенных путем скрещивания. Главное, не показать ей свой страх, подумал я, и в ту же секунду почувствовал, как гулко застучало сердце, разгоняя адреналин по крови. Хозяйка терьера стояла в дверях подъезда и разговаривала по телефону, а ее подопечный уже был около меня.

По таким собакам не поймешь, она собирается с тобой играть или хочет убить. Я вжался в угол. Пес надвигался на меня, подпрыгивал, пытаюсь ухватить за руку, в которой отдыхал кот. Паника лишила меня голоса и гордости, в какую-то секунду я думал отбросить кота в сторону, чтобы пес отвлекся, а я успел скрыться в подъезде.

Хотелось бы мне сказать, что я усилием воли усмирил внутреннего труса, но это было бы неправдой. На самом деле котенок в моей ладони проснулся, перевернулся на живот и, слегка свесившись с руки, дождался, когда собачья морда окажется в максимальной близости, — и отвесил наглую леща.

Было что-то такое в движении лапы, в ее амплитуде, отчего становилось понятно: это не пощечина, не удар и не тычок — это лещ. Пес будто бы ударился о невидимую стену. Взвизгнув, он кувыркнулся в воздухе, приземлился на задницу и, пробуксовывая на мокром асфальте, метнулся к хозяйке. Девушка была полностью увлечена телефоном и на суету с нашей стороны отреагировала скупым: «Не кусается».

— Да мы сами кого хочешь покусает! — Забылись ужас и слабость минутной давности, куражный кот заразил меня своей уверенностью.

— Что?

— Добрый вечер, говорю, — ответил я, и мы пошли домой.

Пока поднимался на лифте, вспомнил, что я не люблю кошек. Я собачник, и собака, живущая со мной, это подтвердит.

— Слышишь, а я кошек не люблю.

Мое признание не произвело никакого впечатления. Мы еще немного постояли у входной двери, набираясь духу, и постучали.

За дверью раздался лай, послышались шаги, поворот ключа в замке, мы дома.

Кота я спрятал за спиной, ведь, кроме объяснения с собакой, меня ждал разговор с женой, а я даже сам себе не мог объяснить, для чего притащил этого шерстяного бродягу домой.

Увидев заведенную за спину руку, жена расстроилась и спросила:
— Это цветы?

В кухне стоял вчерашний букет, а в комнате позавчерашний.

— Нет, — сказал я, и она улыбнулась.

— Но я всё равно пьяный.

— Плохо, — сказала она.

Собака вышла из кухни и, увидев меня, улеглась на спину. Это не особое отношение ко мне, она всех так встречает.

Собака у нас некрасивая и тупая. Трехцветный двортерьер, с неправильным прикусом, оборванным ухом и косящим правым глазом. Зовут Официал, но мы называем ее Фишка. По законам вселенского баланса, некрасивая псина должна была быть чрезвычайно умной, но в случае с Фишкой природа воздала ей за внешнее уродство не интеллектом, а чем-то иным. Чем, я до сих пор так и не разобрался.

Зато с женой повезло, было бы хуже, если бы она была некрасивой и тупой.

— Ты никогда не угадаешь, что я принес.

— Но ты хочешь, чтобы я поугадывала?

— Хотя бы три варианта.

— Наркотики, алкоголь, валюта — таможня не дает добро.

— Не угадала, не угадала.

— Мне не весело.

— Оттого что не угадала?

— Оттого что ты пьешь каждый день.

Так, кот, настало твое время, разговор заходит в тупик.

Жестом фокусника я сдернул с руки платок и опустил кота на пол.

— Кошка?

— Я не смотрел, но, по-моему, это кот.

— Зачем ты притащил его?

— Не знаю.

Кот тем временем отряхнулся и, уверенно пройдя мимо ошарашенной Фишки, зашел на кухню.

— Он, наверное, голодный, — сказал я.

— Тебе по пьяни весь этот сюр может казаться занятным, но на самом деле это всё очень печально, я устала от тебя! — Вполне себе начало для семейного скандала, я хотел съязвить что-нибудь в ответ, но тут снова раздался свист.

— Зовет тебя, — сказал я.

Она наклонилась и подняла его с пола.

— Смотри, — она взяла его за шкуру, чем вызывала недовольное ворчание, и повернула мордой ко мне. На животе и груди кота было белое пятно в форме креста. Идеальные линии и пропорции, как будто нарисовал кто-то.

— Может, назовем его Торквемада?

— Это запрещенный прием, я всё равно на тебя злюсь, но не хочу скандалить, хочу кота тискать.

— Ты, старушка, пока накорми его, напои, баньку затопи, а потом тискай сколько влезет.

В общем, стали мы жить вчетвером.

Кот мне попался удивительный. Он свистел, а не мяукал, отказывался есть из миски, которая стоит на полу, приходилось ставить ее на стол, любил чай и имел вредные привычки. Кличка Торквемада не прижилась, поэтому какое-то время он жил безымянным.

Как-то раз, стоя на балконе, я собирался раскурить косячок. Кот увидел это и стал скрестись в дверь. Я впустил его, он зашел, запрыгнул на подоконник и начал тянуться к папиросе.

— А ты не слишком молод для такого?

Кот протяжно свистнул.

— Ладно, ладно, — сказал я и прикурил.

Я затаивался и выдыхал дым коту в морду. Дым ему явно не нравился, но он стоически терпел. Покурили и пошли смотреть телевизор. Щелкая каналами в поисках чего-нибудь интересного, наткнулись на новости, я хотел переключить, и в этот момент кот меня цапнул.

— Ты чего?

Он свистнул.

— Не переключать?

Он кивнул.

— Ты кивнул?!

Он кивнул.

Забористая попалась шмаль, надо запомнить. Я увеличил громкость на телевизоре. «На окраине Москвы задержан подозреваемый в убийстве Рауля Гагуа, вора в законе, известного под кличкой Испанец, в интересах следствия имя подозреваемого не разглашается».

Кот смотрел не отрываясь. На экране какая-то давняя оперативная съемка. Высокий худой мужчина с зачесанными назад волосами и спокойным оценивающим взглядом глядел в объектив камеры.

«Имя, фамилия, отчество, дата и место рождения», — произнес голос за кадром.

«Гагуа Рауль Георгиевич, девятнадцатое февраля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого, город Орджоникидзе».

«За что задержаны?»

Рауль присвистнул.

«Ты мне расскажи».

«Вором себя считаете?»

«Люди считают».

«Татуировки на теле имеются?»

«Имеются».

«Показывайте».

Мужик снял с себя рубаху. На плечах стандартные звезды, а на груди огромный крест.

Я посмотрел на кота.

— Рауль?

Он повернулся.

— Это ты?

Он зевнул, потянулся, прыгнул с дивана и поцокал в сторону кухни. Сушняк, наверное. После этого случая я пару дней не отрываясь следил за ним, но более он признаков разумного существования не подавал. В любом случае, хотя бы с прозвищем определились. Рауль.

Кот достаточно быстро и доходчиво объяснил членам нашего небольшого братства изменившуюся иерархию. Сначала, конечно, шел сам Рауль. На небольшом, но явном от него отдалении находился я. Супругу мою он любил и жаловал, как хороший барин любит и жалует исполнительного и непьющего денщика. Фишка осталась в роли общей любимицы без права голоса.

За пару месяцев Рауль отъел хорошую морду и из милого котенка превратился в наглого котяру. Утренние прогулки с Фишкой он просыпал, но на вечерние променады всегда выходил с нами. Я пробовал надеть на него ошейник, но был жестоко расцарапан и оставил эту затею.

Фишка у нас трусиха, боится машин, людей, голубей и других собак. На улице она не отлипала от меня, но с появлением Рауля жить ей стало гораздо спокойнее. Собаки обходили моего кота стороной, людей он просто не замечал, а голубей любил за тупость и неповоротливость.

Летними вечерами мы выходили из подъезда, я отпускал Фишку с поводка, и они вдвоем уходили гулять, а я сидел на скамейке, курил и думал, как научить Рауля вызывать лифт, чтобы полностью переложить на его меховые плечи выгул собаки, но потом они начали приносить дохлых голубей. Впервые моя тупая и добрая собака оскалилась на меня, когда я попытался забрать у нее труп голубя. Во избежание дальнейшего разращения Фишки я прекратил их самостоятельные вылазки.

Как-то вечером наша великолепная тройца возвращалась с очередной прогулки. Навстречу нам шагали два сотрудника внутренних дел. Я скользнул по ним взглядом: подумаешь, мент с собакой. Рауль же прям вскипел, я никогда не видел его таким злым. Без лишних расшаркиваний и выгибаний спины он коротко свистнул и бросился на четвероногого служителя порядка, чем очень напугал прямоходящего. На месте конфликта видов образовалась туча пыли. Лапы, хвосты, рычание и визг, всё смешалось. Насколько я мог разобрать, визжал доблестный полицейский.

Надо было вмешаться, но я не знал, с какой стороны подступить, поэтому просто болел за наших. Силой духа Рауль превосходил обоих своих соперников, но физически не справлялся, овчарка пришла в себя после внезапного нападения и уже примеривала свою челюсть к моему коту.

Счет пошел на сотые доли секунды. Я замер, понимая, что не успеваю спасти Рауля. В это время за спиной у меня раздался довольно таки мощный рык. Фишка вылетела как из пращи и всем телом врезалась в овчарку. Я ожил, подхватил потрепанного, но не сломленного кота с земли и встал между ментом, который замахнулся дубинкой, и Фишкой.

— Брейк, сержант.

— Ты что творишь?! — Голос у мента был тонкий и взволнованный.

— Да я сам в шоке, сержант, извини.

— В отделе разберемся, — сказал он и потянулся за рацией.

— Постой, постой! — Я видел, что вокруг нас собрались зеваки, многие уже фиксировали происходящее на камеры телефонов.

— Я постою, а ты посидишь, я тебе пятнадцать суток за хулиганку нарисую.

— Граждане! — обратился я к зевакам, продиктовал свой телефон и попросил скинуть мне видео драки.

Полицейский смотрел на меня с подозрением, но рацию не доставал.

— Сержант, давайте мирно разойдемся по своим делам, я не хочу в отдел, а вы не хотите, чтобы ваши коллеги увидели, как вы визжите от страха перед котом.

Он покраснел. Помолчал.

— Собаку в наморднике выгуливайте, а кота кастрируйте, а то он у вас так и будет на всех бросаться.

— Будет исполнено.

— И видео это не распространяйте.

— Ни в коем случае.

На том и порешили.

Рауль после беглого осмотра на предмет ранений и травм вырвался у меня из рук, подошел к Фишке и по-кошачьи об нее потерся. Вроде бы ничего удивительного, но я готов поклясться, что он так никогда раньше не делал. Фишка в ответ облизала его, как рожок мороженого. Рауль не любит сентиментальности, что-то проворчал, но стерпел.

Дома я рассказал всё жене, вспомнил случай с телевизором и выдвинул теорию, что наш кот не просто кот, а реинкарнация вора в законе. Супруга уточнила, трезвый ли я.

— Ты же знаешь, что я уже почти две недели трезвый! — Я был оскорблен.

— «Почти две недели» от тебя звучит как «семь лет рабства».

— Знаешь, я только сейчас понял, что испытала полицейская овчарка, когда Фишка на нее бросилась.

— И что же?

— Разочарование в своем биологическом виде.

Жену мои проникновенные речи не цепляли.

— Помнишь, как ты под ЛСД рассказывал мне, что прибыл из прошлого?

— Технически я был прав, и сейчас я не под кайфом.

— То есть наш Рауль вор в законе?

— Да.

— Да? — Она уже не сдерживаясь смеялась, глядя мне за спину.

Рауль сидел на заднице и вылизывал собственные гениталии.

— А это у них по понятиям? — спросила она.

— Ты ужасно приземленная.

Я всерьез решил вывести кота на чистую воду.

Для начала надо узнать, что это был за Испанец. С утра на работе я засел за досье вора в законе.

Рауль Гауга с самого детства отличался тяжелым характером и крайней степенью неуважения к уголовному кодексу. Первый срок он

получил в пятнадцать лет, тюрьма для малолеток отточила его маргинальные навыки, и в девятнадцать лет он получил свой первый взрослый срок. Отчаянная храбрость, хорошо подвешенный язык и уважение к воровскому укладу в тюрьме ценятся так же, как на свободе коммуникабельность, целеустремленность и стрессоустойчивость. Рауль попер в гору, в девяносто пятом году его короновали, он стал самым молодым вором в законе в России.

На ютубе о жизни Рауля было три длинных видео и бесчисленное количество коротких. НТВ даже передачу про него снял. Оказывается, мой питомец в прошлой жизни обладал серьезным авторитетом и пользовался уважением по обе стороны закона. В лихие девяностые он был одним из немногих, кто открыто выступал против бандитского беспредела, тогда-то и нажил себе много врагов.

Была даже киношная история, когда у дирижера, прибывшего в Москву на гастроли, в аэропорту украли чемодан. По версии НТВ, главный московский милиционер обратился к Раулю за помощью, и уже на следующий день чемодан с извинениями вернули деятелю искусств. Были даже фотографии. Дирижер, кудрявый и взволнованный, стоит рядом с высоким худым Раулем.

За просмотром роликов я и не заметил, как пролетел день. Удивительно, как много, оказывается, в интернете посвящено воровской теме. Лично я никогда не понимал этой блатной романтики. Если уж ты выбрал преступную карьеру и попал в тюрьму, значит, ты плохо выполняешь свою работу, а с чего мне уважать непрофессионалов? Какая романтика в профнепригодности?

Перед выходом я посмотрел несколько интервью Куклачева, в которых он рассказывал, как найти общий язык с кошкой, закрепил видео «Как правильно входить в хату» и на всякий случай глянул «Как не стать петухом на зоне».

Дома я поприветствовал домочадцев, как учили на ютубе.

— Вечер в хату!

Кто-то из домочадцев рассмеялся, кто-то лежал на спине, а тот, к кому я и обращался, сделал вид, что не слышит.

О своих изысканиях я решил пока не рассказывать, поддержки от супруги ждать не приходилось, хотя бы насмешек избегу.

Я умылся и сел ужинать.

— Меня сегодня чуть инфаркт не хватил, — сказала жена, накладывая мне котлет.

— Что случилось?

— Я окно открытым оставила, и эта скотина выпрыгнула, представляешь? Я на улицу выбежала, думала, он там дохлый валяется, а он, оказывается, на дерево прыгнул, там, видите ли, кошечка сидела, он поухаживать решил.

— Кстати о кошечках, найди номер ветеринара, кота надо кастрировать, говорят, это хорошо на характере сказывается.

— Посмотрела бы я на твой характер, если бы тебе яйца отрезали.

— Не надо обобщать, я добропорядочный гражданин, в отличие от него.

— Ешь давай, добропорядочный.

Ветеринар у нас старый знакомый. Фишку мы тоже подобрали на улице, и подобрали в ужасном состоянии. За те деньги, которые я потратил на ее лечение, я мог купить породистую собаку с родословной длиннее, чем у меня, и форсить по выставкам.

Жена утверждает, что Фишка обязательно замолвит за нас словечко в собачьем раю, но меня перспектива попасть в собачий рай не особо вдохновляет.

Ветеринар Артур, огромный, как Гаргантюа, мужчина в смешных подтяжках и с тонким голосом, приехал на выходных. Рауль всегда выходил глянуть, кто пришел в гости, и Артур ему сразу не понравился.

— Кто это у нас такой с яйцами? — поинтересовался ветеринар.

Рауль выгнул спину и зашипел.

— Погоди, милоч, сейчас ты у меня фальцетом запоешь.

Что тут началось. Рауль расцарапал всех, за мужское достоинство он сражался как лев. В однокомнатной квартире вроде бы немного места, но мы потратили полтора часа, чтобы его поймать. Артур сдавленно матерился и обрабатывал руки перекисью водорода. Рауль лежал на столе, спеленатый в какое-то подобие смиренной рубашки для животных. Ветеринар достал шприц с анестезией и с нескрываемым злорадством обратился к Раулю:

— А проснешься ты уже без них.

В этот момент я встретился глазами с котом и опешил. Рауль пронзительно глядел мне прямо в душу и плакал.

— Подожди, Артур, — сказал я.

— Что еще?

— Я передумал.

— Что?!

— Он плачет.

— Он не может плакать, я тебе как ветеринар говорю.

— И тем не менее он плачет, развязывай его.

— Ты понимаешь, что, если его не кастрировать, он вам всю квартиру обоссyt?

— Не обоссyt, в хате даже плевать нельзя.

— Что? — Артур держал шприц с анестезией, будто не мог решить, в кого из нас его воткнуть. За его спиной стояла жена и делала мне недвусмысленные знаки прекращать рассказывать про быт тюремной камеры.

— Пусть ссыт, говорю, развязывай.

— За вызов я с тебя всё равно возьму, и сам развязывай, он у тебя неадекватный.

Два дня Рауль ни с кем не разговаривал, забрался на антресоли и даже воды попить не спускался. Жена пыталась его задобрить. И извинялась, и лакомства различные ему предлагала, и плакала, и кричала. Ноль эмоций, кот ушел в отрицало. Я наблюдал за переговорами со стороны и не вмешивался. Вечером второго дня я пошарил в интернете, нашел что искал, выписал на бумажку, собрал всю семью у шкафа и, подняв голову к потолку, прочитал шпаргалку.

— Рауль, не обессудь, ты жулик авторитетный, а тебя чуть под западло не подвели, галимый зехер отмутили, ля буду, Рауль, такого беспредела больше не повторится, спрос как с понимающих будет. — Я строго обвел взглядом жену и собаку, не желают ли они проверить, что такое спрос как с понимающих, и продолжил: — Харэ кислячить, тут грев для тебя, спускайся.

Пару секунд всё было тихо, потом с антресолей раздался свист и показалась черная голова Рауля.

— Я же говорил! — закричал я, — он вор в законе!

— Он два дня не пил и не ел и просто на голос твой отреагировал, — сказала жена.

Фишка потянулась облизнуть спустившегося Рауля, но получила по носу. Мир и спокойствие воцарились в нашем доме.

За ужином я продолжил рассказывать жене о чудесах реинкарнации, но все мои доводы наталкивались на ее уверенность, что кот не может быть вором в законе. Рауль поел и сидел на подоконнике, глядя в окно. Я попробовал поговорить с ним на фене, но он снова делал вид, что он просто кот, отдыхающий после ужина на подоконнике.

— Знаешь, Герман, я тебе, конечно, не верю, но ты уже несколько недель не пьешь, не куришь и не шляешься до утра по барам, хотя бы из-за этого я Раулю благодарна до глубины души, — сказала жена.

— Я всё равно тебе докажу.

— Ну докажешь, и дальше что? На минуту славы с ним пойдешь? Кот, заваривающий чифирь? Или что?

— Это изменит мир.

— Мир пару дней это обсудит, а потом новая тема появится.

— Ты Шатана, что ли?

— Не злись, хозяин моей головы, я люблю тебя со всеми твоими сумасшедшими идеями, доедай и иди Фишку выгуляй.

Лето мы прожили без происшествий, я снова начал что-то писать, записался в зал, начал откладывать деньги. Трезвый образ жизни, оказывается, освобождает кучу времени и денег. Рауль если и проявлял признаки разума, то только наедине со мной, в остальном вел себя как обычный наглый кот.

В сентябре мы укатили на море, оставив животных на попечение моей сестры, отлично отдохнули, загорели и полные сил вернулись в Москву. Столица пахла осенью, было не холодно и дожди не шли, но воздух стал другим и небо поменяло цвет.

В один из первых действительно осенних дней, когда лужи покрылись тонкой коркой льда, Рауль пропал. Он и раньше не был ограничен в передвижениях, спокойно выходил в окно третьего этажа, но всегда ждал нас с Фишкой у дверей подъезда, когда мы отправлялись на вечернюю прогулку. А тут ушел и не вернулся, на третий день мы начали переживать, на четвертый паниковать. Серьезно поругались с женой. Я напился, подрался в баре, провел ночь в обезьяннике.

Мы расклеили по всему району объявления с просьбой о помощи, но никто не откликнулся. Казалось бы, кот и кот, но ощущение, что мы потеряли друга, не покидало. Я снова загудел. Забил на работу и валялся все дни на диване, вставая только для того, чтобы выйти на балкон и накуриться. Тупо пялился в телевизор, и когда жена не видела — тихонько плакал по своему другу. Она в свою очередь, не скрываясь, плакала не переставая. Вместе с Раулем из нашей семьи ушли порядок и взаимопонимание. Потом я наткнулся на этот выпуск новостей.

Телевизор я в основном смотрел без звука. На экране диктор шевелила губами, потом изображение сменилось на фотографию. Высокий худой мужчина с внимательными взглядом. Где-то я его видел. Это же Рауль! Я увеличил громкость.

«...поистине голливудская история с воскрешением вора в законе Рауля Гагуа. В декабре прошлого года на него было совершенно поку-

шение, в результате которого он долгое время считался мертвым. Правоохранительные органы даже задержали подозреваемого в убийстве. Но Испанец, как называли Гагуа в криминальных кругах, обвел вокруг пальца и правоохранительные органы, и своих недоброжелателей, мы следим за новостями».

Я протрезвел.

— Дина! Иди сюда!

Я рассказал жене содержание выпуска новостей.

— Вот видишь, это был просто кот, наш Рауль, — голос у нее дрожал, глаза были на мокром месте. Я обнял ее, и в этот момент в дверь позвонили.

Я открыл, там стояли два лба опасной наружности.

— Да?

— Это Дине, — сказал один и протянул огромный букет.

— Это Фишке, — сказал другой и протянул большой пакет с собачьим кормом.

— А это вам, — сказали в унисон и протянули коробку.

— Что это? — спросил я.

— Приветы от Испанца. — И ушли.

Дина поставила цветы в вазу, насыпала Фишке гостинцев, а коробку положила на стол.

— Кто принес? — спросила она.

— Ты всё равно не поверишь, — ответил я.

В коробке что-то зашуршало, Дина открыла ее и заплакала пуще прежнего. На дне коробки сидел маленький черный котенок.

Весь троллейбус оказался гигантской застекленной морковкой. Поручни и сиденья — всё было сделано из моркови.

«Во дела! — подумал Пяткин. — Морковка на морковке кролика везет».

Троллейбус отъехал от остановки, но почти сразу дернулся и замер.

— Пассажир кролик, покиньте транспорт, — заскрипел из динамиков морковный голос.

— Чего это?

— Вы сиденье грызли, я видела!

— И чего?

— Я в полицию позвоню!

Кролик плюнул с досады, перелез через Пяткина, на прощанье хлопнул его по плечу, ухмыльнулся и вышел на улицу.

— Вас, пассажир, это тоже касается! — заметила в микрофон морковка.

— Но я ничего не грыз! — возмутился Пяткин.

— Вы зайцем едете!

Пяткин сообразил, что забыл приложить карточку, чтобы списались деньги за поездку. Он пошарил по карманам. Ни телефона, ни кошелька. Он совершенно точно брал их утром... Перед глазами всплыла кроличья ухмылка. Пяткин выскочил из троллейбуса, но кролик давно ускакал. Пяткин обернулся. Троллейбус-морковка как будто растаял в воздухе.

Пяткин побежал на работу.

Светофор починили. Город ожил: по улицам бежали прохожие, по шоссе ехали машины — ни следа морковно-кроличьего безумия.

На работе Пяткин не стал рассказывать о том, что его ограбил гигантский кролик — соврал, что проспал. Торрэк, конечно, впалял ему штраф. Торрэк — это шеф. Он говорил, что фамилия досталась ему от предков-шотландцев. Торрэк чтит корни — ходил в килте, а телефон у него звонил мелодией волынки. Он пас подчиненных так же бдительно, как его предки пасли овец. «Эти шотландцы, — рассуждал Пяткин, — все такие. Цепкие и коварные, как их виски. По сути же — самогон самогоном».

Торрэк ввозил из-за границы удобрения для сада и огорода. Контора называлась на шотландский лад — «МакУдобрения».

«Дурацкое название», — думал Пяткин, пакуя товар для клиентов.

Вообще Пяткин делал всё: оформлял договоры, следил за отгрузками. Шеф только находил заказчиков.

Торрэк был скуп. Требовал, чтобы Пяткин работал побольше, и обещал поднять ему зарплату, но обещаний не исполнял.

Пяткин устал надеяться попусту и решил стать хозяином собственной судьбы. Пару недель назад по совету подруги он купил книжку, в которой учили, как мысленно трансформировать реальность. Пяткин читал ее на ночь и представлял, что наступил мир во всем мире, а сам он выиграл в лотерею, живет припеваючи и не работает.

Что если утреннее происшествие как-то связано с книжкой, подумалось Пяткину. Вдруг он сумел поменять реальность, только напортачил по неопытности? Откуда, например, взялся кролик? Пяткин вообще никогда не думал о кроликах!

После работы Пяткин вернулся домой и обнаружил, что телефон с кошельком лежат на тумбочке. Зря он так плохо подумал о том кролике! А может, кролика никакого и не было?

Пяткин отправился в бар снять стресс. Других посетителей не было — все-таки понедельник. Он заказал у стойки бокал пива и пересел в угол. И тут из-за занавески в нише, куда забирались те, кто не хотел сидеть в общем зале, раздались голоса.

Пяткин сперва не прислушивался, но затем уловил в речах невидимых собеседников нечто странное.

— ... великая морковная цивилизация под угрозой. Мы только-только расправили ботву, избавились от этих пушистых варваров, и вот какой-то идиот открыл портал, развеял маскировку, и они снова хлынули к нам! Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю, — тихо ответили из-за занавески.

Пяткин осторожно наклонился и заглянул в щель. За столиком в неярком свете настенной лампы сидели две человекоподобные моркови.

Не успел Пяткин опомниться, как тот, что сидел спиной, обернулся. Мгновение, и человек-морковь схватил его за шиворот и перебросил в кабинку.

«Сильный! Наверно, в качалку ходит», — подумал Пяткин.

Обе моркови строго уставились на него. Тогда Пяткин понял, что невольно подслушал то, чего не следовало, и наверняка стал им опасен.

«Теперь уберут!» — тоскливо подумал он.

— Бросьте, мы же цивилизованные овощи! — поморщился морковь справа. Пяткин не успел его разглядеть, но в морковном облике чудилось нечто знакомое.

— Не узнаешь? — ухмыльнулся Торрэк. — Зови меня Кэрротом.

Только сейчас до Пяткина дошло. Шеф сменил человеческий облик на морковный, а в остальном совсем не изменился.

— Надо же, так это маскировка! И наша контора под прикрытием работает? Теперь понятно, почему название такое идиотское — «МакУдобрения»! А килт ваш, а вольнка! — И Пяткин захихикал.

— Вообще-то мои предки родом из Шотландии, — нахмурился Кэррот. — Редчайший, морозостойкий морковный клан.

— Ой!

— Ладно, забудь, — великодушно отмахнулся шеф. — Вот, познакомься.

— Нантский, — протянул оранжевую ладонь морковь-бодибилдер. — А мы тут обсуждаем, кто нам маскировку раскрыл.

— А почему сразу я? — обиделся Пяткин.

Нантский щелкнул пальцами, и на столе возникла книжка в мягком переплете. «Построй свою реальность» было написано на обложке.

— На автора посмотри.

Пяткин перевел глаза строчкой выше. К. Зайцев.

— Выходит, все-таки я, — загрустил Пяткин.

— Морковные ученые найдут выход, — утешил его Кэррот. — Мы выиграли стосезонную войну с травоядными и построили Великую терку, чтобы противостоять картофельному нашествию. В конце концов, внедрили в человеческий мир.

— А давно внедрили? — полюбопытствовал Пяткин.

— Помнишь, когда исчез из продажи морковный сок? — осведомился Нантский.

Пяткин задумался.

— Неужели всё это время...

— Вот именно! — приосанился Нантский.

— Но почему вы действуете из подполья? К чему военные действия? Неужели нельзя договориться? И с кроликами, и с картошкой, и с людьми? В конце концов, существует дипломатия...

— Он идиот, — сказал Нантский.

— Почему сразу идиот? — обиделся Пяткин. — Я пацифист и радею душой за гуманистические идеалы.

— Тяжелый случай, — вздохнул Кэррот. — А трансформировать реальность зачем хотел?

Пяткин что-то буркнул, но шеф перебил.

— Чтoб ничего не делать и деньги получать! А то я не знаю!

— Вообще нет! То есть не только за этим... В общем, я готов загладить свою вину. Я закрою портал. — Пяткин поднял голову и расправил плечи.

— Дело рискованное, последствия непредсказуемы, — предупредил шеф.

Пяткин кивнул.

— Перед важным делом надо подкрепиться, — сказал Нантский и нажал на кнопку вызова.

За занавеску скользнула рыжая официантка с хвостом на затылке. На бейджике было написано «Алиса». На подносе лежал пирожок с запиской «Съешь меня».

— Хватит меня дурить! — рявкнул Пяткин и наподдал по подносу. Поднос вылетел у девушки из рук и со звоном упал на пол. Пирожок шлепнулся рядом. Официантка растаяла в воздухе.

— Вроде приличный человек, а ведете себя как последний кролик, — поморщился Нантский.

— Раз он смог отличить морковный морок от реальности, значит, и в кроличью ловушку не угодит, — вмешался Кэррот.

— Не угодит, — подтвердил Нантский. — За дело!

— А куда идти? — спросил Пяткин.

Нантский с укором посмотрел на него. Пяткин смущенно хлопнул себя по лбу и поднялся со стула. Ясно как день — вход в кроличью нору под светофором.

Пяткин добежал до перекрестка. Он встал рядом со светофором, схватился руками за столб и зажмурился.

— Три, два, один, пуск! — прошептал он. Светофор ракетой взмыл вверх. В ушах у Пяткина засвистело. И тут светофор резко развернулся и полетел обратно к земле.

Толчок! Светофор-ракета пробил асфальт и полетел дальше. Вскоре полет замедлился.

Пяткин осторожно открыл глаза. Он лежал в темноте, сжимая в руках светофорный столб. Пахло сыростью. Высоко вверху в круглой дыре виднелся кусочек звездного неба.

Пяткин подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Подземный ход уводил вперед. Пяткин двинулся по туннелю.

Через несколько шагов ход сворачивал вправо. Пяткин осторожно выглянул из-за угла. В просторной пещере, освещенной лампочкой на потолке, собрались за столом три кролика.

«Вот оно, логово заговорщиков!»

И тут один из них потянул себя за уши и стянул голову. Пяткин чуть не икнул от неожиданности. В ворота показалась кудрявая зеленая ботва.

— Устала я в этой амуниции весь день скакать, — вздохнула антропоморфная свекла и поставила на пол кроличью голову.

Пяткин очень разозлился. Он тоже устал от овощного коварства.

Вдруг чья-то ладонь закрыла ему рот. Пяткин замычал и обернулся.

Официантка Алиса! Она отпустила Пяткина, достала из кармана фартука пузырек с запиской «Выпей меня». Пяткин кивнул. Алиса вынула пробку. Пяткин опрокинул в себя содержимое.

— Привет от Кэррота, — сказала Алиса и исчезла.

«Какая симпатичная галлюцинация!»

Костюм Пяткина превратился в железные зазубренные доспехи. Он поднял руку, осмотрел стальной рукав и вдруг сообразил, что стал огромной теркой!

Пяткин сделал два тяжелых шага. Стены пещеры затряслись.

Свеклы, которые успели стянуть кроличьи костюмы, подскочили со стульев.

Железный Пяткин встал на пороге, перекрыв им выход.

— Кто вы такой? Что вам нужно? — взвизгнула одна из свекел.

— Зайцев — не то, чем кажется, — прогудел Пяткин.

— Морковный засланец!

Железный Пяткин выставил вперед руки-терки.

— Аста ла виста, овощи! — сказал он и захохотал демоническим смехом.

Пока Пяткин хохотал, свеклы быстро отодвинули стол, открыли люк, который скрывался под ним, и одна за одной попрыгали в потайной ход.

«Упущил», — расстроился Пяткин и из железного превратился в обычного.

— Эй! — донеслось сзади.

Пяткин обернулся.

— Закрой люк, — велел Нантский.

Пяткин подчинился. Нантский натянул респиратор и махнул Пяткину, чтобы отошел. Из-за плеча Нантский достал оранжевый прибор, похожий на пылесос, направил трубку на люк и нажал на кнопку. Из трубки полилась ядовито-зеленая жидкость, которая сразу же застывала, словно воск.

— Больше они сюда не сунутся, — весело сказал Нантский, стягивая респиратор. — Я запечатал портал антиовощным пестицидом. В застывшем виде он безвреден, но если свеклы попытаются открыть люк, им нужно будет его растопить, тогда пестицид превратится в жидкую лаву и потечет им прямо на ботву. Жуткая смерть! — поежился он.

— А что они хотели? — спросил Пяткин.

— Известно что. Думали, мы испугаемся кроликов и переедем, а они захватят все блага морковной цивилизации. Сами произвести ничего не могут, вот и мародерствуют. Но ничего у них не выйдет. Нам пора!

Пяткин с Нантским вернулись ко входу в туннель. У стены болталась веревочная лестница.

— Как со светофором быть? — спросил Пяткин.

— Пускай здесь лежит.

Они выбрались наружу. Кэррот их ждал с волынкой в руках.

— Спасибо, что напугал свеклу, Пяткин! А теперь извини, мы сотрем тебе память.

«Какие они нелепые, эти овощи, — печально размышлял Пяткин под утробные рыдания волынки. — Всё что-то хитрят, воют. Зачем это всё? Не лучше ли всем жить в мире и спокойствии?»

Пяткин стоял на перекрестке и ждал зеленого света. Но светофора на привычном месте не оказалось. Пяткин потрянул головой. Наверное, что-то путает.

— Какой сегодня день? — осведомился он у прохожего.

— Так понедельник, — удивился тот.

— Странно, а мне казалось, вторник.

Тут Пяткин вспомнил, что пора остановить все войны в мире.

Он повернулся и пошел домой. Больше ничего примечательного в тот день с ним не происходило.

Дарья Бобылёва

Myötähäpeä

Маленький Яша больше всего на свете боялся умереть. Но не из-за трепета души перед ожидающими или, что ужаснее, не ожидающими ее там, за порогом, невыразимыми безднами. И не из-за бессловесной паники тела, привыкшего к жизни, — начинающий Яшин организм еще не успел эту жизнь толком распробовать. При мысли о смерти перед глазами всплывала навсегда подернутая рябью жара картина: немногословный, приличный папа, склонившись над хрипящим в тисках двусторонней пневмонии Яшей, рыдает, трясая аккуратной бородкой и громко втягивая носом прозрачные сопля, которые всё равно текут и повисают на усах. И от мучительного стыда за папу Яша задыхается, багровеет и жмурится.

Он выздоровел и продолжил успешно расти, но при мысли о смерти, иногда посещавшей его, как любого ребенка, в тишине уснувшей квартиры, Яша неизменно вспоминал сопливый позор взрослого, вечно правого папы и впивался зубами в подушку. Даже невинное утешение всех отруганных и лишенных телевизора — том-сойеровские мечты о героической гибели, после которой все всё поймут и запоздало раскаются, — было для Яши под запретом. Он заранее стыдился того, что папа не сдержится и всё испортит, а маме придется уводить его в спальню под укORIZненный шелест остальных, как это бывало на семейных праздниках, когда папа позволял себе лишнюю рюмку и начинал вдруг, тихо икая, заваливаться набок. Пусть я буду жить до ста лет, молился Яша черноте за окном, и пусть мама будет жить до ста лет, чтобы никто-никто не узнал, что папа умеет реветь хуже Аньки-коровы из третьего подъезда.

Прошло много лет, Яша стал Яковом Борисовичем, поднялся до заместителя начальника строительной фирмы и начал лысеть. Папа усох и стал еще немногословнее, точно телесные соки питали и его вербальные способности тоже. Но Яков Борисович чувствовал, что папа, за неимением иных поводов для гордости, отнятых временем,

гордится им, и его должностью, и его домовитой женой Анастасией, и неосмысленным пока внуком. Яков Борисович так привык жить, что мысли о смерти совсем перестали его посещать, вытесненные мыслями о планах, отчетах, техобслуживании автомобиля и финансовом благополучии.

И вдруг всё посыпалось. На фирму обрушилась налоговая, начальник, которого так добросовестно замещал Яков Борисович, утек не то на Кипр, не то на Крит со всеми оставшимися капиталами, вышли сроки по кредитам, которые Яков Борисович привык брать уверенно, как крестоносец прекрасных сарацинок, приставы начали обрывать телефоны, подключились и выбиватели долгов пострашнее, оставлявшие в подъезде очерняющие Якова Борисовича надписи и несколько раз ловившие его вечером во дворе «поговорить». В довершение всех бед жена Анастасия, еще вчера теплая и нежная, вдруг деловито объявила, что полюбила другого человека — пусть он только не думает, что это как-то связано с кредитами и бедственным финансовым положением, хотя тот полюбленный ею человек, разумеется, надежный и обеспеченный, — и она подает на развод. Сын, конечно, останется с ней, а мужское воспитание и достойный пример получит от отчима. И Яков Борисович должен ее, относительно молодую и привыкшую к определенному уровню жизни женщину, понять.

Яков Борисович не понял, но скандалить не стал. Рано утром он сел в свою давно требующую ремонта машину и отправился куда глаза глядят, заехав в итоге в тот самый район, где провел кажущееся беззаботным на временном расстоянии детство. Маленький кирпичный дом, где по-прежнему обитали смиренно стареющие папа и мама, теперь был окружен одинаковыми высотными цитаделями. Яков Борисович проник в одну из них вслед за семьей жильцов, доехал до последнего этажа и распахнул окно на лестничной клетке. Оно было расположено высоко, и Якову Борисовичу пришлось встать на батарею, чтобы закинуть ногу на подоконник. Город плюнул ему в лицо дымным морозом.

И тут Яков Борисович вспомнил недавно увиденное в интернете слово. *Muötähäpeä*. Слово было финское, и он понятия не имел, как оно произносится, но помнил, что обозначает оно стыд за другого человека. И сразу всплыли в памяти трясущаяся борода, сопли на усах и отвратительно звучащие рыдания взрослого мужчины. Он представил себе скромную церемонию похорон, ее участников, пунцовых от финского стыда, маму, уводящую старенького отца, утирающего нос рукавом строгого черного пиджака, и склизкие потеки на этом рукаве.

Яков Борисович слез с батареи и закрыл окно. Хлопнула дверь, на лестницу вышла поддатая женщина и попросила у него сигарету.

— У меня только крепкие, — сказал Яков Борисович.

— Ай молодец, сразу видно — мужик! — игриво пробасила женщина и щелкнула зажигалкой.

Пернилла

Ее прическа похожа на крыло райской птицы. Пернилла поправляет ее и касается пальцем лба. На подушечке остается переливающаяся пыльца хайлайтера. И вспыхивает вдруг воспоминание о детском восторге, когда пойманная бабочка бьется в руках, словно сердце. Пернилла прикрывает глаза, ощущая всей усталой кожей, как много на ней пудры, праймера, хайлайтера, консилера и прочих тайных вещей, о которых мужчины знать не должны. Пора бы сменить лампы в этой комнате. Яркий свет беспощаден.

Бархатное покрывало шевелится, из-под него доносится тяжкий вздох. Пернилла вздрагивает и тут же улыбается своей рассеянности. Она забыла, на самом деле забыла секунд на десять о Жорже. Последнем своим, предрасветном госте.

Пернилла легко поднимается из кресел и ложится рядом с Жоржем поверх покрывала, скользнув по бархату шелком халатика. Это называется «поза ложек». Она прижимается к спине Жоржа и кладет руку ему на грудь.

— Я не мужчина, — шепчет Жорж. — Меня поймали все. Я брошусь с балкона.

— Ты слабый, ты живой, ты прекрасный, — отвечает Пернилла. — Поплачь.

— Я должен быть сильным. Я дерьмо.

— Ты удивительное существо. Поколения сменялись, люди любили друг друга — только ради того, чтобы ты появился на свет. Ты никому ничего не должен.

— До-о-олжен! — взрывается рыданиями Жорж. — Кругом до-о-олжен! Всё заберут! Они приходили... Бабушкино серебро! Этими руками!.. Жена заявление подала... Я не могу! Я убью себя!

Пернилла ждет и снова приникает к Жоржу.

— Мой бедный. Мой маленький. Все тебя обидели. Гадкие, мерзкие, как они посмели. Мой хороший. Ты ошибся, все ошибаются. Я люблю, когда ты ошибаешься. Когда ты слабый. Я горжусь тобой.

Рыдания утихают, и Пернилла чувствует, как его сердце бьется бабочкой под ее ладонью. Она убирает руку, чтобы выпустить его на свободу.

Когда Жорж наконец уходит, Пернилла за туалетным столиком выпускает на свободу себя. Смывает с глаз пушистую черноту. Долго оттирает помаду, забившуюся в трещинки на губах. Снимает парик, уложенный идеальной «голливудской волной». Счищает с кожи перламутровый блеск, потом ровный цвет, потом нежность, и наконец проступает седоватая щетина. Сама собой ложится между бровями привычная складка.

Из зеркала глядит ничего не выражающим, казенным взглядом Петр Романович Нилов, судебный пристав, всё еще запахнутый в халатик с лиловыми ирисами. Он хочет свои законные сто пятьдесят и спать. Спать он будет крепко и безмятежно, и души всех им обиженных будут охранять его сон. Потому что он их утешил. Одна сумасшедшая старуха как-то крикнула ему, что он вампир, пьющий человеческие слезы. Пусть так, пусть вампир, зато раз в неделю, ночью, он превращается в фею Перниллу, которой люди отдают свои слезы добровольно, облегчая душу, и слезы эти сладкие.

Такова тайная жизнь пристава Нилова.

А слезы он, конечно, не пьет. Петр Романович пьет водку.

Полость

Новостной редактор Клишкин, матерый и пропыленный, сошел с ума.

Началось всё с того, что сразу несколько уважаемых информантов сообщили: в окрестностях города Бреста при строительстве нового цеха мясоперерабатывающего завода обнаружена замкнутая подземная полость со следами кирпичной кладки — вероятно, фрагмент укрепления времен Великой Отечественной. И из полости доно-

сятся звуки, неравномерное постукивание. «Как собака хвостом», — привело одно из агентств слова прораба Тарасевича.

Матерый редактор Климкин счел подземный стук в Брестской области недостаточно важной новостью и пошел завтракать.

К обеду агентства трубили, что постукивание оказалось азбукой Морзе и прибывшим специалистам уже удалось расшифровать сигнал SOS, а также обрывки сообщений на немецком и русском: из неведомой полости стучали о том, что здесь Борис и Гюнтер, их засыпало при взрыве во время боя, как давно — они доложить не могут.

Редактор Климкин недоуменно заморгал и посмотрел на календарь, уверенно показывавший начало XXI века.

Далее посыпались комментарии от уфологов и парапсихологов, а также от вменяемых спикеров, объявивших подземную морзянку масштабным розыгрышем. Крупный историк справедливо указывал, что солдаты враждующих армий в принципе никак не могли оказаться в одной полости, чем бы она ни была.

Вечером затихшую редакцию завалило сообщениями о начале раскопок. Полость была вскрыта, а заглянувшие в дыру свидетели заявляли, что действительно видели двух чумазых юнцов в аутентичной форме Красной армии и соответственно Вермахта, которые сидели в углу, вцепившись друг в друга, и сверкали глазами, охарактеризованными прорабом Тарасевичем как «дикие совершенно».

Однако продолжалось это всего две или три секунды, поскольку, едва дыру расширили и луч солнца двадцать первого века упал на обнявшихся врагов, они рассыпались мельчайшей серой пылью, из которой оказалось невозможным даже получить образцы для анализа и опознания.

На следующий день СМИ, общественные деятели, видные политики, историки и даже один режиссер опровергли существование полости, из которой доносилось неравномерное постукивание, равно как и Бориса, Гюнтера и прораба Тарасевича, а администрация города Брест сообщила, что в его окрестностях никогда не было мясоперерабатывающего завода. Невзирая на сентябрь, новость о полости объявили неудачной первоапрельской шуткой.

Но редактор Климкин с ума всё равно сошел. Ночью к нему приходят, обнявшись, Борис и Гюнтер и зубами выстукивают морзянку: нас засыпало, спасите, отпустите, мы больше не будем, мы хотим к маме.

«Mütterchen», — шепчет Климкин и отворачивается к стене.

ОБ АВТОРАХ

Галина Бабурова — писатель, переводчик. Родилась в 1985 году, окончила факультет романо-германской филологии Белгородского государственного университета. Публиковалась в журнале «Октябрь», в альманахе Creative Writing School «Пашня» под ред. М. Кучерской и Е. Холмогоровой. Лауреат премии журнала «Октябрь» в номинации «Дебют» (2015), повесть для семейного чтения «Бурквиль» вошла в лонг-лист Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина.

Антон Барышников родился в 1985 году в Калуге. Окончил истфак Калужского государственного педагогического университета; кандидат исторических наук, преподаватель. Изучает проблемы римской Британии. Рассказы печатались в журналах «Октябрь», «Кольцо А» и «Гвидеон». Подборка прозаических произведений вошла в лонг-лист премии Дебют (2015), рассказ «Война» — в шорт-лист премии «Русского Гулливера» (2015), пьеса «Шестьдесят девятый» стала победителем конкурса «Первая читка» (2017). Живет в Калуге.

Дарья Бобылёва — прозаик, переводчик с английского и немецкого языков. Родилась и живет в Москве. Окончила Литературный институт. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Нева», «Сибирские огни», «Флорида», сборниках Flash-story, «Лед и пламень», «Литеры». В 2014 году в АСТ вышел дебютный авторский сборник «Забывтый человек», в 2019-м — роман «Вьюрки», журнальная версия которого вошла в длинные списки премий «Большая книга» (2018) и «Ясная поляна» (2018).

Ирина Богатырёва родилась в Казани, выросла в Ульяновске. Автор семи книг прозы. Рассказы и повести переводились на английский, китайский, нидерландский, шведский, арабский языки. Лауреат и финалист нескольких литературных премий, в том числе «Дебюта» (2005), Международного конкурса имени С. Михалкова (2012) и «Студенческого Букера» (2016). Играет на варгане в дуэте «Ольхонские ворота». Живет в Москве.

Алена Бондарева — писатель, литературный критик, главный редактор портала «Rara Avis. Открытая критика».

Дмитрий Былецкий — филолог, журналист. Родился в 1983 году в Улан-Удэ. Окончил Томский государственный университет. Работал экспертом-криминалистом, сейчас работает в IT-компании, занимающейся речевыми технологиями. Финалист Волошинского конкурса в номинации журнала «Октябрь» (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

Тимур Валитов родился в 1991 году в Нижнем Новгороде. Получил высшее юридическое образование, писал статьи и эссе на юридическую тему. Финалист премии «Лицей» (2017), Волошинского конкурса (2017), премии Дмитрия Горчева (2018), победитель Российско-болгарского литературного конкурса для молодых прозаиков и переводчиков (2017). Живет в Москве, работает копирайтером в IT-компании.

Георгий Гобаев родился в 1985 году во Владикавказе, живет в Москве. Юрист по образованию, предприниматель. Ранее не публиковался.

Владислав Городецкий родился в 1993 году в городе Щучинске на севере Казахстана. Окончил бакалавриат Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина по специальности «архитектура». Публиковался в сборнике «Новые имена в литературе», журналах «Октябрь» и «Дружба народов». Живет в Санкт-Петербурге.

Роман Гусев родился и живет в Москве. Окончил Литературный институт, также имеет медицинское образование. Член Союза писателей Москвы и литературного кружка имени Белкина. Рассказы публиковались в журнале «Литература».

Евгения Декина — прозаик и сценарист. Родилась в Прокопьевске. Окончила филфак Томского государственного университета, сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Публиковалась в толстых литературных журналах, сетевых изданиях. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей России, международного ПЕН-центра. Лауреат премии имени Василия Аксёнова «Звездный билет» (2016). В 2018 году в «Эксмо» вышел роман «Плен».

Андрей Королёв родился в 1987 году в Уфе. В 2011 году окончил филфак Башкирского государственного университета. Первые литературные опыты появились в 2009 году. В 2013 году вошел в список «100 лучших молодых авторов» премии «Дебют». В разное время рассказы публиковались в региональ-

ных журналах «Бельские просторы» и «Персонаж». Рассказ «Тише, рыба. Дальше, лошадь!» вошел в шорт-лист конкурса «Дама с собачкой. XXI век» (2016) и был опубликован в одноименном сборнике. Живет в Уфе, работает корреспондентом в местных СМИ.

Илья Лебедев родился в 1988 году в Москве. В 2009 году окончил биологический факультет МГУ. Кандидат биологических наук. Работает редактором в компании «Яндекс». Дебютировал в марте 2015 года в литературном журнале «Октябрь». Член Союза писателей Москвы.

Игорь Масленников родился и живет в Москве. Окончил Институт международных отношений. Работал в СМИ, сейчас — аспирант Института этнологии и антропологии РАН, также работает преподавателем английского языка и переводчиком.

Татьяна Млынчик родилась и живет в Санкт-Петербурге. Училась на факультете СПбГУ. Прозу пишет с детства. Посещала студию В. Кречетова в литературном клубе «Дерзание» Санкт-Петербургского дворца творчества юных, Литературную мастерскую Андрея Аствацатурова и Дмитрия Орехова. Рассказы в разное время публиковались в электронных и печатных журналах, альманахе молодых авторов «Взмах». Автор многочисленных журналистских публикаций, входит в экспертный совет журнала «Электротехнический рынок». Работает в сфере электроэнергетики.

Георгий Панкратов родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ имени проф. М. А. Бонч-Бруевича. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Москва», «Нева», «Сибирские огни» и др. Автор двух книг прозы и документальной книги о ВСХВ-ВДНХ. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2016 года (проза), победитель Германского международного конкурса русскоязычных авторов «Книга года» (2018). Живет в Севастополе и Москве.

Борис Пономарев родился в 1988 году в Калининграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Лауреат регионального литературного конкурса для детей и юношества «Янтарное перо» (2005). Первые публикации состоялись в журнале «Химия и жизнь» в 2015 и 2016 годах. Дебютный роман «Плюсквамфутурум, или Россия-2057» был опубликован в журнале «Нева» в 2018 году. Живет в Калининграде.

Алина Пулкова родилась в Холмогорском районе Архангельской области, в таежном поселке. Окончила Московскую медицинскую Академию имени И. М. Сеченова. Рассказы публиковались в сборнике «Москва и Петербург — как мы их не знаем» и журнале «Дружба народов». Живет в Кронштадте.

Антон Ратников родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. Окончил Высшую школу режиссеров и сценаристов. Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Аврора», «Кольцо А». Рассказы входили в шорт-лист Волошинского конкурса, лонг-лист премий «Дебют», «Русский Гулливер». Лауреат премии журнала «Нева» (2014). Член Союза журналистов Санкт-Петербурга.

Игорь Савельев родился в 1983 году в Уфе. Окончил филфак Башкирского государственного университета. Романы, повести и рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Урал» и др. Четыре книги выпущены издательством «Эксмо», две — издательством L'Aube в переводе на французский язык. Лауреат премии «Лицей» (2018).

Мария Хахалина родилась в 1999 году в Сочи. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Студентка третьего курса факультета журналистики МГУ. Пишет прозу с пятнадцати лет. Ранее не публиковалась.

Елена Шахновская — драматург и сценарист. Работала шеф-редактором и колумнистом в ведущих СМИ и на телевидении. Призер и финалист драматургических конкурсов «Свободный театр», «Первая читка» Володинского театрального фестиваля, «Любимовка», «Премьера.txt», Волошинского конкурса и других. Ведет мастер-классы по сторителлингу и медиа-коммуникациям.

Содержание

Илья Кочергин, Дмитрий Данилов

Литература — дело коллективное 3

Мария Хахалина

В зале ожидания 5

Алина Пулкова

Платформа Плющево 37

Дмитрий Былецкий

Числа 44

Илья Лебедев

Свободное Поле 66

Андрей Королёв

Календарь 72

Митинг 77

Игорь Савельев

Tolstoy 82

Ухо Сноудена 85

Татьяна Млынчик

Ледяная лошадь 88

Георгий Панкратов

Ущерб 95

Антон Ратников

Оперативная съемка 101

Женя Декина

Фантомные боли 107

Ирина Богатырёва

Там, за полем и за холмами 112

Игорь Масленников	
Е. Г. путешествует	116
Тимур Валитов	
Комната Якопо	122
Орфеи	125
Елена Шахновская	
Вильма танцует твист	130
Алена Бондарева	
Female	134
Роман Гусев	
Туристы	145
Борис Пономарев	
Тоннель	161
Антон Барышников	
Война	200
Владислав Городецкий	
Только мы с Захаркой	208
Георгий Гобаев	
Рауль	222
Галина Бабурова	
Пронин и морковь	234
Дарья Бобылёва	
Муötähäreä	241
Пернилла	243
Полость	244
Об авторах	246

Союз писателей Москвы

Литературно-художественное издание

Настоящее время. Проза

Проект «Путь в литературу»

Составители:

Бобылёва Дарья Леонидовна

Данилов Дмитрий Алексеевич

Кочергин Илья Николаевич

Курчаткин Анатолий Николаевич

Лебедева Виктория Юрьевна

Попов Евгений Анатольевич

Руководитель проекта:

Сидоров Евгений Юрьевич

Подготовлено к печати
издательством «Воймега»
e-mail: voymega@yandex.ru
издатель А. Переверзин

редактор: В. Лебедева
корректор, технический редактор: О. Тузова

Подписано в печать 15.05.2019.
Формат 90х60/16. Усл. печ. л. 15,75.
Тираж 1000 экз.



Знак информационной продукции
согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ

16+

ISBN 978-5-6042671-0-3

